



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

2 (34) '2020

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Отдел литературной критики
Александр КАРПЕНКО

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Андрей Костинский (Харьков), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кипшинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2020

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса – Санкт-Петербург: Ирина Дежева. Из молодого лунапарка. Стихотворения	4
Одесса: Наталия Тараненко. Переход на другую орбиту. Стихотворения	8
Одесса: Семён Абрамович. Колокольчик на крыльце. Стихотворения	13

ПРОЗА

Одесса: Алексей Рубан. Непобедимое солнце. Повесть	17
---	----

ПОЭЗИЯ

Одесса: Илья Рейдерман. Пошли мне сад на старость лет. Стихотворения	35
Одесса: Галина Маркелова. Особые соцветия. Стихотворения	42
Одесса – Иерусалим: Пётр Межурицкий. Всё превращается в другое. Стихотворения	48

ПРОЗА

Одесса – Котбус: Ефим Ярошевский. Эхо романа. Фрагменты из книги	52
Одесса – Филадельфия: Вера Зубарева. Лопман на трубе. Роман-память. Окончание	58

ПОЭЗИЯ

Москва: Евгения Джен Баранова. Призрачное шитьё. Стихотворения	68
Монреаль: Лада Миллер. Божьи знаки. Стихотворения	73
Киев: Ирина Иванченко. Над незашторенной аллеей. Стихотворения	78

ПРОЗА

Одесса: Анна Михалевская. История одной бурки. Рассказ	83
Чехов: Надежда Середина. После войны. Рассказ	85
Калининград: Дмитрий Воронин. Каменный Клаус. Рассказ	87

ПЕРЕВОДЫ

Роберт Льюис Стивенсон. Поэзия. В переводах Игоря Лосинского	89
---	----

ПРОЗА

Одесса: Андрей Никитин. Я видел их. Рассказ	98
Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. A Parte. Рассказ	102

«ОКОЕМ»

Кишинёв: Олеся Рудягина. **Пушкин спасает от амнезии.**

<i>Вступительная статья о Шестом Международном фестивале русской литературы «Пушкинская горка»</i>	116
Кишинёв: Татьяна Некрасова. Беглец на белом поле. Стихотворения	119
Единцы: Сергей Пагын. Страшной части триптиха не будет. Стихотворения	122
Кишинёв: Татьяна Волошина-Орлова. В раю было тесно. Рассказы	126
Кишинёв: Наталья Новохатняя. Корабельные сны. Стихотворения	131
Тирасполь: Диана Федорович. Вдоль позвоночника. Стихотворения	135

ПРОЗА

Одесса – Торонто: Алёна Жукова. Кома . Рассказ	138
Одесса: Ольга Соколова. Клуб «Клевер» . Рассказ	147
Одесса: Василий Кисиль. Фрагменты из книги «Аскеза Альбера Камю на плато Веллав»	160

«ЛИТМУЗЕЙ»

Иерусалим: Михаил Вайскопф. Замысел Иуды . <i>Об интертекстуальном слое в романе Владимира Жаботинского «Самсон Назорей»</i>	167
Одесса: Анна Стремнинская. Жаботинский в Италии . <i>Малоизвестный сонет Жаботинского</i>	172
Владимир Жаботинский. Акация . Рассказ	175

«ФОНОГРАФ»

Кыштым: Александр Петрушкин. Воздуха белая глыба . <i>Стихотворения</i>	177
Мытищи: Елена Севрюгина. Алхимик в крестьянской рубашке . <i>Рецензия на книгу Александра Петрушкина «Стихотворения»</i>	182

«СЕТЧАТКА»

Курск – Москва: Александр В. Бубнов. Интегральная «Игра в бисер» в стихотворении Нади Делаланд «Туман спадает...»	186
--	-----

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«Поэт – это человек, обречённый словом» . <i>О книге Михаила Казиника «Тайны гениев»</i>	191
«Сердце – самая эрогенная зона» . <i>О книге Лады Миллер «Мурашки для флейты»</i>	193
Бабочка между рам . <i>О книге Елены Фроловой «Непоправимое лето»</i>	194
«Рядовой Гамлет! Выйти из строя!» . <i>О книге Романа Михеенкова «Орден Франкенштейна»</i>	198
«Эта хрупкая глупая вечная жизнь» . <i>О книге Олеси Рудягиной «Про зрение»</i>	200
Книга как место внутренней эвакуации . <i>О книге Ольги Аникиной «Кулунда»</i>	203
«Время слишком жаростно и ясно» . <i>О книге Нины Ягодинцевой «Человек человеку»</i>	205
«Зацепиться за Бога» . «Вечерние огни» Елены Литинской . <i>О книге «У Восточной реки»</i>	209
«Душа никогда не увянет» . <i>О книге Эллы Крýловой «Письма в рай»</i>	212

«ШКАФ»

Москва: Станислав Айдинян. Андрей Битов в раме «Портрета поздней империи» . <i>Рецензия на книгу об Андрее Битове «Портрет поздней империи»</i>	214
---	-----

ИРИНА ДЕЖЕВА

ИЗ МОЛОДОГО ЛУНАПАРКА

31 ИЮЛЯ

Ирэн Мадлен
Окрошка по весне
Задержка – соль
Признание – раздеться
На роду Rogostemon
Все яcnостоковые полукустарники
На –си– увяли
Прямиком из детства
Я закопала там хрустальное кольцо
Из молодого лунапарка
Авось дождусь!
Как пряди от лица
И крик до крика
Самого маленького праздника
На самом большом острове...
Ирэн Катрен
Окрошка по зиме
Мне лишь во сне приходит равнодушьё
За сердцевину льёт
Звучит пора, как Вацлав и как Боб
Зовёт на средиземный холм
Где так волна сильна
И прах осел де Сент-Экзюпери
Антуана...
Ири Ири и еле или
В большом июле
Пахнет пачуль
Возможно, плюнет
Кто и никто незримо примет
Вспляски, встряски
Взвизги, всплески
В сказке было всё бы
Интересно
И
Ветшает боль
По ноябрю зачатых
Погоды северны не схожи
Расползлись по чреву мухи
Или комары
А ты не ходишь
Как всякий сапожник
И похоже не плачешь



Витаешь, наверное
Над какой-то прозрачной Москвой
Добровольно так хрупко страдаешь
Не о нас – вот что грустно
Дешёвою ртутной порой
Вот медалей б тебе за ралли
Всей уральской седой головой!

Дорога – пробел, незрячесть
Потом приговор, тушик
И блымкают, не иначе
Фонарных прыщи расстриг
Дорога – предтеча, праздник
Воздушных забот лыжня
Ты слышишь? как громко плачут
Когда на пути стрельба
Ты падаешь и смеёшься
Ты рад и за это свят
Все лакомые лазейки
Гортанью крутят-вертят
Забвенье, три пепла, херес
Сторонкой дорожный отряд
И верится воскрешенью
Что дверца закрыта в ад
И каждым моллюском
Подобранным на Тверской
Я ощущаю_как_без тебя
Вокруг зрачков
Заселяется тишина

Моя любовь
Я знаю слово
Мой день как жгут
И ночь как сон
Там ты – никто
И самый верный повод
Зраком мимо
В моё холодное пальто
Льнут лихоимцы
Трали-вали – моя любовь
Остановись
Игривых ёлок оборачивают цинки
Не будет троллей, Валея, утр кухни
На моб откатит поле сто ручьёв
Роман или газет, пилюль, планшет, прогулок...
Переждись...
Дрим, драм, спэйс
Мы так чисты
Как помолися
Станет всё и ничего
А камни о борт



В пустой колодец
 Никто не сплунет
 Сердце сокрушённо
 Никому не должно
 А всем канделябрам Марса
 Окстись
 Моя любовь!

HAUTE COUTURE

Чуточку полюби – да
 Чуточку возлюби – да
 Чуточку – ах да – подбери атом
 За гладкой дырой белую землю лапал
 Будешь моим
 Антоним? аноним?
 Последний плеск
 Завербовала верба
 И ни в крови, и ни в тылу
 На скорбно пасечных задворках
 Нам встретиться едва ль
 Врёт карта
 Говорил же Карл – нет завтра
 Есть водка
 Цокольные и подвальные
 Пришпорены платья
 Нить пройдет сквозь цветное ВСЁ
 Хочется братьев-сватьев
 Множить 40 объятий
 Завтраков под аминь
 Хватит
 Красиво давайте не споткнёмся
 Об ослов, козлов, баранов, пони
 Лещей, сомов, коростылёв
 Амёб в проставленных агоньях
 Устриц и сады
 Крамольно отъютите
 Обвальный опыт
 Как эксперимент свернул клубок
 Вамби усох на родственной ладони
 И снова пьёт
 За щучью щель смиренья
 Высади и отпусти
 Как пыль сотри
 На пономарском кресле
 Придумай старт. И в срок нужда
 Ославившим покой
 Уставшим
 Молебн отгремевшим
 На иностранном скользящем в иномир
 Лайкам настоящим наливают
 Углекисленький двойной...
 На полосканье кружев
 Чуточку позови – да!



Нам не странен серый волк
 Серый цвет скорбит о вежах
 Об одежде странных лет
 Полк не тот, а люди те же
 Серый скомканный комбат
 Как комрад на млечной сходке
 Хочет плавленных козлят
 На ссеревшие подмётки
 И мы, конечно, чёрным
 Конечно, по белому
 По бетону римскому поводыри
 Всё запишем, заедим, зачерпаем
 Будем с райскою любовишо
 Ближних выть и корчевать
 Черви мы...

PUNKS NOT DEAD

Я книга
 И опясть кто нежд
 И нужди много не поспели
 Внегда открыти се
 Что я для тя
 Смогу прожити?
 Лист
 При ели при воде
 И наипаче
 Худ читать кто вежд
 И злаче стыл следок
 Х[...]ча и
 Плюя на пальцы
 Нет
 Ты не французский мальчик
 Не этруск
 Ни с баржи поднятой
 Со дна земного
 Ни дозою с привоза
 Осёл еврей
 И мучит быти
 Кляча холодна хереет
 Зря ли
 Никто
 Ничто
 Не знает
 Ведь хуз такие панки? –
 Младенец спросит
 И все раскроют рты
 Не псти – заметят
 Волки, ёлки, палки
 С неопознанной земли
 Пожди же для
 Еси и ниже
 Стук кто вердж
 Раскрытой прописи
 Надежд
 Любвей
 и веры...

НАТАЛИЯ ТАРАНЕНКО

ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ ОРБИТУ

АЙСБЕРГИ НЕБЫТИЯ

Как странно возрождаться из руин,
С небытием нащупывая нити,
Ведущие сквозь сон в пространство льдин,
Лишённых ощущений и событий,

Где мир на острие карандаша
Ещё не создан, не рождён, но... дремлет...
Я прикасаюсь к тайне, не дыша,
И в этот миг не ощущаю землю,

В одной всепоглощающей любви
Сливаюсь со вселенной... Дивно это,
Что даже ад всей тьмой своих лавин
Не может победить стихию света.

Нет *вещи*, не имеющей цены,
Лишь *вечное* бесцельно и бесценно...
И я под сенью вещей тишины
Учусь *не быть* и *быть* одновременно.

ЧТОБ ПЕПЕЛ – ЗАПЕЛ...

Как взрезанный край,
Разбитый сосуд, –
Взрываюсь, играй,
Вбирай кровь минут

Сквозь кожу, глаза,
Сквозь зрячую плоть;
Не дай тормозам
Твой бег побороть.

Открой небеса,
И в мир потечёт
Рассветов роса
И солнечный мёд.

Костёр разложи,
Чтоб к звёздам – успел,
Чтоб ветер – ожил,
Чтоб пепел – запел...



ЛОВЕЦ ЗОЛОТОЙ КАПЕЛИ

Я не скажу тебе, на каких дрожжах
Было замешано пекарем это тесто...
Просто уже горошин не удержать,
Просто для слёз уже не осталось места.

Дай мне вина, золотого, как звёздный дождь,
И ничего, что стало чуть-чуть тревожно...
Острое слово – всё же не острый нож.
Трудно немислимо – всё же не невозможно.

Злая привычка – всё же не западня.
Море шумит вдали... долететь бы только...
Видишь, цветок алеет внутри меня,
И лепестков раскрываются тонких дольки.

Слышишь весёлый шум голубиных стай?
Истина скрыта за множеством оболочек...
Ты не суди поспешно... Ты прочитай
То, что хочу сказать тебе – между строчек...

Солнечный дождь обжигает моё лицо,
Чувствую жар, мои щёки почти «поспели»,
В сети стиха заманивая словцо,
Я становлюсь «ловцом золотой капли».

Был или небыль? Ладно, не всё ль равно.
Всё образуется – в том или в этом мире.
Пусть намоталось строк на веретено,
Я теперь знаю: с крыльями – небо шире.

Я ничего не подстраивала, поверь,
Просто, случайно, наверное, так совпало...
Сбились со счёта в спешке – и что теперь?
Не горевать же вечно – начнём сначала.

Это всё где-то в будущем.. А пока
Мы ещё пленники – верности ли? судьбы ли?
Я приношу домой звёздный дождь песка
С искрами счастья – небыли... или были.

СНЫ НА ВЕСАХ

Дожди уже прошли. У них свой ритм,
Свои привычки, график, распорядок,
Они живут, твоих не слыша рифм,
И воду льют, твоих не видя грядок,

Не зная, что ты с ними заодно,
Не ведая твоих к ним устремлений...
А может быть, и им не всё равно,
И вас связал любовью добрый гений?

Не раскрывай всех карт. Не говори
О том, как мир рождается из мифа.
Создай свой миф и мир свой сотвори,
И не разбей мечту свою о рифы.



Ты – зритель бесконечных кинолент,
Их автор, режиссёр и композитор,
И в них ты сам – и врач, и пациент,
И грешник, и Великий инквизитор.

Есть разрушение и есть любовь,
Она одна даёт нам жизнь и силы.
Ты из дождя напиток приготовь,
Чтобы любовь тот сон твой воскресила,

Где вечность не дробится на часы,
Где ангел о весне приносит вести, –
И положи два мира на весы,
И приведи два мира в равновесье.

ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ ОРБИТУ

Приходят прекрасные вести с небес:
Что мы перешли на другую орбиту!
И тема орбиты отнюдь не избита,
Как тема надежды и тема чудес.

А рифмы – как рыбки в прозрачной воде,
Их ловят поэты, гремя поплавками,
Проверено это искусство веками,
Поэта года не удержат в узде.

Я сделаю то, что мне скажет звезда,
Я ей доверяю бесспорно, всецело!
Я ей доверяю... Какое мне дело,
Что прежней меня не отыщут следа?

А в воздухе что-то ведь есть от зимы,
Какой-то бодрящий, особенный привкус,
И с ним никогда я, наверно, не свыкнусь:
Где ветер, там рушатся стены тюрьмы.

Ну вот, у меня есть почти все слова,
Осталось сказать о последнем, о главном:
О том, что, с орбиты сошедшие плавно,
На новых себя обрели мы права.

Мой воздух свободы – вино и еда!
Все стены придуманы нами нарочно,
Всё то, что любовь нам подскажет – возможно,
Все двери открыты. Открыты всегда.

Такие дни, что можно умереть
От чувства сострадания и печали,
Как будто время замерло в Начале,
А небо было, есть и будет впрямь,



Лишь счастье – хрупко и не навсегда,
Как чаша из тончайшего фарфора:
Ты – часть всего, но всё исчезнет скоро,
И растворится в хаосе звезда...

Картины дня, размытые слегка,
Написаны нечёткими мазками;
На миг обретших плоть под облаками,
Их в сны уносит вечности река.

О, я боюсь: останутся следы:
Вдруг дрогнут, окунувшись в синь, ресницы, –
И зыбкий мир исчезнет, растворится,
Лишь тронет рябь волнения гладь воды?..

И я держусь за миг, как за утёс,
Чтоб не сорваться в брэнности пучину,
Где есть привычки, следствия, причины,
И прочен мир, и неподвижна ось.

Мои стихи легки, как облака,
Мне с ними жить до боли интересно:
В них в строки вдруг сжимаются века,
И снам становится в секундах тесно.

От жёлтой кляксы – брызги до земли
Доходят. Я в себя, как промокашка,
Вбираю их... О солнце, исцели,
Зажги меня, чтоб не было мне тяжело

Нести свой груз сквозь темноту ночей;
Позволь гореть с тобой одной зарёю,
Не изменяя сущности вещей,
Не нарушая солнечного строя;

Прощать, дарить деревьям имена
И потакать нелепейшим затеям,
Пока звучит заветная струна,
И ключ от вдохновения не потеряю.

Мир чувствует цветочный аромат,
Бег трассы, новостроек многомерность;
Я нахожу строки волшебный лад,
И сердце детству сохраняет верность.

Мои стихи легки, как облака,
Но что слепить из облачного теста?
Мне бы коснуться лучика цветка
И вызволить весну из-под ареста...

Я ощущаю: где-то рядом смерть
Струится в мир невидимым потоком,
Но ей пролиться ядом не сумею
Туда, куда дано проникнуть строкам.



Как стыли пальцы в ледяной воде,
Как закрывались двери – и молчали,
Я, может быть, не расскажу нигде,
Не выдам глубину своей печали.

Но в невесомость уведут шаги,
И солнце знак подаст, что снова рядом,
И станут мысли строги и наги
Под его чистым и лучистым взглядом.

И оживут все струны, все миры,
Вернётся к па плясунья на канате,
И ноты, что дремали до поры,
Вдруг вспыхнут светом в солнечной сонате.

Да, это жизнь, и в ней – от света всё,
Всё тайна в ней, когда не знать закона.
Мы спасены, покуда свет спасён,
Покуда вырван из когтей дракона.

О сгинь, чудовище, рассейся, мгла!
Лучам любви доверюсь я всецело,
Чтоб танцовщицу нить не подвела,
Чтоб всё вокруг жило, звучало, пело!

СЕМЁН АБРАМОВИЧ

КОЛОКОЛЬЧИК НА КРЫЛЬЦЕ

Коварство наших южных зим:
Ветра беснуются в беседке,
Февраль скользит, и мы скользим,
Машины редки, люди редки.

Дублёнку плотно запахнув,
Спешит укутавшись соседка.
Мороз, заправский стеклодув,
Хрустальные развесил метки.

В ветвях зелёных стынет ель.
И воробьи шарами стынут.
Им снится ласковый апрель
И голубых небес сатины.

А мне сегодня снился путь,
Саней скрипящее скольжение,
Тоска, терзающая грудь,
Грядущей встречи упоенье,

И ваша тёплая рука,
Лежащая в моей ладони.
Тепло живое камелька,
И чай индийский «У Фанкони».

Ещё ругается зима,
Прохладой утро наполняя.
Заря же, золотом играя,
Вползает в сонные дома.

Рассвет. Разымчива весна.
Всё выше сонного бессилья
В зелёный март летит на крыльях
На зов маячный ревунa.

Лечу и я, лечу туда,
Где море делится свободой
И небосвод седобородый
Чуть задевает провода.



И отрезвляюще ветра
 Стирают напрочь боль разлуки,
 И учащают сердца стук...
 Туда, где алы клипера,

Где чувств дремавшая волна
 Друг сбросит цепкое забвенье...
 В один лишь миг, в одно мгновенье
 Счастливым делая... Она...

Рыжеволосая княжна –
 Мой бред и суть моих сонетов,
 Жива в душе не отогретой,
 В капели песни недопетой
 У отворённого окна...

Гонит ветер, гонит ветер
 Липы цвет по мостовой.
 Жёлтым облаком рассвета
 Он кружит над головой.

Он кружит над фонарями,
 В них признав свою родню,
 И над жёлтыми кистями
 В карагановом¹ раю.

Он садится на седины,
 Забывается в глаза.
 Из небесной середины
 Надвигается гроза.

Оживился неба штапель,
 Серый, жёлтый, голубой.
 Холодок от первых капель,
 Отрезвляющий прибор.

Он бросается на берег,
 Зарывается в песок,
 Отточив металла копеек,
 Брошенных наискосок.

Склон, «Отрада», жёлтый камень –
 Мой причал и мой покой.
 Ночи, звезды, лёд и пламень
 Чуть приправлены тоской.

Здесь любили мы друг друга,
 Здесь терялись в стаях звёзд.
 И вращались в центре круга
 Судьбы наши вперекрёст.

Те, июньские рассветы
 Отложились навсегда
 Всей палитрой желтоцветов,
 Накрывающей года.



Вдалеке, в загоризонтье
Память, алые мечты,
Алый парус – алый зонтик
От дождя и суеты.

¹ Карагана древовидная – жёлтая акация.

Л.С.

Жизнь уже не будет прежней,
День ушёл за горизонт.
Годы – реки, годы – стрежни,
Убегают в алый фронт.

В звёздной новолунной ночи
День рождается, луч пробьёт.
Из согретой солнцем почки
Лист салатový взойдёт.

Март почти что на исходе,
Ночь короче, день длинней.
У порога дома бродит
Месяц цветень – лицедей.

Ах, апрель – пора бессонниц.
Дорогой мой человек,
О тебе разливы звонниц
В отраженьи быстрых рек.

Жизнь уже не будет прежней –
Неминуем поворот.
Верю даже я, мятежник, –
Всё проходит, всё пройдёт...

Кровь заката,
Стынет хата.
Протопить пора бы печь.
Всё бледней расплав булата.
Точка, точка невозврата...
Серп луны да млечный меч.

Печи кольца розоваты.
Дышит чайник сиповато.
Кот свою мурлычет речь.
Смотрит он подслеповато,
Что едите там, ребята?..
Шаль стекает с милых плеч.

Страсти смяты
Чаем с мятой.
Шепчет сон: «Пора прилечь».
В чувствах нежных, прикроватных
День уходит безвозвратно
И его не уберечь.



Ползёт рассвет по простыне,
 Стекает, падает на плитку,
 Ко мне ползёт, ползёт улиткой
 С пятиэтажкой на спине.

Средь тополей застрявший дом,
 Как рыба, брошенная в сети,
 Поблёскивает в рыжем свете
 И чем-то очень мне знаком.

Подкатывает к горлу ком –
 Сжат в кулаке закат вчерашний,
 Штрихом застрявший карандашным
 И укатившийся клубком.

Мерещится? Да, я тут был...
 В какой-то жизни невесомой,
 Необъяснимой и влекомой,
 Той, что когда-то отпустил –

Как бабочку в моей ладони,
 Ту пленницу, что по весне
 Присниться может лишь во сне –
 И канувшей на небосклоне.

Ладони в радужной пылице –
 Холодный всплеск воспоминаний,
 Как дежавю сей ветер ранний,
 Как колокольчик на крыльце.

Что ты шепчешь мне, каштан
 Про приход субботы
 Твой коричневый обман –
 Трепет и заботы.
 Сквозь больничное окно
 Утро шлёт приветы.
 Потолок, стена, пятно,
 Тени и предметы.
 Скрипит старая кровать
 Вздрогнувшего веткой.
 Ах, как хочется сбежать
 Лучиком рассветным.
 Ах, как хочется уйти
 От беды и боли,
 Чтобы росами пройти
 По лугам и полю.
 Ах, как хочется обнять
 Мне тебя за плечи...
 Только скрипнула кровать,
 Да и ты далече...

АЛЕКСЕЙ РУБАН

НЕПОБЕДИМОЕ СОЛНЦЕ

повесть

*Непобедимого солнца луч
Пал вдруг на морду катка,
Крушащего клумбы.*

Каждую весну женщина из третьего подъезда сажала цветы. Она наполняла уродливые бетонные чаши землёй из полиэтиленовых кульков и потом изо дня в день долго колдовала над клумбами, расплёскивая по ветру полы неизменной шерстяной кофты. Отягощённые ворохом повседневных забот, люди несли свои тела мимо. Кто-то кивал спутнику в сторону согбенной фигуры, двое или трое расщедривались на ободряющие реплики, и женщина вновь оставалась наедине с саженцами. А потом одним утром, как-то внезапно, серый бетон расцветал сочными красками, и спешившие на работу отягощённые улыбались, замечая вдруг, каким прозрачным и тёплым стал воздух. Появившиеся цветы означали приход весны, и прохожие начинали оттаивать и замедлять шаг, чтобы оглядеться вокруг и посмотреть в отмытую синеву неба. Женщина, имя которой толком никто не знал, одна из шести сотен обитателей окольцевавших двор многоквартирных коробок, хотя и реже, но продолжала нести свою вахту, поливая, поправляя и ещё много чего, о чём мы не имели даже смутного представления. Дети с радостным визгом носились вокруг клумб, не думая о том, что разноцветье поблекнет и исчезнет с приходом осенних дождей. Счастье заключалось в двух «не» – неведении и невинности, и единственным, что могла противопоставить им зрелость, была вера в нужность твоего дела. Безымянная женщина в кофте верила в цветы, не ожидая награды, одинокая странница под порывами будничных ветров, маленький человек, вращающий жернова мира.

Я смотрел, как Маргоша шла между почти неразличимыми под слоем снега кусками бетона, с прямой спиной, непоколебимо ровно, будто бы с неба не хлестала обжигающе-колючая крупа, и думал об экзистенциальном катке. Громоздкий, первобытный, с дегенеративным рылом, он всей массой обрушивался на идеалистические клумбы, расплющивая надежды, ровняя с землёй мечты, эмиссар всепоглощающего хаоса. Хаос был безбрежным океаном. Мирок, домик из палочек, любовно выстроенный нами на крохотном островке, шалашик, в котором мы наивно полагали обрести рай, рассыпался после первого же шторма, и даже неведение не могло спасти от бездушной стихии. И всё же Маргоша шла между потерявших форму клумб и, бросая вызов хаосу, перед тем, как исчезнуть в провале арки, не оборачиваясь, коротким взмахом выбросила над головой руку. Она не сомневалась, что я увидел её жест, и в этом тоже была так необходимая миру вера.

Несколько минут я наблюдал, как снег поглощал утонувший в тишине двор, а потом вернулся к столу. Кофе в чашке почти остыл, и ноутбук продолжал бубнить о ситуации на валютном рынке. Утро для Маргоши всегда начиналось с новостей мировой экономики. За десять лет семейной жизни я так и не смог понять, почему все называли мою жену этим совершенно не вязавшимся с её поступками именем.

– Ты Рита, – говорил я ей, – может, Марго, Маргарита Константиновна, само собой, но какая из тебя Маргоша? Маргошам больше нравятся люди, а не эти ваши индексы и балансы, Маргоши по утрам по полчаса потягиваются в постели и ждут, чтобы их погладили, – говорил я каких-то полгода назад, целуя её в лоб.

– У людей всё неправильно, – фыркала она, морща нос, – всё, что только можно себе представить. Почему о любви к другому человеку молчат, а любить бога нужно, крича об этом на всех улах? Почему одни всю жизнь считают себя хуже, чем есть, а у других главное, чтоб как у людей, и доживают до старости без всяких сомнений? Почему вторые считают первых идиотами, и никто не может подойти и засунуть их самодовольство в их же дурную глотку? Ты, возможно, прав, жизнь – это хаос, но с ним можно бороться, упорядочивать его, для этого и придумали индексы и балансы. Я регулярно чищу свой почтовый ящик, это занимает пару минут, зато всё по местам и выглядит достойно. Когда я умру, он, конечно, обрастёт кучей спама, но пока я здесь, я буду его чистить.



- Но ведь твои любимые картины создавали тоже люди, – бросал я на амбразуру последний аргумент.
- Безусловно, и это были прекрасные люди, но их всё равно в тысячи раз меньше, чем всех остальных.
- И за одного из остальных тебя угораздило выйти замуж, – шипел я, и Маргоша снова фыркала.

Мы расходились по своим делам, а перед сном, словно дотягиваясь до зудевишего места, я заходил в почту и удалял все ненужные письма.

На экране экономика уступила место политике. На главной площади столицы собрались отмечавшие День прав и свобод. Гремел оркестр, солдаты синхронно впечатывали в брусчатку снег, яркие пятна транспарантов чужеродно трепетали на белом фоне. Я знал, что на площадь пришли и те, кто верил в искренность стоявших на трибуне избранных нации. Человек не мог жить без иллюзий, тогда хаос мгновенно поглотил бы его, поэтому мы по-прежнему продолжали надирать глотки о любви к богу, не понимая, какое бремя налагала эта самая любовь. Как и тысячелетия назад, мы хотели думать, что верхи заботятся о своих низах, хотя там, где одна подпись приводила в движение людские массы, не оставалось места для человечности. С уколком стыда за происходящее я закрыл окно на экране. Как знать, быть может, ущербным был я, тип с червоточинной, пытавшийся разглядеть обман за лобыми, даже самыми светлыми инициативами? Книжки, которые я читал, музыка, которую слушал, за ними тоже стояли люди с червоточинной. Передо мной встало фото Лукавого, лидера «Солнца», глаза в глаза, чёрный свитер с закатанными рукавами, татуировка «Тебе лгут» на запястье. Его звали Лукавым, но я верил ему больше, чем топтавшим все трибуны мира. Потом я вспомнил Маргошу и её «нет». Этим словом не стоило злоупотреблять, говорила она, в сущности, оно было роскошью, которую мог позволить себе только тщательно проанализировавший ситуацию человек. Но когда ты озвучивал его, это означало приговор. Я был менее категоричен, чем жена, и говорил «нет», не погружаясь в дебри анализа. Речь могла идти о чём угодно, предложении банкомата выдать чек или государственном празднестве, я должен был позволить себе это говорить, пусть не с высоты баррикад, в стенах своей квартиры, но должен был, иначе всё не имело смысла. Остатки кофе хлюпнули о дно раковины, и мысли об Ане снова начали раскручивать свой клубок, без всякой связи с происходившим вокруг.

*И знание, невинности враг,
Вошло в жизнь гостем непрошеным,
Предвестником смерти грядущей.*

- Знаешь, почему он называет себя Лукавым?
- Нет, откуда?

– Его отец был в Сопротивлении, партизанил, они боролись за независимость. У них там совсем маленькая территория, сплошные горы и камни, дожди круглый год, но народ гордый, до сих пор не могут забыть, как их присоединили пятьсот лет назад, сколько крови пролили. Отец погиб, они планировали теракт в столице, и что-то произошло со взрывчаткой, в общем, он подорвался. А когда через два года умерла мать, парня, ему двенадцать тогда было, отправили в одно место, забыла, как называется, типа нашего детдома, а там, сам понимаешь... У них всё на религии плотно замешано, священники приходят, уроки ведут, проповеди читают. И как-то один из них сказал, что все террористы горят в аду. Парень встаёт и говорит, что так не может быть, что это ложь. Священник ему, типа, как ты смеешь, слуги Господа никогда не лгут, это дело лукавого. Ну и он тогда: «На хер тогда такой бог, который не разбирает, кто герой, а кто падаль, лучше я там внизу буду, с отцом и его друзьями». Отхватил он, конечно, знатно, и дубасили, хотя официально это запрещено. А сейчас многие даже не знают, какое у него настоящее имя, так всё приросло.

– Где ты это узнала?

– Отец в последний рейс ходил на Континент, я его попросила привезти какие-нибудь музыкальные журналы. Он, конечно, не разбирается в этом ни разу, но честно притаранил здоровую стопку. Три четверти левака, само собой, пойс всякий, но наша тема тоже есть. Короче, учи язык, а то пока наши всё это переводить начнут, постареешь и будешь ретро-эстраду слушать.

Они грустно посмеялись, увязшие в огромных кожаных креслах. Кресла тонули в темноте с запахом ароматических палочек, на столе сигареты и бокалы, её отец в очередном рейсе, а мать на даче, декадентский рай до рассвета. Жернова магнитофона старательно вращали кассету, новый альбом «Непобедимого солнца». На этот раз Лукавый спел дуэтом с Ундиной, меланхоличной фолк-соотечественницей, которая внезапно остригла свои роскошные волосы до щиколоток, остаток выкрасила в рыжий цвет и вместе с главным плохишом андерграунда стала выдавать тексты о смерти богов и закате мира. Глубокий баритон и сопрано, чудовище и пожелавшая им стать, они пели о глобальных движениях людских масс, где не оставалось места для человечности, и о сокрытом внутри. Ты больше всего боишься выпустить это из себя, выпустить в мир, который мгновенно растопчет бережно хранимое годами, и волны хаоса унесут



остатки в океан. «Знаешь, почему мы так торчим на этом всём, на готике, мраке, всех этих упадочнических безысходняковых штуках? На самом деле, ты не такой, ты не хочешь спать в гробу и радоваться тогда, когда всё рушится. Просто то, что они нам предложили, это либо полная херь, в которую может поверить только олигофрен, либо стратегия. Они врут нам, даже когда говорят правду, потому что правда эта нужна им. Нас обокрали, рассказали, что старые идеалы труха, и не дали ничего взамен. И тебе просто приходится вытарчивать на тьме, упиваться ею, как единственной альтернативой. Пусть эти овцы блеют, мы им не нравимся, хотя они даже не пытаются разобраться, кто мы на самом деле. Но всё-таки есть шанс, небольшой, что кто-то задаст вопрос, что же его так раздражает, а там и начнёт копать глубже. Кроме этого у нас ничего больше нет».

Мы провели так всю ночь, и когда серый рассвет стал вползать в щель между тяжёлыми шторами, я сказал это, тихо, безжизненно:

– Ты же знаешь, я люблю тебя, – сказал я.

– Они все так говорят, – произнесла она, помолчав. – Их много, выбирай не хочу, но все они одинаковые и ничего обо мне не знают. Ничего, понимаешь? А если бы узнали... Интересно было бы на это посмотреть. Я ведь тоже тебя люблю, по-настоящему, ты, пожалуй, единственный, кто до чего-то во мне докопался, кому я могу всё это рассказать. И именно поэтому мы никогда с тобой не будем вместе, и знать о тех, с кем я общаюсь, с кем сплю и буду спать, тебе тоже не нужно. Допивай и сворачиваемся, скоро мама возвращается.

Мы допили и разошлись, и тем утром я впервые задумался о блаженстве неведения.

*Отказ от иллюзий стирает навеки
Улыбку с лица, а взамен
Обретёшь лишь свободу.*

И я, с этой раной, зудящей внутри червоточинной, сделал так, как она сказала. Не ведать, не задавать вопросов, видясь почти ежедневно, как знать, надолго ли меня бы хватило, если бы через полгода после той ночи в креслах Аня не покинула наш город. Я понимал, что она уезжала в другую жизнь не одна, и честно довёл игру до конца. Мы простились за два дня до её отъезда, в маленькой кофейне, где за столиками можно было только стоять, обойдясь минимумом слов, обогнув пустобрёхство расставания. Всё, что нужно, было уже сказано во мраке с запахом ароматических палочек. Через пару недель я получил от неё письмо без обратного адреса на конверте, один единственный листок. «Добралась. Спасибо тебе. И помни – они всегда лгут», – две строчки, которые я раз за разом прокручивал в голове, накачиваясь в кофейне пронесённым за паузой коньяком.

Я часто спрашивал себя, не было ли моё чувство к Ане иллюзией, одной из сотен, тысяч картинок, которые испокон веков рисуют себе люди, пытаясь раскрасить неприглядность серого бетона бытия. Один из альбомов «Непобедимого солнца» был полностью посвящён этим самым картинкам, и музыка, и тексты холодным душем обрушивались на слушателя, раздражая, гвоздями загоняя в череп мысли о том, что придуманный нами мир на самом деле не имел ничего общего с реальностью. Отказ от иллюзий давался через страдания, мир тянул тебя назад, в свои убаюкивающие объятия, и, даже преодолев все соблазны, выдержав боль, взамен ты получал всего лишь свободу. Свободу быть собой, горькое спокойствие человека, не видящего смысла в ежедневных жизненных забегах, не желающего чем-либо мериться с другими, навязывать им себя. В этой новой ипостаси было только одно неоспоримое достоинство – живя с ощущением конечности всего и вся, ты лучше многих был подготовлен к ударам судьбы. На обложке того самого альбома «Солнца» Лукавый на фоне бетонной стены смотрел в никуда, с выбеленным лицом, перечёркнутым чёрными прутьями грима. В буклете диска я прочитал, откуда появилась эта идея. В одном из городов, где «Непобедимые» играли очередной концерт, проходил ежегодный карнавал. Некий молодой человек, жизнерадостный разработчик программного обеспечения, без каких-либо эмоциональных и физиологических проблем, появился на празднестве голым, заключённым в запертую на замок клетку, ключ от которой он бросил в толпу. Затем мужчина начал бросаться на прутья, калеча себя, ломая кости и не произнося при этом ни звука. Затем он потерял сознание. Несчастного удалось спасти, и на все вопросы он отвечал только, что пытался показать людям, в какой клетке они все живут. По официальным сведениям мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, и после этого никаких больше сведений о нём в СМИ не появлялось. Лукавый переосмыслил ужасную историю, спев о том, как мы гниём за прутьями собственных иллюзий.

Да, я часто задавал себе этот вопрос и каждый раз понимал, что моё чувство, корявое, как шрам, оставшийся на плече, после того как я порезал себя ножом и с забинтованной рукой явился к Ане, рассказав о стычке со шпаной, было всё же искренним. После нашего расставания я больше не калечил себя, не уходил в запой, просто жил, продираясь сквозь глухие будни. Потом появилась Маргоша

и спасла меня, первый человек, которому я рассказал всё, и ответом мне было молчание и пожатие руки, и ни в тот день, ни позже она не позволила себе анализировать мою историю. Мы прожили в браке десять лет до того момента, как полгода назад мне в Сети пришло сообщение от пользователя под именем Ундина. На фото профиля была та самая меланхоличная фолк-певица, пожелавшая стать чудовищем, и я, с кувалдой сердца в груди, сразу понял, кто был той русалкой. Как оказалось, родители Ани переехали за границу, оставив квартиру единственной дочери, и та собиралась на несколько дней приехать в город, чтобы уладить связанные с продажей жилья формальности. Она не предлагала мне встретиться, это следовало из самого сообщения. Я плохо спал несколько ночей, а потом, ничего не сказав Маргоше, терзаясь угрызениями совести, написал, что хотел бы увидеться.

Как и пятнадцать лет тому назад, мы вновь сидели в той самой комнате. Всё было иначе, при свете дня, без дыма палочек и объятий кресел, и вместо вина из бокалов мы стопками глотали коричневую маслянистость коньяка. И всё же передо мной сидела Ундина, без макияжа, который мог бы скрыть подступавшие к глазам морщины, утомлённая и хриплоголая, но волосы её, короткие, ярко-рыжие, бросали вызов всем лгунам мира. Мы проговорили до позднего вечера, и мне пришлось позвонить Маргоше и сказать, что я задерживаюсь на переговорах. Аня почти не рассказывала о себе, я узнал лишь, что она жила во втором браке и воспитывала дочь Дину. Мы говорили о музыке и книгах, о том, как менялся наш родной город, о появлении Сети, искоренившей информационный голод и поработившей многих и многих, о том, что нам всё так же лгут. «Я рада, что ты не сдаёшься», – сказала она на прощание, я обнял её, и мы постояли так в коридоре, впитывая тепло друг друга. Она написала мне своё «Добралась», теперь уже в Сети, и я ответил ей, отправив фото татуировки Лукавого. Тогда я услышал шум первой океанской волны, накатывавшей на мой замок из песка.

Крупа за окном продолжала сечь двор, не усиливаясь и не утихая. Я вошёл в Сеть, пробежался по ссылкам, без надежды что-либо обнаружить, как страдающий синдромом навязчивых состояний перемещает предметы, стараясь придать миру вокруг подобие порядка и одновременно осознавая бессмысленность своих действий. Изюм всех сетевых щелей лезли праздничные цвета, поздравления и уверенность в сытом счастливом будущем. «Он лгут тебе, а чем занимаешься ты?» – подумал вдруг я при мысли о вечернем визите. Внезапно мне стало невыносимо находиться одному в тишине квартиры. Я оделся, срабастал сумку и шагнул из тепла наружу.

По тропинке, протоптанной шедшими с утра на работу, я дошёл до скамейки возле когда-то называвшихся клумбами снежных чудищ, смёл перчаткой снег с холодного дерева и, так и не рискнув на него опуститься, закурил. Первая за день порция дыма бросилась в голову, меня слегка повело. Я вряд ли мог бы назвать себя зависимым от никотина, в курении мне важен был эффект, легчайшая, почти невесомая изменённость сознания, длившаяся пару минут и исчезающая на третьей-четвёртой сигарете. Я глубоко затягивался, думая о вечере, думая о завтрашнем дне, и прозвучавший за спиной голос заставил меня вздрогнуть.

– Прошу прощения, у вас не найдётся зажигалки?

Я обернулся. Он был смутно знаком мне, этот худой высокий человек в куртке с кашпоном, с длинным лицом и какими-то детскими глазами, один из шести сотен безымянных обитателей оцепивших двор бетонных коробок. Я протянул ему брикет, он щёлкнул колёсиком, выпустил струю дыма, поблагодарила и вернул мне зажигалку. Мужчина уже сделал шаг в сторону, когда я, сам не зная, откуда это пришло ко мне, разлепил губы.

– И ведь никто даже не знает, как её зовут, – бросил я в сторону бывших клумб.

Мужчина обернулся, проследил мой взгляд и улыбнулся.

– Почему же, я знаю. Это Ольга Андреевна, она живёт двумя этажами выше меня, помню, жена как-то помогала ей с покупкой саженцев.

– Надо же... А я только сегодня утром думал о том, что вот живёт человек, делает что-то для других, красоту создаёт, а другие эти даже не интересуются, кто он да зачем.

– Вы по-своему правы. Не будь мы соседями, не уверен, что знал бы о ней. Она одна здесь, муж умер, дети разъехались, и получается, что цветы для неё как отдушина, лекарство, она, кстати, до пенсии биологией в Университете преподавала, так что в этом деле разбирается.

– И где спрашивается, справедливость? – я почувствовал, что начинаю горячиться, сказывалось напряжение последних дней, – в конце концов, человек заслуживает внимания, пускай не награды, но хотя бы интереса к себе со стороны других, а мы... Да что мы, я ведь и сам мимо неё молча прохожу.

– Так и есть, – длиннолицый мужчина задумчиво посмотрел на дымившуюся в пальцах сигарету, – только, к сожалению, чаще всего нет даже интереса. Большинству людей непросто смотреть в это окно, из себя на других, выглянут ненадолго и захлопывают. Так мы устроены. А Ольга Андреевна, между прочим, ни от кого ничего не ждёт. Знаете, она мне как-то сказала, что красоту надо создавать, максимально дистанцируясь от себя, потом можно и даже нужно порадоваться, но пока ты в процессе, забудь про свои амбиции, свою роль, просто отдавайся этой красоте, и тогда, возможно, у тебя что-нибудь выйдет.



– Вы, подозреваю, тоже имеете отношение к прекрасному, так проникновенно об этом говорите.

– Аркадий, меня зовут Аркадий, – он протянул мне ладонь, и я, сняв перчатку, пожал её, представившись. – Пожалуй, что да, имею. Я работаю в одной маленькой фирме, мы реставрируем старинные здания в городе. Просто оглянитесь вокруг себя, когда весной, после всех снегопадов, будете идти по улицам. Все эти облупившиеся фасады, потерявшие вид скульптуры... Мне жалко на это смотреть, вот мы и стараемся, как можем, хотя доходов это больших не приносит, в подавляющем большинстве госзаказы, а там, сами понимаете. По сути, фирма в ноль функционирует, зарплату выдали, и ничего не осталось. Но оно того стоит. Я вот жену свою упоминал, которая Ольге Андреевне помогала, а ведь с ней я уже полтора года в разводе. Так вышло, она с индустрией красоты связана, хотела, чтобы я ей с бизнесом помогал, а я никак, пытался-пытался себя убедить работу оставить и не смог. И вот в тот день, когда она уходила, тихо так, печально, я вышел на улицу за сосиской в тесте. Пить я не могу, организм категорически не принимает, а чем-то забить эту растерянность, тоску эту, просто жизненно необходимо было. И вот устроился я на скамейке, начал есть, и тут бабочка рядом со мной села, красивая до невозможности, посидела немного, потом поднялась и улетела. Ничего особенного, вы скажете, но я в этом знак увидел, встал и пошёл домой, в новую жизнь встраиваться. Понимаете, это я не самовосхвалением занимаюсь, просто если действительно что-то любишь, нельзя рассчитывать, что другие это с тобой разделят, оделят тебя вниманием.

– Путь одиночества... – обронил я, вспомнив про иллюзии и свободу, вспомнив о сегодняшнем вчере и завтрашнем дне. – Но ведь это такое тяжёлое бремя, в сущности, все, с кем я работаю, отягощены именно им.

– А вы, простите?..

– Я переговорщик.

– Вы имеете в виду парней из фильмов, которые уговаривают самоубийц и террористов не бросаться с крыши и не активировать взрывчатку? – в глазах Аркадия проступило удивление.

– Нет, конечно, – я рассмеялся, – это наш профессиональный жаргон. – На самом деле, вы вряд ли о таком слышали, по сути, это эксперимент, ещё даже не в финальной стадии, и не факт, что в итоге его не прикроют. Если вкратце, ещё два года назад я сидел дома и занимался сетевым дизайном, никого не трогал, и вдруг мне позвонил старый, университетских времён товарищ, и предложил авантюру. Эксперимент, кстати, тоже на государственном уровне, правда, оплачивается пристойно, по крайней мере, меняя сферу деятельности, я остался в выигрыше. Грубо говоря, это что-то вроде службы психологической помощи, только перед тобой сидит не профессиональный психолог, а обычный человек, не сказать даже, чтобы великий эмпат, просто... Короче говоря, я и сам толком не понимаю, какими критериями они руководствуются при отборе нас, переговорщиков, как нас находят. К тебе приходят люди, не больше трёх в день, откуда они о нашей службе узнают, тоже непонятно, и ты с ними разговариваешь на любые темы. Они тебе о своих проблемах рассказывают, бывает, каются в чём-то, а иногда так вообще спорт обсуждают или музыку. Профессионалом во всех этих вопросах ты быть, естественно, не можешь, да и не должен, сидишь, слушаешь, сам говоришь. До сих пор не понимаю, как я на это согласился, но зацепило меня быстро, хотя и непросто бывает, выматывает. Товарищ мой, кстати, как-то обмолвился, что уровень доверия к психологам резко упал в последнее время, людям хочется простого человеческого общения, а оно сейчас как раз и в дефиците. Плюс какие-то исследования показали, что люди определённого склада могут легче абстрагироваться от чужих проблем, чем подготовленные специалисты, которые, пускай и редко, но всё же трогаются после отслушивания нескольких сотен историй. Видимо, это мой случай. Так вот, повторюсь, девяносто пять из ста приходящих ко мне страдают от одиночества, страдают так, что никакие противовесы в виде служения красоте не облегчат эти страдания. Взять хотя бы... Послушайте, – я вдруг опомнился, резко выдернутый из колодца своих мыслей в заснеженную реальность, – вам, наверное, нужно идти, а я со своими...

– Я с удовольствием послушаю, – Аркадий ткнул пальцем в свинцовое небо, в такую погоду, как вы понимаете, работа у нас встает намертво. – Можно ещё раз вашу зажигалку?

Я вновь протянул брикет мужчине, о котором ничего не знал ещё десять минут тому назад, и рассказал ему историю, потрясшую мой мир.

*У бога либо нет на нас никаких планов,
Либо недоступны они пониманию нашему.
И в том, и в другом случае это фатальный нутряной ужас.*

Человек, сидевший за столом, выглядел плохо. Иссёкшие белки кровавые прожилки, осунувшееся лицо, нездорового цвета кожа – дело было не только в этом. От мужчины, назвавшимся Арсением, исходили



сава ли не физически ощутимые волны. Растерянность и отчаяние, вот что источал человек за столом, втиравший подушечки пальцев в виски, ожесточённо, словно пытаясь выдавить наружу забившиеся в поры микроскопические зёрна горя. Несколько минут прошли в молчании, а затем Арсений опустил рук на столешницу и поднял глаза, мутные зеркала над тёмными полукругиями.

– Я вряд ли пришёл бы к вам, если бы не отъезд, – он говорил тихо, и слова почти сразу же растворились в пространстве между нами. – Делиться с другими можно, наверное, даже нужно, просто есть вещи, которые невозможно донести. Если ты переживаешь что-то подобное, возникает барьер, фильтр между тобой и окружающими. Ты можешь говорить и говорить, тебе всё понятно, даже если на твой вопрос нет ответа, ты всё равно осознаёшь его важность, содержание, суть. А что услышат они? Слова, да, логично связанные между собой, никакой шизофазии, но ведь это не математика, если ты сложишь все слова, в итоге цифра получится намного больше, потому что есть ещё содержание. Даже не так, есть содержание, а есть то, откуда оно растёт, корни. Человек понимает, что ты говоришь, но оно его никак не трогает, для него оно бесконечно чуждо, как, например, геометрия другого измерения. По этой причине я не рассчитывал, что кто-то ещё узнает обо всём этом, кто-то, кроме причастных, да и они, в сущности, видели только оболочку... Но около года назад я осознал, что больше не могу здесь жить, не в квартире, даже не в городе, в стране, где всё произошло. Один мой товарищ, ещё со школы, давно живёт... в общем, это на другом континенте, там у них жарыща, сушит круглый год, народа немного, короче говоря, нужны и рабочие руки, и те, кто головой работает. Я долго думал и пришёл к выводу, что, оставаясь здесь, сойду с ума. Вены порезать или из окна выпрыгнуть, – при этих словах кадык мужчины дёрнулся, – у меня вряд ли духу хватило бы, никогда не замечал за собой суицидальных наклонностей, а вот мозгами тронуться реально. Списался с товарищем, оказалось, там требуются учителя иностранных языков, а у меня филологическое образование, много лет в редакции одного журнала проработал, товарищ обещал словечко замолвить. Надеюсь, слабо, конечно, но хоть что-то, работа с детьми отвлечёт, плюс обстановка другая, менталитет. Собственно, сижу на чемоданах, через десять дней самолёт. А недавно, долго объяснять, откуда, да и не суть, узнал о вашей службе, и внезапно прострелило – я ведь сжигаю мосты, квартиру продаю, буду стараться всеми силами там зацепиться, на могилу к Глебу больше не попаду, видимо, но если останусь, так вообще некому ходить будет, а Лера позаботится, так вот, нужно хотя бы попробовать кому-то рассказать. Такой себе финальный финт, а дальше пусть горит себе, тлеет, всё равно всё рухнуло. Вам, наверное, нельзя чужими историями с людьми делиться, так вот, если захотите, мою можете пересказывать. Не в качестве предостережения, не от чего там предостерегать, да я ведь и сам не знаю, что это на самом деле было, обезумел ли один человек, или же весь мир, вся наша реальность изначально безумна, а мы просто старательно ничего не замечаем.

Я и сам ничего не замечал, жизни прожил половину, а то и большую, и прожил, сейчас я понимаю, счастливо. Банально, сами знаете, осознаёшь, что был счастлив, только когда всё проходит. Я эту банальность пропустил через себя, да так, что внутри всё повыжигало. С Лерой, женой моей, в одну сторону смотрели, в редакции мне нравилось, народ подобрался занятный, на жизнь хватало. Ну и Глеб, сын наш, умница большая. Я субъективен, конечно, как любой отец, но парень действительно был сказочный. Никаких тебе соплей, капризов, неприхотливый, ел всё, не привередничая, хотя Лерка готовила здорово, с учёбой никаких проблем. Он в двенадцать лет врубался, по крайней мере, старался, в такие вопросы, о которых люди после тридцати начинают задумываться, и при этом не зануда, и в футбол с друзьями гонял, не отянешь, и за компом, опять же. И вот как-то, ему двенадцать было, начало каникул, лето, Лера мне говорит, мол, Глеб в последнее время утомлённым выглядит и будто в напряге всё время, да и спит, похоже, плохо. Пытались списать на авитаминоз, влюблённость, в итоге я с ним поговорил, и он рассказал мне жуткие вещи. Несколько месяцев ему снились сны, к нему приходил ангел и говорил, что Глеб – новый Мессия, только функция у него совсем другая, чем у предыдущего. В него заложен Апокалипсис, он должен жить, наблюдать всю дрянь, которая нас окружает, от хамства придурка-одноклассника до террористов, маньяков, всей этой сетевой грязи, и не ожесточиться, контролировать свою бомбу, не выпустить наружу гибель мира. И он верил в это, верил искренне, маленький мой несчастный мальчик, он плакал у меня на руках, говорил, что не может так жить. Мы, конечно, ходили к психиатру, и тот не нашёл никаких отклонений. Знаете, что он нам сказал? Дело в слишком развитой фантазии ребёнка. Но я ведь видел, я видел его записи. Он называл это Новейшим Заветом. Ангел диктовал ему текст, а Глеб, просыпаясь, записывал. Поверьте, двенадцатилетний ребёнок, какой бы фантазией он ни обладал, не сможет написать такое. И тогда я решила, что мы должны поехать в отпуск, через океан, ну, вы знаете, где священные коровы и перерождения. Я думал, это ему поможет, поможет всем нам, совершенно иная культура, подход к вещам, картина мира, в конце концов. Объявил я это семье и уснул, спокойно так, в первый раз с того момента, как сын мне всё рассказал. А на рассвете меня шум разбудил. Забегаю я в комнату Глеба, а там, – голос мужчины сорвался, и глаза набрякли слезами, – открытое окно, и занавеску ветром носит. Мы выбежали во двор, вызвали скорую, он жив ещё был, сказал мне: «Прости, папочка, так лучше будет». До больницы его не довезли, врачи сказали – вообще без шансов.



Мужчина рыдал, трясся всем телом, размазывал слёзы по лицу, тихо подвывая, трясущимися руками хватал графин и глотал воду прямо из горлышка. Потом Арсений достал из заднего кармана джинсов платок и долго вытирал лицо, оставляя на нём грязные разводы.

– Простите, сорвался. Сейчас это уже значительно реже, первое время истерил по несколько раз на дню. Дальше всё покатило в пропасть. С Лерой мы развелись, просто не смогли находиться вместе, он всё время стоял между нами, укором, мол, проглядели, не те меры принимали... Чушь, конечно, что там можно было сделать, не препаратами же его обкалывать, ведь и врач сказал, что без отклонений. Но это всё логика, а на деле... Она к родителям вернулась, списываемся изредка, сухо, по делу, приходится себя контролировать, я же люблю её до сих пор, думаю, и она... Такая, в общем, диалектика. Я пить пробовал, не помогало, только хуже становилось, бессонница обострялась, а это вообще край, днём хоть на что-то отвлекаешься, а ночью просто на грудь наваливается, так что дышать невозможно. Квартира мне осталась, Лера почти ничего забирать не стала, я тут же к первому попавшемуся риэлтору пошёл и через три недели уже на новом месте обретался. Не мог я в тех стенах находиться, объяснить не нужно. Лера опять же от денег отказалась, и я прожил их потихоньку, с работы ведь ушёл, сил не было взгляды эти терпеть сочувственные, вопросы. Люди не виноваты, наоборот, переживали, но мне только хуже от этого становилось. А самое страшное, мне стали в голову лезть мысли, а вдруг всё действительно так и было, как Глеб рассказывал? И ангел, и конец света, и был мой сын Мессией, который мир спас. А если так, тогда что же это за злодейский бог воцарился над нами, какие он эксперименты над своими творениями ставит, как он нас должен ненавидеть, если навесил судьбу мира на плечи маленького мальчика? Я понимаю, непознаваемы пути, но ведь это же ужасно. Говорят, после смерти мы там встретимся, только когда начинаешь обо всём плотно задумываться, такой ужас кромешный берёт... Представляете, если бог здесь всё так выкручивает, что нас ждёт там? А даже если он всё-таки всеблаг, это же совершенно иная форма существования, и это тоже ужас, дикий, прямо изнутри.

– Я как-то вычитал фразу, – сказал мужчина, уже стоя у двери. – «И умираешь так медленно, что кажется, будто живёшь». Она по другому поводу, но в итоге про меня. Знаете, чего я хочу? Устать так, чтобы усыпить этот инстинкт, и когда придёт смерть, торопить я её не собираюсь, я говорил уже, встретить её с радостью. Первый раз после смерти Глеба испытать это чувство и уйти отсюда. Если там ничего нет, будет покой, а если есть... Теплится ещё надежда, малюсенькая, что он всё же всеблаг, – совсем тихо произнёс Арсений и закрыл за собой дверь.

*И всё, что ты можешь сделать, –
Остаться собой до конца,
Собой самим.*

– Он ушёл, и больше мы никогда с ним не виделись, – вторая сигарета дотлевала в моих пальцах. – Я не мог успокоиться после его рассказа, всё время думал об этом. Он не был похож на сумасшедшего, к тому же, не думаю, что человека с отклонениями допустили бы до нашего эксперимента. В конце концов, я полез в Сеть и действительно обнаружил кучу информации, удивительно, что это мимо меня прошло, хотя я новостями не особо интересуюсь. Двенадцатилетний мальчик выбросился из окна, было следствие, дело, видимо, замаяли, слишком мутно там всё было, списали на не выявленное вовремя психическое заболевание. Арсений, конечно, мог выдать чужую историю за свою, назваться чужим именем, но мне так не кажется. Я даже пошёл по адресу, указанному в Сети, потолкался там во дворе, удалось с парой соседей познакомиться, мы с ними, кстати, до сих пор какой-никакой контакт поддерживаем. Всё, что они мне рассказали, разговор, между прочим, сам собой пошёл, я их не подталкивал, согласуется с его рассказом, никаких противоречий. И вот я уже много времени думаю над его словами, о всеблагости и кромешном ужасе на другом конце, и об одиночестве человека между двумя полюсами... Ну вот опять, извините меня, – внезапно спохватился я, – мы тут уже столько времени торчим под снегом, а я никак не остановлюсь.

– О чём вы говорите, – Аркадий замахал руками, – меня самого всё это зацепило. Знаете, если вам приходила в голову мысль, что вы в чём-то виноваты, нужно было объяснить человеку какие-то вещи, попытаться помочь – выбросьте её из головы. Он не за этим приходил. Я вообще не представляю, что можно сказать человеку в подобной ситуации. Читал как-то биографию одного музыканта, и меня там поразили строчки, типа того, что его одиночество – это не от того, что он людей не любил, или они его не любили. Просто бывает так, что видишь то, чего другие увидеть не могут, и поэтому между вами возникает непреодолимый барьер.

– Ещё одна клетка из многих, – тихо сказал я и рассказал Арсению о Лукавом и безмянном парне, бившемся о прутья клетки. Это было важно, важнее холода и снега, на несколько минут важнее даже сегодняшнего вечера и завтрашнего утра. Я достал из кармана телефон, зашёл в Сеть и прочитал человеку



с данным лицом один из своих любимых текстов. Мы стояли под снегопадом, и мне хотелось, чтобы где-то в далёкой стране Лукавый улыбнулся, почувствовав, что кто-то в эту минуту бросает в мир его слова.

Когда мы с моим другом напиваемся
 (Это происходит чаще, чем следует,
 Но реже, чем хотелось бы),
 Он всегда задаёт мне один и тот же вопрос.
 Вроде, дань традиции, но я знаю:
 Ему действительно важно услышать ответ.
 «Что тебе нужно?» — спрашивает меня друг,
 И тогда я начинаю говорить,
 Долго и, в сущности, давно известные нам вещи,
 Меняется разве что форма.
 Я говорю ему про клетку, о которой написал песню,
 Мы все заперты в ней с самого рождения,
 В клетке плоти, которая смердит, болит и требует,
 В клетке ума, мешающего видеть истину,
 В клетке привязанности к вещам, людям,
 Погремушкам славы, привязанности к себе.
 И я так хотел бы из неё вырваться,
 Бросить всё, раздать нищим что в загашинике,
 Свалить отсюда, стать садху, носить оранжевое,
 Питаться подношениями, спать на земле, выпрыгивать из сансары,
 И всё бы хорошо, но ум жаждет гарантий,
 Мол, а вдруг там ничего нет? И душа покорно
 Возвращается к погремушкам в загашинике.
 Ещё можно бить поклоны под образами,
 Но это совсем не моё, вот и не будем об этом.
 И поэтому я продолжаю идти своим кривым путём,
 Что-то делать, вроде как для других,
 Но на деле так ты покупаешь
 У пустоты иллюзию того, что в её пасти
 Не растворись, останешься хотя бы в виде
 Написанных текстов, неровно сыгранных песен,
 Воспоминаний других, короче, ещё одна иллюзия,
 Ещё одна клетка из многих.
 Мы пьём, и я говорю, что нет кайфа в этом:
 Мечтать о святости, так и оставаясь собою,
 А потом мой друг вспоминает анекдот про человека,
 У него было два гуся, чёрный и белый,
 Он не знал, какого зарезать к празднику,
 Обоих же не мог, остался бы ни с чем.
 Местный мудрец не помог, но посоветовал
 Обратиться к попу, сведущему в мирских делах.
 «Режь белого», — безапелляционно изрёк поп.
 «Но чёрный же будет скучать», — привычно заявил человек.
 «Ну и хрен с ним», — был ему ответ.
 В оригинале там другое слово,
 Полнее раскрывающее суть, но я не буду
 Его приводить здесь. Все вы его знаете,
 К тому же среди нас могут оказаться дети.
 Говорят, дети понимают лучше...
 Впрочем, я отвлекся. «И хрен с ним», — говорит мой друг, —
 «С клеткой, сансарой и образами,
 Я сам такой же придурок, сам варюсь в бытия трагизме,
 Но давай хоть сегодня не будем об этом,
 Завтра всё равно с похмелья накроет».
 И мы пьём, слушаем музыку, играем в видеоигры,
 Потом неизбежно приходит утро,
 Серое, и накрывает так, как никогда до этого.



*А где-то там, далеко, сажду в оранжевом
Ходят с поднятой рукой, курят свои травы,
Где-то под образами женщины в платках рыдают,
Чадят свечи, звенят цепи кадила,
И на это откуда-то сверху с прищуром
Смотрит бог, смотрит сквозь прутья клетки.*

– И это написал человек, называющий себя Лукавым.

Аркадий помолчал.

– Это очень сильно, – он говорил размеренно, словно определяя невидимыми приборами ценность каждого слова. – Мне кажется, богоборчество – это зачастую обратная сторона богоискательства. Бунтари, настоящие, я имею в виду, борются ведь не с богом, а с людьми, до неузнаваемости искажившими всё прекрасное. Люди берут самое важное, что у нас есть, – веру в то, что всё не зря, мы не исчезаем после физической кончины, и дела наши, поступки, все они ложатся в нужные детали глобальной мозаики... Так вот, люди берут эту веру и ставят её себе на службу, манипулируют другими с её помощью. Вряд ли есть что-либо отвратительнее этого. Осознавая это, так легко разувериться. Но знаете, я где-то слышал, что у дельфинов верхний слой кожи обновляется каждые два часа. Каждые два часа, представляете? Страшные раны зарастают, не говоря уже о том, что они умеют преодолевать боль, вопреки ей продолжают двигаться, кормить детёнышей, а если умирают, то, наверное, даже не замечают этого. По-моему, лучшего доказательства того, что всё не зря, не придумаешь. Не могут, понимаете, не могут подобные вещи появиться просто так, без замысла, без цели. А что до вашей клетки, так оно и есть, и, видимо, единственное, что мы можем сделать, это пытаться остаться собой, не предать себя, и тогда, может быть, выйдем наружу, сами не заметив, как.

Мы ещё помолчали, пожали друг другу руки и без слов разошлись. Каждый пошёл своей дорогой, а снег продолжал падать со свинцового неба.

*Легенды вы пишете, будто
Бросаете в жизненный сор семена
Цветов, которых нет в мире.*

Я уже приближался, к подъезду, когда в кармане завибрировал телефон. «Купи, пожалуйста, хлеба, пачку масла, самый высокий процент, ты в курсе, и яиц на утро», – как и всегда, Маргоша была предельно лаконична. Меняя курс, я порадовался возможности отвлечься от мыслей о предстоящем. Быт с его ежедневными повинностями раздражал, загонял в манеж, где ты изо дня в день наматывал круги перед пустыми рядами, но порой он становился буфером между человеком и экзистенциальным ужасом, океанскими каплями просачивавшимися сквозь прорехи бытия. Сейчас, находясь в своём первом в жизни отпуске на новой работе, я понимал это как нельзя лучше. Общение с людьми порой выматывало, время от времени возвращались вопросы по поводу того, чем я занимался. Камеры, записывавшие наши беседы, вряд ли могли навести на мысли об антигуманных опытах правительства, этот факт никто не скрывал, и ни разу во время бесед с моим куратором, симпатичным толстячком лет пятидесяти, у меня не возникла мысль о каких-либо манипуляциях с сознанием. Мне, уставшему от лжи поклоннику Лукавого, так хотелось верить в человечность, которой всё же есть хоть немного места там наверху. Длилась третья неделя моего оплачиваемого безделья, и оставалось всё меньше и меньше ниш, в которых я мог бы спрятаться от самого себя.

Я шёл по заснеженным улицам, и со стен домов билась на ветру многоцветные флаги, пёстрые полотнища лозунгов, неуёмный пульс зимы. Я представил Аркадия, сидящего на скамейке, размышляющего о том, как он будет заново собирать покосившуюся жизнь, «Только не сегодня, я начну завтра, а сегодня дай мне возможность ни о чём не думать», – просил он у кого-то. Возле человека с длинным лицом на спинке скамейки сидела бабочка. Пёстрая, переливающаяся в солнечных лучах, она олицетворяла другую жизнь, противоположную той, которую утверждали окрашенные куски ткани на ветру. Ещё в мире были дельфины, кожа их обновлялась каждые два часа, и кто-то видел в этом смысл и противовес плакатности лжи. Я дошёл до ближайшего магазина, сложил в пластиковую корзинку покупки, расплатился на кассе и вышел наружу. Мне предстоял недолгий путь до дома и несколько часов ожидания, мучительный зуд бездействия. Я полез в карман за сигаретами, и в это время кто-то ухватил меня за плечо.

– Розик, глянь, какие люди в наших краях объявились!

Не опознать эти интонации было невозможно. Передо мной стояли Гарик и Розенбом, две местные легенды андерграунда, те самые соседи, с которыми я разговаривался, пытаюсь вести справки о несчастном отце мальчика Глеба. Музыканты в прошлом, в своё время они уверенно подбирались к самому краю ал-



кобездны и не собирались снижать темп. Скорее всего, парочка пополнила бы ряды бесчисленных солдат рок-н-ролла, до срока накрытых волнами хаоса, если бы за дело не взялся противоположный пол. Лишь благодаря железной хватке подруг жизни Гарик и Розик затормозили почти у самого конца жёлоба, и вот уже с десяток лет алкогольные напитки в их жизни присутствовали почти исключительно в виде воспоминаний. Почти, потому что летом благоверные постаревших солдат совместно отправлялись заниматься дачным хозяйством, и для героев андерграунда наступал недельный рай. С утра до ночи они потребляли, сыпя бесконечными историями о боевой молодости. Жёны, естественно, были в курсе происходившего, однако не вмешивались, что, по видимости, было частью однажды заключённого семейного пакта. Впрочем, судя по пышущим жаром лицам друзей, послабление также распространялось на некоторые празднества. Я познакомился с ними как раз в период того самого недолгого упоения, по достоинству оценил тонкость встретившихся на моём пути натур, и с тех пор мы время от времени общались в сети на музыкально-ностальгические темы.

– Чуваки, не думал, что вы отмечаете государственные праздники, – провозгласил я, не скрывая удовольствие лицезреть однозную парочку.

– Дружище, да ни четверть раза, – от избытка чувств Гарик приплясывал на месте, похлопывая себя по дутой куртке, – сам знаешь, мы на их государство кааали и класть будем, но тут такое дело... Короче, наших дам, они ж вместе работают, ты же знаешь, вот как раз по поводу этих их праздников пропихнули в какой-то там санаторий или дом отдыха, как там это у них сейчас называется...

– На девять, прикинь, на девять дней, – провозгласил Розенбом, и оба залились счастливым детским смехом. Я не успел поздравить солдат со сказочной удачей, как меня уже тащили за руки по направлению к ближайшему пивбару. Доверившись судьбе, я не сопротивлялся, отдавшись на волю волн, не имевших ничего общего с теми, что катил на нас хаос.

В маленьком помещении, несмотря на праздничный день, было пусто. Телевизор над барной стойкой мелькал кадрами с центральной площади, где, по всей видимости, и собрались все сознательные граждане города. Спустя пару минут перед нами появились три массивные кружки тёмного – теперь оба бойца отдавали предпочтение пиву, позволявшему дольше оставаться в сознании, дабы делиться с окружающими накопленным опытом. Я отхлебнул горьковатую жидкость, и хмель почти сразу бросился в голову. Мы нечасто употребляли с Маргошей, и обычно дело не шло дальше двух-трёх бокалов вина. Воспоминания об алкобессоннице юности, ночных страхах и треморе так до конца и не стёрлись из памяти. Одним глотком осушив половину кружки, Гарик принял позу сделавшего стойку пса.

– И не начинай даже парить, что у тебя дела, сегодня выходной, так что глотай побольше и слушай, что тебе умные люди расскажут.

Я попытался возразить, что многие частные фирмы сегодня работали, и Маргоша с утра тоже отправилась к своим экономическим изысканиям, однако был безжалостно оборван на полуслове выразительным комментажем Розенбома.

– ...и вот приезжаем мы на фест, со спальниками, палатками, всё по фирме. Чувак, кричу тебе, кайф полнейший, природа, воздух, горы метров триста от сцены. Заправились плотно, вылазим, и, прикинь, на первой же вещи рвётся у Розика струна. Ну, хрен там, пока он меняет, мы гоцапки рок-н-рольные запустили, там и на одной гитарке прокатит. Волаю я, волаю, и тут, хренась, у меня первая тоже летит, норм, да? Хорошо, пацаны, бас с барабанами, не обломались, продолжили качать, вытянули, короче, как-то. Отлабали, накатили ещё и решили на гору влезть. Не рассчитали, правда, малёхо, там оно как – смотришь, кажется невысоко, а начинаешь карабкаться и понимаешь, что лажа. Не доползли мы до верха, короче, но суть не в этом. Увязался за нами тип, все дела байкерские, кожа, цепи, значки, а сам чёрный. Не совсем чёрный, оттуда, в общем, ты понял, коровы у них священные, перерождения. У него, оказывается, отец в посольстве в столице работал, а сынок по другой дороге пошёл. Всё мы с ним обсудили плотно, законы все, что ты делал и кем потом рождаешься, прямо на землю садились, по полтоסיку опрокидывали и дальше. Занятный такой тип оказался, забыл, как звали его. Я его спрашиваю, типа, как ты тут очутился, что тебя привело сюда, а он улыбается так, а вроде и серьёзно, и говорит: «Судьба». Офигенно, скажи?

– Да там вообще людишки собириались как на подбор, – подхватил спич Розенбом, – Яник-клавишник, например. Он в каком-то оркестре работал, при филармонии, кажется, год в завязке, зарплата какая-никакая, халтуры жирные, жить можно вполне. А потом как-то репетируют они, перерыв объявляют, он на ближайший рынок решил мотнуться, овощей для салата купить, инструмент даже не выключил, а вернулся месяц спустя, без овощей и с диким перегаром...

– А Витёк, Яника кореш. Он, помимо бухла, ещё и на аптеке сидел, так если к нему приходил кто, он просил бутылки в авоську класть. Матушка смотрит в глазок, видит – люди с авоськами, значит, можно пускать, нормальные типы, алкаши, не наркоманы какие-нибудь.

Я не очень хорошо помню, как вырвался из цепких объятий солдат после двух часов времени и трёх кружек пива. В какой-то момент бармен прибавил звук телевизора, и столпы андерграунда на минуту отвлеклись от меня, костеря происходившее на площади. Бормоча что-то маловразумительное, я вскочил,



стремительно пожал обоим руки и вылетел в живительный холод улицы. По дороге домой, немного отойдя от словесного шквала, я думал об одном из благословенных «не». Гарик и Розенбом умудрились протащить свою невинность через препоны, и не снившиеся их трезвенникам-согражданам, и я невольно улыбался при этой мысли, благословляя неразлучную пару.

*Стиснутый меж двух вагонов,
Вновь на полу я лежу
Под перестук колёс вечный.*

У входа в подъезд человек в лёгком пальто и вязаной шапочке лопатой разгрёбал снег. Мы поздоровались, пожали друг другу руки. Никита воткнул лопату в сугроб и с видимым удовольствием потянулся всем телом.

– Что, никак на площади тусовался?

– Не смешно, – я улынулся, – Маргоша в магазин послала, эксплуатирует супруга, пользуясь законным отпуском. А у тебя сегодня физический труд на свежем воздухе?

– Да вот, решил разгрести по возможности. Кира после обеда прогуляться пойдёт, ей тяжело через завалы пробираться, сам понимаешь, да и вообще, люди же ходят. А мне в кайф, на самом деле, разогрелся, кровь побежала, а дома чаю горячего выпьешь – и умиротворяет, аж не передать.

– Тебе помочь? – я ощутил импульс совести, сигнал из глубины сознания, всё больше и больше замыкавшегося на самом себе.

– Нет, чувак, спасибо, тут работы не так много, да и лопаты второй нет.

– Как Кира?

– Достоинно, ничего не скажешь. Непросто бывает, само собой, но держится умницей, ты знаешь, стоицизма ей не занимать, жизнь заставила. Я, по-моему, больше напрягаюсь в каких-то ситуациях, чем она.

– Сколько вам осталось?

– Неполных три месяца, если всё по плану. Понимаешь, я на нервах внутри, ей не показываю, хотя чувствует, наверное. Знаю же, мы всё, что надо, делаем, сверх этого не прыгнешь, да и не нужно, но дергает постоянно: а как, а что, а вдруг... Первый опыт у обоих, как никак, да и возраст... Но ничего, фигня, вырвем, иначе нельзя просто.

– Всё будет, Ник, не сомневайся. Если что, обращайся, мы рядом.

– Я знаю, спасибо, привет Маргоше.

Мы стукнулись кулаками в перчатках. Никита вернулся к сугробам. Я зашёл в подъезд, подошёл к лифту и опустился на корточки, привалившись спиной к стене. Два года назад Никита и Кира переехали в квартиру на одной лестничной клетке с нами. Вначале мы просто здоровались при встрече, а потом, как-то незаметно, начали общаться, периодически устраивая тихие вечерние посиделки то у них, то у нас. На тот момент мы с Никитой были коллегами по фрилансу, что ещё больше способствовало сближению. Именно Ник познакомил меня с Бумажным Слоном, таинственным сетевым музыкантом, начитывавшим свои тексты поверх тягучих электронных подкладов. Уверен, они сразу нашли бы общий язык, Лукавый из далёкой страны и толстяк с печальным взглядом, не больше десятка фотографий которого хранила паутина. В треке «Два вагона» Слон рассказывал историю много лет ехавшего в поезде человека. В составе было всего два вагона, а наглухо задренная дверь не позволяла попасть в локомотив. В первом вагоне царили тишь и порядок, человек сидел у окна и неспешно размышлял о жизни, анализируя, раскладывая по полочкам бытие, противостоя хаосу, глядя на пейзаж за стеклом. Потом он вставал и проходил через тамбур в соседний вагон. Там, в пьяном угаре и клубах дыма, с эйфоричными друзьями и распалёнными похотью женщинами, он проводил несколько дней. Потом одним утром все исчезали. Человек доползал до тамбура, какое-то время пластом лежал на холодном полу, «считая мутантов-овец и двухголовых уток», пока, наконец, не нашёл в себе силы добраться до первого вагона. Там человек отсыпался и вновь садился у окна созерцать.

«Два вагона» стали лейтмотивом знакомства Ника и Киры. Они сошлись одним дождливым осенним днём, против обыкновения напились и совершили безумный трип в другой конец города, закончившийся в её квартире. Они были разными, только внешне, но контраст этот сразу же привлекал внимание. Спортивная, с прекрасной фигурой, которую не портил даже шестой месяц беременности, Кира всю жизнь страдала из-за своей внешности, вытянутого лица с низким лбом и почти квадратным подбородком. О, как же я ненавидел перехваченные на улице взгляды мужчин, с ног до головы сканировавших красивых женщин, их ухмылки при виде некрасивых. Глядя и на тех, и на других, я всегда тут же прятал глаза, не желая быть выданным с поличным. В детстве Киру третировала бабушка, утверждая, что внучка никогда не найдёт себе пару. Девушка получила два образования, устроилась в жизни и день за днём тащила

на себе груз одиночества и безысходности. Никита в прошлом был женат, недолго изменял жене, подсознательно чувствуя, что жил не с тем человеком, развёлся, и это, по его словам, ускорило смерть обожаемой им матери. Он наложил на себя епитимью, дистанцировался от мира, не общался с женщинами. Встреча с Кирой изменила всё. Они поженились, переехали в новую квартиру, оставив прошлую жизнь за спиной, потом Кира забеременела. В который раз я подумал, что они заслужили своё счастье, выстрадали его, и внезапно глухая тоска вдавила меня в стену. Я слышал, как бьются о берег волны хаоса, подбегая к шалашику, где маленькие люди пытались найти укрытие от жестокости мироздания, крупница к крупнице лепила маленькое счастье, каким-то краем души осознавая, что первый же шквал смоем всё. Кричащие в глухие уши Вселенной, мелькающие перед её слепыми глазами, они заслуживали радость, хотя бы и недолгую, но заслуживали своим ежедневным подвигом. Я тяжело поднялся на ноги, вызвал лифт и шагнул в его тесную клеть.

И вновь за столом я,
Хоть чувствую, что проиграл,
Перу не начав даже.

В квартире я переоделся в домашнее, отправил покупки в холодильник, включил ноутбук и упёрся невидящим взглядом в заставку. От выпитого шива побаливала голова. Превозмогая себя, я заварил крепкого чая с лимоном, испортив благородный напиток двумя ложками сахара, в очередной раз пробежался по страницам, ссылайки на которые всегда удалял из памяти компьютера, очищая историю посещения Сети. Снег за окном всё так же стремился с небес на утомлённую землю. Я положил голову на скрещённые на столешнице руки, и сон тут же забрал меня из трещащей под натиском хаоса реальности.

Говорят, что глаза — это зеркало души. Давным-давно один мой знакомый, слегка перебрав, сказал, что эссе является отражением работы ума. Наверное, поэтому я никогда в жизни не писал эссе. Мне не нравится иметь дело с проявлениями ума. Способность мыслить — сомнительный дар природы. К примеру, днём ты трудишься в лаборатории над созданием какого-нибудь льда-девятка, маленький кусочек которого может заморозить все водоёмы в мире, а вечером... Ну, хорошо, не будем впадать в крайности. И так, днём ты изобретаешь идеальное лекарство против насморка, потом едешь к любовнице, проводишь у неё пару часов, возвращаешься домой, садишься за стол и воздаёшь должное приготовленной супругой солёнке. В кухню входит дочь, ты улыбаешься, треплешь её по голове и интересуешься оценкой за недавно контрольную по алгебре. Возможно, перед сном вы займётесь с женой любовью, и всё это время мозг твой будет исправно работать, в зародыше уничтожая малейшие противоречия, возникающие в сознании, успокаивая совесть, оправдывая совершенные поступки. Впрочем, смотреть людям в глаза я люблю не больше, чем анализировать чужие мыслительные процессы. Не то чтобы мне было неприятно выдерживать чей-то взгляд, я просто не надеюсь увидеть в зрачках ближнего своего ни искренней любви, ни сострадания, ни творческого голода. Деятели от искусства часто повторяют, что творец должен оставаться голодным. Что ж, если говорить о пище телесной, я вряд ли могу претендовать на более-менее достойное место в литературном пантеоне. Деньги на моём счету в швейцарском банке хватило бы, чтобы обеспечить и праправнуков (конечно, только в том варианте, в котором я удосужился бы обзавестись потомством). Такое положение вещей, правда, существовало не всегда. Хорошо помню, как однажды мы с мамой пошли погулять в центр на День Города. Мне тогда было лет одиннадцать-двенадцать. Всё вокруг сверкало красками, в стеклянных калбах пузырилась газировка, шарики мороженого на вафельных розжках обещали облегчение пересохшему от жары горлу, а мы шли сквозь толпу веселящихся людей, стараясь не смотреть по сторонам. Того, что позвякивало в маминем кошелке, хватило лишь на пачку апельсиновой жвачки. Нет, мы не были нищими. В доме нашем всегда царили идеальные чистота и порядок, никто не вставал из-за стола не насытившись, в шкафу висела одежда, позволявшая не мёрзнуть холодными зимами. Сложно представить, на какие ухищрения приходилось идти для этого моей маме, скромной учительнице географии, но даже её усилий не хватало, чтобы подарить мне нехитрые детские радости. Какой-нибудь доморожденный психоаналитик, несомненно, увидел бы корень моей успешности в том, что ребёнком я не мог получить игрушек, о которых мечтал. Хорошо, что я не психоаналитик. Иногда мне кажется, что духовный голод вообще не имеет никакого отношения к акту творчества. Ты просто просыпаешься в четыре утра, ворочаешься с боку на бок в тщетных попытках снова уснуть, злишься, понимая, что к середине дня начнёшь дремать прямо за рабочим столом. А потом это просто входит в тебя, непонятно откуда, без малейших логических и ассоциативных привязок, и слова начинают сплетаться сами собой. Так получаются стихи, рассказы, повести, а порой и нечто, определение чему вы не найдёте ни в одном литературном справочнике. Именно из этих нечто я и склеил свой «премиальный» роман. Многие маститые авторы утверждали, что не писали сами свои произведения, а лишь служили проводниками идей для каких-то таинственных сил. Я не верю ни в бога, ни в чёрта, но всё же творчество — это единственная вещь, которую я готов признать доказательством существования сверхъестественного. Интересно, по какому признаку эти «кто-то там» выбирают проводников? Из биографий следует, что немало заслуженных писателей в быту были изрядными сволочами и эгоистами. Я и сам явно не вписываюсь в образ ежeminутно болельщего душой за людские судьбы гуманиста. С другой стороны, если без остатка выплёскивать весь свой талант



на бумагу, что останется для общения с родными и друзьями? Возникает вопрос, а честно ли это, когда над твоими книгами плачут от восторга, а сам ты при этом регулярно нажираешься в жлам, да ещё и руку на жену поднимаешь? Ну, про гений и злодейство написали задолго до моего рождения, так что проблема не нова.

Есть, правда, у меня и положительные стороны, отбросим ложную скромность, раз уж пошёл такой разговор. Так я совершенно не умею торчать от себя, создавать пафос вокруг собственной персоны. Это всегда обламывало меня в других. Некоторые из них, к слову, так растарфиваются, что теряют весь талант. Сидят они теперь дома на кухне, а то и по кабакам, и гальванизируют своё славное прошлое. А ещё есть те, у кого «ни дня без строчки». А кто тебе, чувак, сказал, что строчки эти хорошие? Ладно, пусть их, особенно учитывая, сколько времени я уже не общался в больших количествах с людьми. С утра садишься за клавиатуру и не замечаешь, как на улице начинают зажигать фонари. Хорошо, что теперь не нужно ходить на работу.

Был у меня один товарищ, мы играли с ним вместе в студенческие годы. Он уже тогда прилично владел гитарой, куда там мне с моим басом, да и в ноты попадал регулярно. Музыки у нас, откровенно говоря, было не особо много, а вот слова... Сплошной негатив и одиночество, но девчонки на концертах оглушительно вопили от восторга, так что проблем с личной жизнью мы не испытывали. Поиграл я так года два, а потом взял и продал бас. С женским полом тоже пришлось подзавязать – хочешь хорошо писать, учишь не размениваться на мелочи. А недавно, сам не знаю почему, нашёл я последние записи моего бывшего товарища в Сети. Жирком оброс товарищ, волосы поредели, поёт по-прежнему здорово, а не качает. Свои тексты я ему всегда давал стеснялся, даже и не думал о том, чтобы тягаться с таким мастодонтом. А сейчас слушаю и понимаю, что он бы с радостью отвалил кучу денег за разрешение использовать мои стихи, ну хотя бы из последнего сборника.

Уверен, давая я интервью, меня бы обязательно спрашивали о «секрете успеха» моего романа. А всё ведь до безобразия просто. Проснулся я как-то в четыре утра (это уже было время, когда книжки мои стали понемногу продаваться), лежу и думаю. Накануне вечером я часа три кряду просматривал в Сети читательские отзывы на свою последнюю повесть, даже затошило слегка. Превозносят до небес, тут же дерьмам обливают, и во всём этом ни проблеска понимания. И вдруг я осознаю, что писать нужно не для людей, писательство важно само по себе, а чтобы оставаться объективным, необходимо до минимума ограничить свои контакты с окружающим миром. Сказано – сделано. С работы я уволился, денег от продаж книг на жизнь хватало с лихвой. Близкими друзьями я не обзавёлся, знакомые на общении особо не настаивали. Отец мой бросил нас, когда мне было два года, с тех пор я видел его от силы раз двадцать. Мама вот уже много лет живёт в другом городе, для астматиков климат там самый подходящий. Раз в неделю мы разговариваем по телефону. Захочешь узнать, что в мире творится – посмотри телевизор или в Сеть залезь, а лучше почитай классиков, до конца жизни не перечитаешь. Так прошло четыре года. Книги мои народ при всём нашем духовном оскудении раскупал всё лучше и лучше, даже сборники стихов (вот уж никогда бы не подумал). А потом раздался звонок. Вежливый голос, тяжёлый акцент, номинация на Нобелевскую премию. Каюсь, разволновался я тогда немного, даже коньяку выпил, потом отпустило. На вручение я не поехал, сослался на состояние здоровья. Все документы мне отправили почтой, деньги перевели на указанный счёт. Да здравствует эпоха дистанционного общения!

Я сижу в своей квартире возле окна, смотрю на проезжающие машины и ощущаю пустоту внутри. Она не настолько страшна, чтобы травиться газом, резать вены или прикладываться к бутылке. Я просто пытаюсь понять, зачем всё это, зачем выжимать сознание и насиловать фантазию, ради чего обрекать себя на одиночество? И стоит ли страдать только для того, чтобы ещё на одну страницу легла тень этих страданий? Ладно, не в первый раз, пройдёт. «Это было и раньше, мой приступ не нов», – так, кажется, поётся в одной хорошей песне. Я ещё немного посижу у окна, а потом вернусь за свой стол, включу экран и положу пальцы на клавиатуру, потому что в мире для меня нет ничего любимей, приятней и страшней, чем творчество.

Изуверские телефонные трели вырвали меня из забытья, заставив осоловело шарить руками по столу в поисках трубки. Кое-как отпарпоровав Маргоше о выполнении задания, я отправил пластмассовый прямоугольник в воздушное путешествие, закончившееся на диване. Несколько горстей холодной воды в лицо завершили процесс возвращения в реальность. Для меня алкоголь всегда был лучшим седативным средством, хотя именно тогда, после отъезда Ани, я познакомился и с противоположным его эффектом. Превозмогая тошноту, нещадно насилая организм, я вливал в себя пойло в течение недели, дешёвую дрянь, не приносящую желанного забвения. За этот эксперимент мне пришлось заплатить полной бессонницей на двое суток, и прошло ещё несколько ночей, пока сон не восстановился полностью. Лежа в темноте, в аду мыслей и воспоминаний, в самом сердце океана, я задумал историю о человеке, пожертвовавшем всем миром ради возможности творить. Рассказ этот так никогда и не был написан. Я не питал иллюзий по поводу собственных литературных талантов и благоразумно избавил себя от бесплодных мук графомании. Тем не менее, сюжет этот с различными вариациями не раз всплывал в моих снах, слепок жизни придуманного, но от того не менее одинокого человека. Утонуть в одиночестве не составляло труда, и я был далеко не последним в очереди у омута, от которого меня спасла Маргоша.

Обозначивший себя учёным словом «агностики», я ничего не знал о судьбе, но не стал бы отрицать, что она приложила руку к нашей встрече. Мы сошлись в студенческой столовой, где я отпивал чаем свой ослабленный любовью и зелёным змием организм. Всё происходило донельзя уныло, сказали бы



вы, никаких драм, ревности к бывшим и несбывшимся, широченных жестов, призванных заставить осаждаемую твердыню пасть. Ей не нужно было, чтобы её добивались, я не жаждал заполучить любовницу или кухарку. Мы оба хотели понимания, вместе строить свой шалашик, надеясь, что волны не смоют его раньше срока. Да, Маргоша спасла меня, и я полюбил её, её прямую спину, непоколебимую логику и человечность. С ней мы смотрели в одну сторону, вспоминал я слова несчастного Арсения о его жене, нередко под разными углами, но в одну. Когда выяснилось, что она не могла забеременеть, Маргоша спросила, как мы будем жить дальше. Тёмное дело, вероятно, какие-то генетические сбои, врачи не могли поставить точный диагноз, однако предупредили, что рассчитывать на потомство нам не стоило. Я ответил, что всё будет по-прежнему, что любил её, а после, заглянув в одиночестве в омут души, с гадливым чувством осознал, что испытывал нечто вроде облегчения. Дети были для меня абсолютно таинственными существами, пришельцами из параллельных миров. Мне казалось, большинство мужчин по-настоящему сближаются со своими чадами, лишь разглядев в них признаки личности. Розовокожее новое создание, кричащее ли, спящее, не могло вызвать чувств у тех, кто исходил в первую очередь от ума, это был удел женщин, инстинкт, не дававший человеческому роду кануть в бездну. Многое изменилось с тех времён. Слова Ника у подъезда, то, как он говорил о будущем ребёнке, заставили что-то во мне откликнуться, ненадолго покинуть свой внутренний кокон. Как чувствовала себя Маргоша, спрашивал я себя, и не находил ответ. Моя жена была сокровенным человеком, тот самый барьер, о котором говорил Аркадий. Ты видишь то, что не могут увидеть другие, и в то же время твой самый близкий человек остаётся для тебя загадкой. Страдала ли она, смирилась ли за все прошедшие годы, подозревала ли о том, как отозвался я тогда на известие? Я не знал.

Зато я знал другое, знал, что, несмотря на потаённые уголки Маргошиной микровселенной, мы могли быть уверенными друг в друге. Как-то на пастбищах Сети я наткнулся на одну глубоко впечатлившую меня историю. Бездетная семейная пара, хотя никогда и не бедствовавшая, тем не менее, жила в постоянном напряжении из-за того, что муж, школьный учитель на подмене, мог лишиться заработка. К тому же, мужчина внезапно открыл в себе талант писателя, получил лестные отзывы от нескольких издателей, однако из-за необходимости работать не имел времени закончить книгу. Однажды пожилой священник, за которым ухаживала жена, сделал ей предложение. «Я знаю, что вас беспокоит, и могу оказать помощь, — сказал он. — За жизнь я изрядно приумножил состояние, доставшееся от родителей, не будучи склонным ни к прелюбодеянию, ни к пьянству, равно как и к обжорству, и прочим, связанным с затратами порокам. Теперь, на старости лет, я хочу узнать, что же такое совершить грех, всего один, думаю, с Богом мы договоримся, недаром же я прожил праведником долгие годы. Проблема в том, что здоровье не позволяет мне сделать это. Согрешите за меня и вы получите сумму, которая позволит вашему мужу не работать столько времени, сколько ему нужно, чтобы дописать книгу». Женщина возмущается, такова же реакция и мужа, а потом они всё же идут в местный парк. Там она бьёт по лицу незнакомого ребёнка, не слишком сильно, но так, чтобы потекла кровь, он всё снимает на видеокамеру. Священник получает плёнку, пара — деньги, затем всё рушится. Семейный секс превращается в акты насилия, реакция издателей на книгу оказывается значительно сдержанней устных авансов, он пьёт, она приводит домой любовников. Следует закономерный развод. Я показал рассказ Маргоше, она прочитала его и задумчиво сказала: «Так случается, но это не про нас». Я знал, что она права до тех пор, пока в мою жизнь снова не вторглась Аня. Рыжеволосая ундина всплыла навстречу со дна омута, и волны хлынули на берег.

Как мне было бороться с этим, как упорядочить письма в почте, хотя бы на то время, пока ещё сыпался песок моей жизни? Песчинка среди песчинок, я остро ощущал свою ничтожность, как человек перед божьим ликом. Заключать сделки с людьми было подчас непросто, с богом почти невозможно, хотя пожилой священник и утверждал обратное, мне же нужно было договориться с собой, раз и навсегда определить место для Маргоши и Ани, и задача эта казалась невыполнимой. Ненавидящий других, тех, что раздевали глазами женщин на улице, теперь я ненавидел себя за сны. В них мы на исходе жизни, после того как Маргоша мирно уйдёт от старости, будем гулять с Аней по осенним аллеям, держась за руки. Стиснув в руке пачку, я рванул на себя дверь балкона, выпустив морозный воздух в комнату, навалился на перила и стал жадно вдыхать горький дым. «Какжеогосподизачтоже, — молча кричал я в свинцовое небо, — есть ты там или нет, за что мне эта раздвоённость, зачем ты опять толкаешь меня к столу? Однажды я уже сел играть в эту игру, ты выделил мне расклад хуже некуда, разве же я виноват, что проиграл? Я думал, всё в прошлом, но оно здесь, и я опять беру в руки карты, заранее зная, чем всё закончится. Никто не виноват, я просто плохо играл, вот и всё», — шептал я, пока сумерки ступали над городом.



*Мой пилигрим прошерстил целый город
И листья нашёл он, и канул
Вместе с ними в хаоса топку.*

Сумерки сгустились над городом, и мне пора было собираться. Я вернулся в комнату, обесточил ноутбук, подумал о невозможности договориться с богом, смиреннии, миллиардах сказанных слов в оправдание собственных поступков, и тогда мой пластмассовый прямоугольник вновь пожелал ожить, распластанный на диванных подушках. Я привычно ткнул пальцем в нужное место и прижал к уху холодный пластик.

– Здравствуйте, не знаю, помните ли меня, хотел просто сказать...

Я помнил его, Костю-пилигрима, одного из своих первых, пусть будет, клиентов, хотя слово это настойчиво вставало у меня поперёк горла. Недаром прозванный паломником, исследователь родного города, мальчик терялся среди улиц, очарованный архитектурными ликами прошлого, углубляясь во мрак переулков и безжалостную тоску тупиков. Костик, обломок дней, что никогда не вернутся, мог часами бродить извилистыми тропами мегаполиса, изучая, анализируя, всё дальше и дальше удаляясь от повседневности. Его мать, старшая медсестра в поликлинике, понимая хрупкость сына перед лицом неизбежной реальности, изломала себя, получила необходимую визу и обихаживала некоего Джованни в далёкой стране за океаном. Деньгами этого окопавшегося в старческой безысходности деятеля Лариса Алексеевна оплачивала контракт сына-филолога, остальное шло на пресловутые коммунальные услуги и еду-питьё. Внезапно Костя влюбился, крепко и безнадежно, так, как может очароваться лишь мальчик в семнадцать лет. Он полюбил её жадно и на всю жизнь, она говорила «да», потом было «прости». Долги по коммуналке, тем временем, предвещали отключение всего и вся в случае неуплаты. Костя ревновал, рыдал и в последний опущенный ему день, едва не опоздав в банк, где должен был получить перевод из-за океана и сразу же погасить задолженность, обнаружил, что оставил дома паспорт. Он явился ко мне, встрепанный, заявил, что не хочет жить, тем более ходить по инстанциям, и я, вынужденный что-то говорить, вдруг рассказал ему про Маргошу и Аню, историю из прошлого, не ведая, как придётся мне вскоре сдерживать хрипы по ночам. Пилигрим помолчал, а потом озвучил.

– И вот, я же до сих пор люблю её.

– Попробуй хоть на чём-то закайфовать, чем больше у тебя в тылу, тем легче найти опору, – кинул я тогда, и Костя мгновенно отозвался. – Вы понимаете, я столько раз уже пытался, но нет. Не знаю даже, как из всего этого выгребать, она казалась мне ангелом, девочкой из другого мира, и все мы её недостойны, и мне такая честь с неба спустилась быть рядом с ней...

И что мог сказать ему я, столкнувшемуся с хаосом, решившему отправиться в плаванье по волнам родом из бездны, я, которому он осмелился доверить хрупкость своего мира?

– Костя, помню, конечно, привет. Давай, рассказывай.

– Нет, собственно, ничего особенного, просто вдруг вспомнил о вас, ваши слова, спасибо вам большое. Излечился, не излечился, не знаю, но встретил недавно девочку, даже и не думал, что такое возможно, и вдруг... Короче, доктор, вы как-то сказали – всё дело в радости, но не только же в физиологии, я так думаю, можно же любить кого-то совсем не в образе, и с лицом не тем, и с телом... Я вот теперь её и не оцениваю, а она же такая красота у меня... Спасибо вам, доктор, вы ведь спасли меня.

И я, «доктор», долго говорил что-то Косте и был искренен, и знал, как неверно стелилась дорога пилигрима под расшарканными ботинками, и два человека могли идти по ней долгие годы, чтобы в один момент навсегда разойтись по сторонам. «Спасибо и тебе», – сказал я и прижал зелёность кнопки. Мир, так сильно изменившийся за последнее время, ошетилившийся экранами, вооружившийся новизной лозунгов и жи, он играл с нами, маленькими людьми на бесконечном поле. И всё же иногда измученный маленький человек вскидывал своё «я», и калиф на час становился Лукавым, игравшим на свирели под неумолчный рокот океанских волн.

*И радость цветает, будто
Епитимьи ты горло сдобрил
Пластмассовым надёжным фильтром.*

Под свинцовыми небесами, решившими обрушиться на землю, но не сразу, растягивавшими наслаждение покорения, под колючими струями я вминал снег в терпеливые бока планеты. Крупа сверху уравнивала всех, и мне оставалось только грезить под её неспешный план захватить планету, обернуть всё сонным коконом, в котором утонет ложь, и волны хаоса прекратят свой вечный бег. Идя проторенной Никитой дорожкой, двумя десяткам метрами в снежную бесконечность, я думал о его епитимье, думал

с горьким чувством родства. Маргоша, глыба логики, женщина, с которой я прожил десять лет, с которой хотел быть, любила живопись. Мы лежали во тьме, со сплетёнными руками, и она говорила мне о пятнах на холсте, о проступавших на чистоте доски лицах, характерах, поступках. Я верил ей, разделявшей со мной разложенное пространство дивана, верил до тех пор, пока в мою жизнь, насилуя и сминая, не вторгся каток. Холодная оценщица, ночами, с головой у меня на груди, она кидала слова во тьму, и я видел топчущих траву удивительных животных на золотых пастбищах, царапающих закопчённую поверхность икон мадонн. Мой сокровенный человек, моя Маргоша на свинцовости будней, я предавал её, лгал ей, становясь теми самыми, о ком, презрительно кривя губы, пел Лукавый. Аня уехала в свою жизнь, которую выстраивала годами, без оглядки на кого-либо, учитывая интересы тех, о ком мне не следовало знать, но не более того. Русалка махнула хвостом, смазав водное зеркало, и всё посыпалось перед глазами, обнажая холодный блеск реальности, от которой так неумело бежал. Мы никогда не соприкасались губами, ненавидимый Лукавым святоша не заклеил бы это изменой, но я знал, что предал Маргошу, лгал ей, умолчав о коричневой маслянистости на кухне, о том, куда собирался этим свинцовым вечером, пусть из лучших побуждений, по ведущим в ад булыжникам. Ундина уплыла, надеюсь, в этот раз навсегда, но звук накатывавших на стенки колодца водных масс по-прежнему стоял в ушах. Одним утром я проснулся с мыслью об искуплении, попытке поправить покосившуюся реальность, эгонистичной самоопитимье, вокруг которой в итоге завернулись все мои мысли и устремления. Ложь во спасение, всё то, что я так ненавидел, стало моей вечерней повседневностью, пресловутая задержка на работе, когда я поднимал старые сетевые контакты, хватался за любые халтуры, чтобы заработать на ту самую поездку. Мы должны были отправиться в город с брусчаткой тротуаров под водой, где Маргоша наконец-то воочию увидит свои любимые картины, а за окнами галерей будет неумолчно биться воспетая поэтами капель. Никаких кредитов, грабительских и не очень займов, на путешествие я должен был заработать своим трудом, и судьба благоволила мне в лице заказчика, готового щедро рассчитаться за согбенный дизайнерский труд. Я сделал всё, отбросившись перед женой временной рабочей загруженностью, получил положенное, устроил тугой обналоченный конверт в чёрном нутре сумки, зашёл в магазин за неизбежным хлебом с маслом, и хаос у кассы плеснул мне в лицо своего неизбежного дёгтя. Мальчик с голым черепом, одна из тысяч фотографий, выстроившихся возле тысяч молохов-аппаратов, вдруг заставил меня задуматься, запустил неумолчное битье внутри. Спустя несколько ночей без сна, с искромсанным, воспалённым предчувствием неизбежного сознанием, я явился в банк и перечислил всё заработанное на халтурах, стоимость недельного пребывания в городе ливней и галерей, на счёт угасавшего ребёнка. Мальчик выжил и даже стал обрастать волосами, об этом я, сам того не желая, узнал из случайно выпрыгнувших на глаза сетевых новостей. Не осознавая суть происходящего, с просачивавшимся сквозь пальцы песком бытия, отягощённый ложью Маргоше, ироничной ухмылкой Лукавого, мой герой ответил на звонок с незнакомого номера. Мать спасённого, каким-то образом выяснившая по номеру карточки необходимую личную информацию, настойчиво приглашала меня отпраздновать надвигавшийся на нас год в узком семейном кругу. Я обречённо согласился. Не чувствовавший ничего, катарсиса или хотя бы тени радости от спасения ребёнка, герой моей повести повторил озвученный адрес, тут же лихорадочно бросившись в тенета сети, без надежды ухватиться за хоть какую-то работу, успеть сграбастать хвост исчезавшего на горизонте поезда в страну галерей и ливней. С того дня я не знал покоя, в котле лжи любимой женщине, с чувством к той, с кем никогда не буду, с епитимьёй, когтистой обезьяной на спине, наложенной на самого себя. Этим вечером я шёл туда, где не хотел быть, завтрашним утром заканчивался срок акции в турагентстве, значительная скидка на поездку в город мечты Маргоши. Предстоящую ночь я рассчитывал провести без сна, а на рассвете, с опустошённым бдением телом, рассказать всё жене, возможно, подписывая себе приговор, ногой размётывая по песку бывшее шалашиком у берега, но другого выбора у меня не было.

*Добрые люди, странные люди,
Знать я хочу,
Отчего вы такие.*

Всё было именно так, как я и предчувствовал, и пропахший дешёвой кухней пополам с котами подъезда, и дерматиновая дверь, за которой столпилась вся семья, усердно разглядывавшая ими же приглашённого. Я пожал руку здоровяку в свежей, вероятно, полчаса тому назад обновлённой рубашке со стоячим воротом, его отцу, сонному старику с порезом на до синевы выбритой щеке, протянул купленный по дороге букет и шуршащий магазинный пакет хозяйке с тугими кучеряшками родом из моего детства. Маленькая старушка, жена порезавшегося при бритье, обняла меня, обдав запахом готовки, заставив содрогнуться внутри от неловкости. В комнате с нелепыми бежевыми обоями был накрыт стол, работал телевизор. Девочка лет восьми заворожено уставилась в экран, где на снежном площадном фоне трепетали пёстрые куски ткани, не обращая на меня никакого внимания, чему я искренне порадовался. Мы сели за стол,



я налил себе вина, вынужденный пить, обречённо думая о предстоящей ночи. Хозяйка с бокалом в руке поднялась, покрасневшая, утешая пальцами крахмальность скатерти.

– Мы так рады, если бы вы только знали, – женщина сбивалась и ещё больше краснела, наливаясь пунцовыми пятнами. – Вы такое для нас сделали, мы просто обязаны были, простите, я что-то такое говорю, сама не понимаю, но ведь и вы понять должны...

– Сядь уже, не суетись, – оборвала хозяйку обняв меня в прихожей старушка. – Вы извините нас, говорить при других мы не очень привыкли, а вам спасибо человеческое, поклон низкий. Побольше бы таких людей, и всё бы в стране наладилось. Жалко только, Серёженьки нет сейчас, посмотрел на спасителя бы. Он в больнице, процедуры восстанавливающие, я говорила вам по телефону.

Мы выпили. Алкоголь не давал желанной теплоты, лишь запульсировала боль у висков. Разговор вяло катился под гору, пробуксовывая на выбоинах. Здоровяк в рубашке работал шофёром на каком-то заводе, жена его торговала цветами в павильоне возле вокзала, старик с порезом, значительно больше интересовавшийся происходившим на экране, чем спасителем-гостем, с женой коротал век на пенсии. Кроме находившегося в больнице Серёжи, в семье росла Валя, перешедшая осенью во второй класс.

– Валечка у нас талант, – охотно делилась старушка из прихожей, – стихи так любит, во всех утренниках и конкурсах участвует. Валюша, прочитай что-нибудь гостю, – обратилась она к девочке. Валя оторвала глаза от экрана и без паузы заговорила.

*Привези мне, тятя, аленький цветочек,
Обойди преграды, путь найди меж кочек,
Как-то больно ждалось сердце вдруг в комочек,
Привози скорее аленький цветочек.*

*Привози под вечер или на рассвете,
Брагу пьют большие, балуются дети,
Жадно бьётся сердце в этой тесной клетке,
Стонет всё под вечер, стонет на рассвете.*

*Аленький цветочек, чудище лесное,
Может, замечталась, может, наносное,
Забродило сердце пьяною весною,
Аленький цветочек, чудище лесное...*

Это было удивительное действие, маленькая девочка на фоне нелепых обоев, бросавшая в нас слова, смысла которых ей ещё предстоит когда-то понять, и взрослые, благоговейно внимавшие ей, даже старик с порезом, отвлёкшийся от площадных дел и содержимого тарелки, с полуоткрытым ртом не сводивший глаз с внучки. Валя закончила, и тогда я поднялся, опрокинул в себя бокал и громко заплодировал. Плотину прорвало, все загадели, засмеялись, и тепло, которое я так ждал, волной разлилось внутри. Мы сидели допоздна, что-то обсуждали, даже пели песни из моего детства, планировали следующую встречу, всё благодаря ребёнку, который мог рассказать нам, взрослым, какое счастье хранила в себе невинность. И, выходя туда, где снег всё так же упорно создавал свою архитектуру, я не помнил о дешёвой кухне и нелепости обоев.

*Непобедимое солнце сияет,
И океан свои волны под ним
Всё катит на берег.*

Выйдя под снег, всё так же равномерно накатывавший на драные бока планеты, я потянулся за телефоном. Мне нужно было в последний раз солгать Маргоше, рассказать, что после встречи с куратором я возвращался домой, последняя ненавистная мне, неизбежная ложь. Завтра всё должно было измениться, и телефон завибрировал в ответ на эту иллюзию голосом опередившей меня жены.

– Привет. В дороге?

– Да, вышел уже, сейчас на маршрутку, если всё по плану, через полчаса дома буду.

– Тут такое дело, – Маргоша непривычно замаялась, – думала, придёшь – озвучу, но не дотерпела. Несколько дней крутилась-вертелась, тебе не хотела говорить, пока не удостоверюсь, сегодня врач подтвердил. В общем... Ребёнок у нас будет.

– Как? – растерянно уронил я руку на черноту куртки.



– Бывает, говорят. Приходи, расскажу, папа.

Я что-то говорил, обещал быть как можно скорее, проклинал себя и смеялся от счастья. На остановке, оттягивая приезд бокастой маршрутки, мой герой достал из пачки сигарету и жадно затянулся. Я вспомнил Аркадия, длиннолицего мужчину на скамейке, с цилиндром мяса в тесте, схлёстнутого с неизбежностью, вынужденного отныне выстраивать свою жизнь по-иному. «Я расскажу тебе всё, не завтра, нет, ты сильная, но кто знает, это может поломать тебя», – шептал я, выпуская дымные кольца под светом одинокой луны. Ничто не возмущало воду на поверхности колодца. Бокастая маршрутка издалека возвещала себя на заснеженной дороге, и где-то за непроницаемыми небесами сияло непобедимое солнце, и океанские волны как всегда катили под ним свои неизбежные горбы.

Идея повести, где выпрыгнут герои некоторых моих предыдущих историй, расскажут, как жили всё это время, очаровала меня, и вот она готова. Как и всегда, здесь нет географических названий, этот мир похож на наш, но всё же слегка иной, в нём есть профессия переговорщика, и герои разговаривают так, как никогда не стали бы в жизни. Впрочем, точно так же они изъясняются в любом другом написанном людьми художественном произведении.

Тексты, на которые я ссылаюсь: «Клетка», «Бабочка над городом», «Мессия», «Два вагона», «Путь пилигрима».

Все трёхстишия курсивом, собственно, «Непобедимое солнце» – аллюзии на бесконечно чтимый мной неофолк-проект Тони Уэйкфорда *Sol Invictus*, за что чуваку низжайший человеческий поклон.

Татуировка «You are being lied to» гнездится на руке Кристофера Ригга, лидера норвежской музыкальной формации *Uver*.

Рыжеволосая Ундина – отсылка к моей любимице, французской певице Милен Фармер.

Океанские волны и песочный замок на берегу – отсылка к моей повести «Замок из песка».

«И умираешь так медленно, что кажется, будто живёшь», – Бернард Бесиье, норвежец, однажды процитированный мне папой.

Про непреодолимый барьер, когда видишь то, что не видят другие, я прочитал в статье об Александре Башлачёве.

Гарик и Розик – частично истории, рассказанные мне отцом, частично происходившее со мной.

Лёд 9 – Курт Воннегут, «Колыбель для кошки».

История семейной пары – рассказ «Мораль» Стивена Кинга.

Я плохо играл – группа «Агаты Кристи».

«Снежная архитектура» – Дэвид Моррелл, «Напиваемся» и «Аленький цветочек» – я, «с горьким чувство родства» – Чайф, «драные бока» – ДДТ. Всем спасибо.

ИЛЬЯ РЕЙДЕРМАН

ПОШЛИ МНЕ САД НА СТАРОСТЬ ЛЕТ

Пошли мне сад на старость лет...

Написавшая эти строки Марина Цветаева – до старости лет – не дожила. Автор этих строк – дожил и очутился в чужом времени, уже не очень понимая, что же нынешние люди считают поэзией. Но сад – есть, сад ему на старость лет ниспослан. Живой, озвученный голосами. Можно бродить между деревьями узнавать каждое из них в лицо, слушать стихотворный шум. Сад русской поэзии. Его нужно заслужить. Зачитываться стихами, переписывать, заучивать наизусть. Начиная «жить стихом» нужно было не пытаться во что бы тот ни стало вырваться из ряда, поражая оригинальностью – дай Бог в таком ряду показаться уместным, достойным. Как богат и прекрасен Сад! Его деревья держат небо – без них оно упало бы в грозу, раздробившись на осколки. И вот я редактирую давние стихи и составляю подборку стихотворений, эпиграфами к которым взяты строки Пушкина, Фета, Цветаевой, Ахматовой, Маяковского, Мандельштама, Пастернака и странно родного Райнера Марии Рильке, – и голос мой звучит с их голосами в каком-то глубинном согласии.

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...
А.С. Пушкин

Кто мыслит – о страданиях нечто знает.
А кто страдал – тот мыслил, глядя в мрак.
Страданье дань берёт, и мужества лишает,
поднять нас вынуждая белый флаг.
Как больно мыслить и как трудно жить!
А всё же в час ночной, когда не спится,
душа взлетает, как большая птица,
и держит в нежном клюве жизни нить.
Пусть крик её отчаян и печален,
и отзовется лишь ночная тьма,
но верим, любим, новой жизни чаем...
И мысль бессонная – правдива и пряма.

Болезнь любви в душе моей...
А.С. Пушкин

Болезнь любви в душе моей...
Как неуместно, как по-детски глупо!
Она, увы, с годами всё сильней,
в своих руках сжимая сердце грубо.



Люблю – живу. Живу – пока люблю,
хоть больно мне, хоть говорю: довольно!
Ты улыбнёшься – и вздохну я вольно,
ну а бессонной ночью – потерплю,
ведя с тобой такие разговоры,
в отчаянье, почти сходя с ума.
О, господи, каким глупейшим вздором
наполнена тогда ночная тьма!
Пусть так. Ты есть. Ты спишь. Ты тихо дышишь.
Кому-то улыбаешься во сне.
И счастлив я, что ты меня не слышишь.
А слышала бы – счастлив был вдвойне.

*...А жаль того огня,
что просиял над целым мирозданьем,
и в ночь идёт, и плачет, уходя.*

Афанасий Фет

Как жаль огня, который мы зовём
любовью. Если б мы могли вдвоём
прикрыть его ладонями, всем телом,
чтоб не задуло ветром оголтелым!
Как жаль огня, который, не храня,
живём, не отличая день от дня.
Свети – чтоб нас не так страшила тьма.
Глаза, лицо, улыбка – драгоценны,
когда глядишь, почти сходя с ума,
пока сияет этот свет мгновенный,
покуда можешь видеть всё, и мгла
ещё не всё в душе заволокла.

*Что тебе на память оставить?
Тень мою? Зачем тебе тень?*

Анна Ахматова

Оставь на память руки. Ласки их.
Чтобы внезапно пробудившись ночью,
твердить их, словно позабытый стих,
вникая в паузы и междустрочья.
Его ты не запишешь на листке –
пишу его на розовой коже.
Оно на тихих птиц ночных похоже –
вспорхнуло и исчезло вдалеке.
Гляди в окно, в ночную синеву,
туда, где исчезают эти птицы.
Прикосновенье рук моих приснится.
Пусть нет меня – но я в тебе живу.



*О, если б можно было без мук
целовать, целовать, целовать...
Владимир Маяковский*

Вырывается шарик воздушный из рук,
а отпустишь – уже не поймать.
О, если б можно было без мук
целовать, целовать, целовать...
Господь, должно быть, ужасно скуп,
иль встал он не с той ноги,
если губы – у самых губ,
близки – и так далеки.
Любовь – ты шарик воздушный мой,
ты детский розовый шар,
в какую игру ты играешь со мной,
бросая то в холод, то в жар?
Неужто не вырос из этих игр,
зачем я в них снова рвусь?
Силён, как медведь я, и храбр, как тигр,
а всё чего-то боюсь...
Боюсь, что скукожится шарик мой,
возьмёт – да испустит дух.
Так в детстве мама кричит: домой!
и плакать хочется вслух.
Я вырос, а всё же – боюсь разлук.
Лети, мой шарик! Плевать...
«О, если б можно было без мук
целовать, целовать, целовать...».

*Но старость – это Рим, который
взамен турусов и колёс
не читки требует с актёра,
а полной гибели всерьёз.
Борис Пастернак*

Плати за всё свою плотью –
за каждый звук, летящий с губ,
пока ты не увяз в болоте,
при жизни превратившись в труп.
Плати за то, что дышишь вольно.
Минут рассеянно не сей.
Покуда радостно и больно –
плати за это жизнью всей!
И помни: смерть стоит на страже.
И рядом с ней – не дремлет век.
А строчка с рифмой – это кража,
минута творчества – побег.
Всё с красной начинать строки.
Такие подступили сроки.
И ты, из горла кровь, теки,
и крась собою эти строки.



*...Ещё меня любите
за то, что я умру...*

Марина Цветаева

Да, я умру – ведь всё живое хрупко.
Почти как сгусток дыма – человек.
Я впитываю всё, что есть, как губка,
гляжу, почти не прикрывая век.
Я пропустить боюсь мгновенье счастья,
сирени взмах, лик красоты земной.
Так улыбнитесь – это в вашей власти,
и полюбите этот мир – со мной.
Вписав меня в пейзаж – мой облик сверьте
и с деревом, и с облаком над ним.
Вы можете спасти меня от смерти
одной любовью – и ничем другим.

*О, до чего хочу я разыгаться,
разговориться, выговорить правду...*

Осип Мандельштам

Жить равнодушно, тихо, слепо,
неволить мысль, дышать не сметь?
Нет, разбежавшись – прыгнуть в небо,
и, правду выговорив – смерть
презреть. Пружина распрямится,
и вывихнутая душа
на место станет, удивится,
что жизнь и вправду хороша.
И ласточка, изнемогая,
вдруг упадёт к твоим ногам,
потомок. Жизнь уже – другая,
и молишься иным богам.
Но сквозь века откликнись, друг.
Что наше слово – мысли семя,
иль удаляющийся звук?
И правда тяжела, как плут,
ведущий борозду сквозь время...

*...и этот внешний мир, и дождь, и ветер,
терпение весны, вина, тревога,
как в пригоршине, всё в них соединено –
в раскрывшихся неосторожно розах.*

Райнер Мария Рильке

Всё есть во всём. Мы повторяем эти
слова – не понимая смысла их.
Кто понимает? Лишь цветы и дети.
О, как цветок раскрывшийся – затих!



Внутри цветка – всё то, что есть снаружи,
 шумят деревья иль гремит гроза,
 весенние блестят под солнцем лужи...
 А в глубине – простёрлись небеса.
 И нечто есть сверх этого. Терпенье
 и ожиданье. Робость и мечта.
 И в глубине – неслышимое пенье,
 из недр рождаемая красота.
 Как трудно красоте на свет являться!
 Из тьмы, из грязи, из глубин сырых.
 Но следует сиять и не смущаться,
 быть как бы вестью из миров иных,
 что в этом мире не вполне понятна,
 а всё же есть, а всё-таки звучит.
 О, красота, как ты невероятна!
 Когда б ты защищала, словно щит.
 Но всё прекрасное – так незащитно.
 Об этом знают девушка, цветок,
 дитя... И целый мир живёт в них скрытно,
 но всё же открывается в свой срок.

*И если я от книги подниму
 глаза и за окно уставлюсь взглядом,
 как будет близко всё, как станет рядом,
 сродни и в пору сердцу моему!*
 Райнер Мария Рильке

Что с миром нас роднит? Конечно, взгляд,
 конечно, чувство, что влечёт нас властно.
 Но разве сердце к миру непричастно,
 когда страницы книги шелестят?
 Два мира. Как их нам соединить –
 тот, что внутри и тот, что пребывает
 вовне? Над книгой слёзы лить,
 в лицо глядеть, что тайный смысл скрывает?
 Но книгу и лицо – всё тот же свет
 небесный освещает... И картина
 в окне, и сердца стук в ответ,
 и книга на коленях – всё едино...

*...и слышен ветер в Книге Бытия.
 Бог пишет эту книгу. Ты и я,
 чтобы чужим рукам её листать.*
 Райнер Мария Рильке

Как без тебя напишет Книгу Бог?
 Раздвинь же тесный круг вещей, событий,
 храни простор, не погрязая в быте,
 чтоб бесконечный смысл вместиться мог.



Сошлись заботы, окружили дни,
 крушит надежды жизни быстротечность?
 Что слишком близко – локтем отгесни,
 поверх голов гляди в живую вечность.
 Поймай оттуда долетевший ветер,
 вдохни его, и, выдыхая снова,
 произнеси осмысленное слово...
 Творец, о, как ты, вдохновенный, щедр!
 Ты не диктуешь – позволяешь нам
 творцами быть в соавторстве с Тобою.
 И жизнь отдам, чтоб сделалось судьбою
 то слово, подступившее к устам...

*Какой-то мир проник ко мне во взгляд.
 Быть может, он безлюднее луны
 Райнер Мария Рильке*

Ты, словно бы звезда, – от всех далёк.
 Колючий луч вонзается в пространство,
 но в нём – немислимое постоянство
 немого зова. Что ты видеть мог?
 Вот горизонт, вот небо, вот гора.
 А человек – лишь малая песчинка,
 зрачок царапающая. Случая игра.
 Колеблемая ветром паутинка.
 ...Когда б любовь была, когда бы страсть
 внезапно распахнула жизни двери,
 чтобы звездой с небес своих упасть,
 сгореть горячим камнем в атмосфере!
 Когда бы одиночество – как сон
 дурной растаяло! Чтоб знать, когда сгораешь,
 кем этот мир просторный населён
 и для кого живёшь и умираешь...

*Ведь чистым станет голос твой,
 когда замолкнет остальное,
 когда за шепчущей струною -
 молчанье, ставшее стеной...
 Райнер Мария Рильке*

О, вслушаться, уйдя от болтовни,
 от повседневности, что оглушает,
 в ту тишину, в которой мы одни,
 в молчанье, в котором звук мерцает.
 Где жизнь – сосуд, который не почат,
 где всё – предчувствие и предвкушенье,
 где дикторы с экранов не кричат,
 где автоматов пули не строчат,
 где уличное замерло движенье...



Где слово, как зерно, лежит в земле,
где существующее – несказанно,
где мы ещё не ведаем о зле,
где мир дарован, словно с неба манна.
Тогда мы – дерево, что шелестит листвою,
и птица, что поёт, и снег летящий.
Тогда мы голос обретаем свой
чистейший, первозданный, настоящий.

ГАЛИНА МАРКЕЛОВА

ОСОБЫЕ СОЦВЕТИЯ

Светлой памяти бабушки Екатерины

ПОКАЯННОЕ

Прости, Господь, что по дороге к храму
согбенная тяжёлыми грехами,
одна лишь тень плетётся за моей спиной,
бредёт, но тщится поскорее улизнуть.
Прости, приеми покаянье и позднее раскаяние моё
за то, что столько заповедей нарушая,
я скурвила, растлила тень свою...
Но было... было...

дорогой той же, но
далёкой раннею весною, на страсти,
в стране, где верующему человеку,
страданий кроме, нечего пасти,
такие же вот тени – с бабкой мы –
тайком по спящим улицам ползи...
Нет, не ползи,
над дремой города,
над жизнью кроны оголенной,
бездвестные парили наши тени,
соизмиря мир упёртостью своей
и удивилась я тогда и чёткости, и прямизне их,
а бабушку давно сгибает рок...
Прости, что я забыла тот урок
и горя натворила себе и тем,
кто был мне мил,
что я гордыню выбирала и самовольств вертеп,
не почитая заповедей...
Боже! Сил дай и, претерпев,
прошу, Тебя, Всемилостивый, всё же
дай время и благословение Твоё,
чтобы смогла я привести в Твой Храм,
не только стыд свой и постыдный срам,
а чад,
со светлой тишиной на лицах,
ведь Ты велел нам родом длиться.



ЛАЗАРЕВА СУББОТА

23-25 – 05 (на проповеди Владыки)

«О, Равви, Равви, брат мой там
 лежит четвёртый день... он бездыханный...
 а как любил тебя и ждал!
 нам
 не велел его касаться, до времени пока Ты сам»...
 Он деве говорит: «Веди,
 быть безутешной,
 сокрушаться не стоит, что нарушила обряд,
 но выполнила, что велел твой брат,
 пусть сплетничают и рабы, и фарисеи,
 да что им подаваться,
 неважно, что тяжёлый смрад стоит в его опочивальне,
 что выступает трупный яд на плоти немощной страдальца,
 веди скорей, дай с ним мне повидаться»...
 И Он увидел Лазаря,
 в жару и влажность месяца нисана,
 четырёхдневная, цветная побежалость
 уже покрыла, словно ствол его...
 Осанкою
 при жизни Лазарь напоминал ливанский кедр,
 а как бывал и мудр, и прост, и щедр,
 в беседах не брала усталость...
 Плоть тленная – вот, что теперь осталось...
 ...Заплакал Назарей, и, говорят, впервые:
 слёзы – две –
 мужские, человечьи две, скупые,
 но горечи и глубины вселенской
 на лике Божьем
 засветились скорби блеском...
 Как беззаветно, Лазарь, ты любил
 и верил в торжество явления Мессии,
 вот здесь и вот сейчас,
 живого,
 в Кесари...
 Народу своему ещё раз послужи, не смрадом будь,
 но доказательством стань верным,
 что Божество
 единым с вами дышит воздухом ...бесспорно,
 и ходит, и живёт меж вами,
 в жизнь вечную показывая путь.
 И Равви наклонился, что б шепнуть:
 «Вставай же и иди!»...
 И!!!
 Четырёхдневный Лазарь встал, поднялся, вышел...
 враз онемели сёстры, челядь, ученики оторопели,
 и ропот: «Чудо!
 Четырёхдневный Лазарь – жив!» – лазутчик фарисеев мерковал:
 «Суббота всё-таки...» – качали головою сановитые евреи,
 но люд, то бишь, народ,
 уже в другом понятии живёт
 и утра с вождельем ждёт,
 когда
 Их царь в столицу победителем войдёт.



ГЕФСИМАНСКИЙ САД

О сад, твой аромат был сложно зашифрован
 и месяцем нисан, и ряною луной,
 беспмятством грядущих поколений,
 и Господа кровавою слезой
 последней, третьей, нетленной,
 что Авва Отче в чаше нам дарован.
 Слеза Любви – бессмертная слеза –
 И Духа, и Отца, и Сына в человеке
 любовь и кротость – новый твой завет,
 который объявил Ты на вечере.
 Пока Ты Гефсиманский пьёшь настой
 нерасшифрованный доселе,
 где горькой нотой будущих страстей,
 не ведая того, ученики сомлели,
 Ты ж видишь, что Отец – с Тобой,
 Тебя любя, готовит на закланье,
 сейчас придут...
 ...Иуды целованье,
 бряцанье укороченных мечей,
 ах, римляне, вот в чём коварство Анны!
 Вдруг дерево он вспомнил, что его
 поблизости, как бы обняв, не отпускало,
 как ветви удивили разным строем –
 певк, кипарис и кедр ливанский – надо же такое,
 в едином ужились стволе благоуханном,
 и промелькнуло: «Триедина суть!
 Срослись все три в одно – не разомкнуть...».
 Теперь он услышал, как в тишине ночной,
 солдаты римские орудают пилой,
 и древо наполняет всю округу чуть
 жгучею основой смоляной...

ГЕФСИМАНСКИЙ САД – 2

Давай представим, что же в том саду
 благоухало, и цвело, звенело
 и складывалось в тот настой ночной,
 что Господа окутывал волной
 и губ касался, и волос, и плеч,
 и осушал Его кровавый плач
 в тот душный вечер под Иерусалимом.
 Бывают запахи несовместимы
 с Господним замыслом – той чистотой,
 которая заложена в Его творение,
 они как ложный звук в стихотворении,
 Как диссонанс клаксона поутру,
 как всё, что производная прогресса,
 как дихлофоса вкус в капусте, запах прессы,
 гостиниц звёздных душный ореол,
 что тел немало в искушение ввёл.
 Тогда их не могло быть – мы откинем
 модификации последних линий
 генетики, и кое-что попроще,
 там всякие E-337 и прочее...



Давай представим, что же в том саду
 кормило пряткую библейскую пчелу,
 что в дни цветенья буйного могло
 её внимание привлечь. Иглою
 благоуханной тонкий кипарис
 достать пытался тучу, что нависла,
 а ниже расцветал пылающий гранат,
 прославивший разрушенный Герат,
 акаций белопенная волна
 кружила головы летучим насекомым,
 а роз багрянец драгоценным комом
 на лапках шестиногих налипал,
 но думаю, ни флёр д'оранжа, ни табака,
 и ни цветущих мандарин
 в сей композиции никто не находил,
 ведь не рождён ещё моряк Фернандо
 и дон Веспуччи именем своим
 далёкий материк не окрестил.
 Что ж было там ещё? Ах, я забыла,
 что горе-сторожиха сторожила,
 да виноградник прозвала свой,
 покрытый первой, девственной росой...
 Вот только вряд ли быть могли –
 адониса целительная охра,
 фиалок нежные сиреневые крохи –
 скорей отсутствовала эллинская флора,
 но то предмет другого разговора...

2

И были там особые соцветия,
 которых имена не донеслись,
 но вот пыльца, что разбазарил ветер
 предгрозовой, осела в складках платья
 учеников, потом на погребальный плат,
 который иудейский требовал обряд,
 свидетельством, реалией распятия.
 А далее истории дороги заплелись
 на перепутье к осаждённой Палестине,
 чтоб снова вынырнуть в Турине
 обескураживающим фактом – век двадцатый
 на сгибах обрётённой плащаницы,
 нашёл таки пыльцу пшеницы,
 и кипариса, певка, кедра,
 цветов, что расцветали на границе эр,
 из Иудейских, опалённых недр...
 Давай надеяться, что двадцать первый
 поставит точку ароматом в прениях
 об истинности той реликвии Туринской,
 собрав настой такой же, как в тот час
 вдыхал Господь, страдающий за нас...
 Я думаю, найдут и тамариск,
 что вытоптали весь в час храма разрушенья
 и код под Каневом ещё не вырубленных вишен,
 любого (Павла и Петра), ввергающий в томленьё...
 С любовью, тщательно собрал
 в сад Гефсиманский красоту Всевышний.
 Ах, истина оправдывает риск!



Шумы, тайга, шуми,
 шурши палитрой страхов обугленных,
 сметай и боль, и гарь в осенний ржавый шорох...
 О! Шамань, тайга, шамань
 на тайных тропах
 в грядущее змеящихся Кремля...
 Страх – он не стерх!
 Его не переселишь...
 Он утнездится в плешах, в душах,
 кублом играючи гадючьим...
 Ты с ним уже! И с этим пребывать! Ты – узник неизвестности...
 когда?!
 Тревога плоти, перекосы мнений
 и невозможность нам предугадать...
 тогда...
 Ах! Как бы эту неизвестность перевести в прозрачный ритм числа!
 А то малейший шелест, шорох, шепот
 и
 палец, что на красной кнопке,
 уже блистает липким потом,
 но
 не о нашей будущей судьбе твой трепет в страхе,
 не о том собрались пальцы кулаком...
 Так что – шуми, тайга, шурши, шамань
 и шелестом страниц, и шорохом видений
 веди свой дух, одетый хлипкой плотью
 страдальца-воина...
 Тремти же, Кремль, гремячей краснотой...
 Шаман грядёт!
 Грядёт шаман за дьявольскою плешью!

В.О.

Сколько лет? Ворох! Десятков целых сбор!
 Обнялись...
 Вот он – знакомый рот.
 Тех же губ мотыльковое мерцание
 (бархат невинности, однако, поистёрт.)
 Силюсь вспомнить соблазнов порхающие слова,
 от которых вскружилась тогда голова,
 вертелись же роем в ритуальном танце
 ритмом касаний, пульсом лобзаний
 заводя, заморачивая, завлекая...
 Близость –
 это, как в океане купание:
 манит, и манит волнистой далью
 и ты плывёшь,
 подразумеваемая рядом плечо,
 доверяя,
 как вдруг на пути скала, на ней ёж
 да идёт игривый косяк, то же пространство обживая,
 а ты, оказывается,
 одна
 и полуживая,
 и так нестерпимо тянет на дно...



А там хороводят скаты с улыбкой мурен
 над артефактами крушений в иле надежда,
 там трясёт трезубом хмельной властитель морей
 на дискотеке безбашенных невежд,
 где тритоны – посеидоновы трубадуры –
 втереть хотят муть неземную,
 от которой атмосферы мутируют подчистую...
 Знали бы, что сердцу милее бандура
 либо косая сажень Садко...
 Со дна то под струнные перелюны
 выныривать привычнее, легко...
 А то!
 Когда волна отступает
 и рокот сворачивает отлив,
 сколько оставленных на песке русалочек замирает...
 Хорошо бы в бронзе
 и где-нибудь в Мисхоре,
 человеческое дитя прижимая...
 Или на датской набережной
 дрогнувшей у балтийского бэльма,
 сканируя скуки ради сельдей путину,
 тоскуя о бреднях сказочника
 про роль языка, про боль, когда ступаешь по тине...
 Боль любовная – универсальный клей... Дабы собрать осколки в целое,
 снова и снова
 клей и клей
 пока не обнулиться боли производная... вот тогда и сделано дело,
 тогда и взлетает облаком душа над равнодушным телом.
 Ну держись! Пока! Пока?
 И вновь волна, откат...
 до...
 окончательных дат.

О, время фотошопа да три-де!
 Куда не бросишь взгляд – обман везде!
 Реклама изошрённо врёт и брешут всем с экрана,
 чтоб подобраться к нашему карману,
 а чтобы в души по уши залезть,
 аэрозолят патоки убийственную лезть...
 Народ-освободитель? Миссию несущий?
 Глубинный обитатель или как там, бишь,
 как кличет вас верховная блистательная плешь?
 А-а! народ глубинный! Тот...
 сизифов труд забрызганный в вине
 всё тщится выкатить на светлую дорогу,
 то матерясь, то обращаясь к богу.
 А та дорога – задник в кинозале
 парткома бывшего, что влопыхах не сняли...

ПЁТР МЕЖУРИЦКИЙ

ВСЁ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ДРУГОЕ

ГЛОТОК

Ты знаешь, мне не надо приключений
ни совести нечистой заодно,
хотя и то возможно, и другое,
ведь говорят же сведущие люди,
что Бомарше кого-то отравил,
да только кто они вообще такие,
чтоб Бомарше злословить самого,
однако же, представь себе, злословят,
что, впрочем, не вредит его успеху,
а только доброй памяти о нём,
о чём я беспокоиться не должен,
но, всё-таки, порой не сплю ночами,
весь погружённый в грёзы о вселенной
от дней её начала до последних,
как будто сам её и сотворил –
смешно сказать, но всякое возможно,
по крайней мере не исключено –
и если так, тогда прошу прощенья
за всё, что было, у всего живого
и мёртвого... Разгадка мирозданья
весьма проста, как это ни печально,
но тем дороже мне поток сознания –
легчайшего безумия глоток.

ТВЕРДЬ

Из Эйлата, пароходик,
забери меня на годик –
разве плохо будет нам
поболтаться по волнам
у вселенной на виду?
Я тебя не подведу,
и какой бы ни был дождь,
ты меня не подведёшь
в зыбком море, а на суше
не спасти нам наши души.

СИКСТИНСКАЯ МАДОННА

На плоскости – иллюзия объёма,
и это посильней Закона Ома,
поскольку вечность сотворил не Ом,
что б мы с тобой ни думали о нём.



И так, на плоскости в иллюзии объёма
есть доля в том числе Закона Ома,
как доля каждого есть в Царствии Небесном
во времени Московском или местном.

Как хороши ремёсла и торговля –
они, как, прямо скажем, дому кровля,
в котором даже если будет пусто,
с ума сведут науки и искусства,

как сводит за отечества кордоном
тебя с ума Сикстинская Мадонна,
как будто был и правда город Дрезден
разрушен до последнего подъезда,

как будто здесь и в самом деле дома
на плоскости иллюзия объёма.

СОБАЧЬЯ ВЕРА

В музее с первенцем Мадонна,
а здесь, где улицы межа,
бомжа собака не бездомна,
чего не скажешь про бомжа.

Овеществлённая химера,
ложь безнадежная вполне,
блюдет себя собачья вера
и душу разрывает мне.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Я снова наношу визит
туда, где будто золотая,
луна по-над душой висит,
и этого вполне хватает

душе на несколько часов,
пока закрыты на засов
ворота города, чтоб ад
не взял с наскока Божий град.

Здесь веет холодом от звёзд,
чей свет дословно рассекречен,
чего не догоняет мозг,
по крайней мере, человеческий,

здесь обретёт любая блажь
черты к реальности поближе,
чего и ждёт ночной пейзаж,
так о несбыточном моли же,

хоть как последний подхалим:
Рок всё равно неумолим.

АНТАРКТИДА

Поверьте мне, прекрасные поклонницы –
 бессмертные мучительней бессонницы,
 хотя на свете существует схи́ма,
 не потому что жизнь невыносима,
 и, как мы с вами знаем, без балды
 уходят континенты подо льды,
 и впрямь попав с концами в переплёт –
 но что есть эфемернее, чем лёд?

ЭЛЬДОРАДО

Когда мороз под пятьдесят,
 становится безвредным яд,
 то, что болело, обезболено,
 и абсолютно всё дозволено
 на нескончаемом пиру,
 где первозданность не поблекла,
 а нам всю жизнь влачить в жару
 и лишь с ума сходить от пекла.

ПАМЯТИ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В транс впадёшь, потом из транса
 выйдешь на ура –
 кто питается пространством?
 Чёрная дыра.

Млечный путь – причин и следствий
 роковой портал –
 в Библии об этом в детстве,
 кто же не читал?

Набивали, помню, шишки,
 проявляя прыть –
 были и другие книжки,
 как же им не быть.

ОТКРОВЕНИЕ

Бывает, музыка приснится
 такая, что всему царица,
 поверь – как минимум, княжна –
 спроси, кому она нужна?

Во-первых, почему-то мне,
 раз слышал я её во сне,
 а не без сновидений дрых –
 и всему свету, во-вторых,

поскольку я уже не тот,
 хотя не различаю нот.



ПЯТАЯ ЛЮБОВЬ

И в пятом классе, и в шестом
я прыгал в высоту с шестом,
шест был в ту пору металлический,
и я, как идлот эпический,
с дурным предчувствием в затылке
с трёх метров падал на опилки,
а сверху добивала планка,
но всё же, будто из-под танка,
я выбирался, как ни странно –
и это видела Марьяна.

Дешёвое и дорогое –
всё превращается в другое
чуть раньше или много позже,
лишь кто ушёл от нас, всё тот же,

и я внимаю миражу,
и сам, бывает, ухожу.

Конечно же, падок на имя я,
как духом субъект несвободный:
«Серебряный век» – что за химия?
Скажи еще: «Углеродный».

На то и считаю потери я,
что с каждою явленной новью,
к душе прикипает материя,
порой называясь любовью.

ЕФИМ ЯРОШЕВСКИЙ

От редакции: в марте нынешнего, 2020 года, исполнилось 85-лет удивительному человеку, поэту и прозаику, автору культового в одесском самиздате 1970-80-х гг. «Провинциальный роман-са» Ефиму Ярошевскому. Редакция журнала «Южное Сияние» и руководство Южнорусского Союза Писателей искренне поздравляет Ефима Яковлевича и желает долгих лет жизни и творчества. А поскольку в Одессе в марте была издана новая книга Ефима Яковлевича «Эхо романа», мы представляем вашему вниманию фрагменты из неё.

ЭХО РОМАНА фрагменты из книги

*посвящается...
Тане –
и друзьям моей юности
(и свежести)...!*

РЕТРО

Мы собирались часто... Гасла осень,
опутывали сумерки дороги,
пустели парки. Падала листва.
Дожди шумели по ночам, и долго
роптали ветви и стучали капли...

Мы собирались дома. Без камина.
В печи лопилось в щели сквозь дрова
и голову высывало пламя.
Мы все мечтали о побеге... Смутно
за окнами мерещился вечерний
и мокрый город. Было полночь. Каждый
с расширенными ясными глазами
с восторгом говорил о том, что можно
перемахнуть границу и уехать...
Увидеть страны, нахлебаться ветра,
дорожной скуки, запаха мазута
и дорогих духов каких-то женщин.

Гудела печь... мы говорили вместе,
перебивая, торопя друг друга, –
и сладостно вдыхали свежий запах
земли, осенних листьев и тумана...
Мы забывались. За столом убогим
рождались ослепительные мысли.
Мы грезили... курили и молчали.
(А ночь была сырой и непроглядной).
Мы обретали сладостное чувство
жить на земле, творить и быть свободным...



Дождь утихал. Мы расходились поздно,
как заговорщики в ночи. И каждый
прислушивался долго и тревожно,
как затихали гулкие шаги
товарища. Мы были одиноки
и счастливы... В порту спросонок выли
охрипшие сирены пароходов.
Накинув капюшон, ходил вдоль ночи
дежурный постовой. Холодный ветер
по мокрым рельсам убегал к вокзалу.
...Ночь пеленала в осторожном ливне
усталый, успокоившийся город...

.....

Кариатиды зябли на ветру,
впиваясь в мрак незрячими глазами,
и море, как медведь в своей берлоге,
ворочалось – и не могло уснуть....

Одесса, 1963

ИТАК, Я ПОКАЗЫВАЮ...

Пришёл как-то в Одессе к Мишелью. Мы часто приходили тогда друг к другу «за прекрасным», – как любил говорить Шурочка Рихтер.

– Ну, что? Как говорят венерологи, показывайте?..

Я безвольно отдал ему свою маленькую тетрадку, где косым неверным почерком видна сосредоточенная погоня за поступками (и запахом) одного моего знакомого. Потом буквы выравняются, виден чистый почерк голодной гончей, влажным носом напавшей на след...

Несколько судорожных метаний, заминок, клякс, сомнений... Какой-то дефективный рисунок, неуверенная вязь, зачеркивания, чернильный разврат...

Несколько пробных (и ложных) бросков в сторону, маленькая паника в уголке листа – и след взят! Идёт железная диагональная клинопись, аккуратно огибающая шизофренические видения, рожицы, женские ягодицы, чёртиков, томные профили незнакомец из девятнадцатого века, идёт текст, которого не может разобрать никто (и не надо). Там какой-то экспрессон, абракадабра, изошрённый мат даровитого художника, жалобы, любовный бред, пейзажи... Какая-то смесь – догадки, фразы, прозрения... Идёт то, чему хорошо бы стать чистым золотом прелестной прозы (без ложной скромности говоря).

– Пренебрежём текстиком, посмотрим рисунки. А-любопытно... – сказал Мишель. – Ну-ка, ну-ка... Забавно. Сознательное подсознание, продуманный бред, да? Рисовальная неврастения. Мазохизм. Нет? Судорожная разрядка психастеника. Небрежная точность. Проницательность сумасшедшего. Что-то в этом роде. Я прав? Впрочем, я сам такой. Но это любопытно... На удивление. Я не ожидал. После этого мне уже не стыдно показывать свои. А? Нет? Ну ладно. Посмотрим дальше. Ты смотри, здесь что-то сексуальное... Несомненно. Что-то фаллическое.

Я даю ему высказаться, потом мы молча смотрим. Мишель иступлённо курит, сопит, нижняя губка его влажнеет. Он толкает меня коленкой, изучает этот рисовальный мазохизм, что-то находит там. Наконец я тоже начинаю видеть... Мы смотрим.

...Задумчивая Лорелея, освежёванная туша женской плоти, скорбное лицо Бонапарта (император почему-то в очках). Хрущик в Пикушах, пьющий чай на скамеечке. Недорисованная лошадь. Безрукий младенец, дурачок, глядящий в поле, снова заштрихованный Хрущик под женским бедром, заплаканный Пушкин, Викуша с цыганской серьгой в ушке, чей-то изуродованный профиль, надменный офицерик в эполетах и при шпиге. Якобы гипсовый якобы слепок якобы старичка... Дальше безумная страница с ихтиозавром, несущим в детских ручках цветок, раскоряченная задница, спряжение английских глаголов «to be» и «to have», Дионисий с крестом, горшочек дымящегося дерьма, девочка на качелях, Шурик, жующий первой звезды...

...

...А там уже идёт Гирш под зонтиком, в слепых очках, в пиджачке джерси и стоптанных туфлях на босу ногу. Дождик в косую линейку из облачка, Мишель с эль-грековским ликом, мой однозубый друг Павел с истерзанным взглядом, диковатый автопортрет (старик Кюхельбекер?). Потом снова женская



плоть с могучим животом и дремучим пахом, Токман, висящий над пропастью, чуть ли не во ржи, пухлый младенец с безбровыми глазами Матусевича, Юрочка Новиков задумчиво мочится на цветок... Затем идёт пантагрюэлевская задница Гуревича, неизвестный, дефективно ковыряющий в носу (наверно, это я), знакомый профилёк лиценста, неразборчивая скоропись, домик в поле, свеча на столе, завитки бакенбард... И дуэльный пистолетик со слабым дымком из дула. «А в пистолете опустелом остался дым его забав...».

– Занятно. Правда?

– Чесотка века. И в этом всё дело. Ты расчесал мои эрогенные зоны. Теперь как честный человек ты просто обязан...

– Жениться!?

– Нет, показать остальное!

– Дальше уже не интересно...

– Ну, не мучай меня, покажи дальше!

...

И я показываю.

НА ПУШКИНСКОЙ ДОЖДЬ

А на Пушкинской дождь. Дождь. После концерта Юрского. Уже в фойе слышно, как он шумит. Ощущение свежего, почти летнего ливня, которого заждались.

Шорох, шум, плеск воды, сбегавшей с гранитных цоколей, запах морской пыли, одуревшей от ливня листвы был уже тут, в театре.

И как все торопливо одевались, чтоб увидеть, чтоб уже поскорее... Туда, в грозовой запах озона, на улицу! В молнию, которая криво пролетала над Пушкинской, зажигала мокрые крыши, к бульвару, где уже горела от ливня листва и пучилось сизое море...

Дождь, смывающий золотую тёмную пыль с деревьев и лиц прохожих. (Лёгкие трепчинки пошли по балконам. Там жадно пьют воду вечерние фиолетовые цветы).

Мы вышли. Дождь припустил сильнее. В сумерках вечерней воды зажглись фонари... Вода моет изгибающиеся уже полвека тела деревьев. Тела животных. Платаны на Пушкинской. Мокрые антилопы с доверчивыми шеями. Свист проносящегося троллейбуса, тлеющие под дождём провода. Падение грома, где-то там за углом, в ближайшем дворе. Блестит мостовая, реет, как нимб над городом, рекламная пыль, проносятся, как жуки, длинные чёрные автомобили, и снова дождь моет плиты на Пушкинской, а счастья нет...

Моет дождь улыбающиеся, почти безумные лица кариатид, блаженные рожи античных богинь, девственников, дурочек... Счастья нет. Нет счастья... Где оно? Я не знаю. пустынный сквер великолепен, набух деревом скамеек, железом оград. Дождевым порошком, кисло-сладкой мочой несёт из дворового туалета, ржавым металлом и погившей краской пахнут ворота, в старых водопроводных трубах шумит вода.

В ПАРАДНОЙ, НА УЛИЦЕ ПАСТЕРА...

В парадной на улице Пастера во втором пролёте тихо, тепло. Уютно сопит электрическая лампочка под цветным куполом, затканным бессмертной паутиной. Изящный витражик узкого средневекового окна. Терпеливый мрамор, густо исписанный за последние полтора века. Последние чистые уголки, не загаженные ещё прыщавой шпателью и пэтэушниками, не заплёванные кровавыми окурками из нечистых ртов. Не подпорченные ядовитой кошачьей мочой и человеческой блевотинкой.

Тут можно отдохнуть, переждать дождь, непогоду, выкурить заветную сигаретку, почитать книжку, поцеловаться... (Я открыл этот уголок лет семнадцать назад. Давненько же тут не был...)

На табличках – старые благородные фамилии: Михельсон, Дворецкий, Канцлер, Кутузов, Рубинштейн. Был даже Хаим Смоленский, адвокат. Старые русские интеллигенты (из евреев) обитали тут... Где-то здесь жил известный доктор Левинзон. Исключительный педиатр и диагност. Зубной врач Марменштейн (мосты, коронки, протезы). Д-р Зоя Альфонсовна Шейн (морфинизм, заикание, пьянство, половые расстройства, ишиас).

Но это было давно. Теперь тут тихо, паутина и не то. Жильцы жэка № 617/14, а не гинекологи, ювелиры и протезисты с частной зубной практикой (на дому).

Зато тут можно высунуться из разбитого слухового окошка, уронить на голову дворника старое ведро, плюнуть в сырую одесскую ночь...



ЧИСТЫЕ ВОДЫ ЛЮСТДОРФА

Заливаемые ночной и вечерней водой древних одесских водопроводов, медленно погибают в переулке Вице-адмирала Жукова напрягшиеся из последних античных сил могучие старые атланты. «Вы чьё, старичьё?» – хочется спросить их. Но так спрашивать стыдно. Пока этот жилистый старик с измученным лицом микеланджеловского Моисея держит балкон и небо над нами, можно ещё жить. (Так хочется думать). Но атлант устал. И небо может повести себя странно...

И тогда я понял, что жить здесь больше нельзя. Хотя очень хочется.

Остов гнилой, разлагающейся рыбы – библейское чрево кита – огромный издыхающий город, изъеденный проказой, моллюсками и мелкой рыбёшкой. Висящие на честном слове чердаки и гнилые балконы. Море несло на себе пустые останки – ореховую скорлупу разбитых планет... И в раковинах – эхо недавней катастрофы. Шум достиг моего внутреннего уха. Осень – и печаль в криках чаек, поворачивающих ось своего полёта на юг... Плавают пустые черепа и пароходы, наполненные водой, – водоросли буйно цветут на палубах и крышах... Здесь был потоп. Звёздный цирк дал своё прощальное ревию – роскошное осеннее представление. Кровавое око маяка уже не мигало. Застыло сигналом бедствия... Кто бродил пустыми берегами? Никого. Пусто... Всё. Конец порто-франко. Красивый был город (говорят). Кто? Хотел бы я знать.

Сентябрьское солнце золотит покинутые дачи. Догорает виноград на мёртвых ветках. Двери колотятся на ветру.

Лунный шар поднимался вверх, стремительно набирал высоту, синев и сжимаясь... Прощайте, улетающие к луне! Город вымер. Лежит пуст и прекрасен. Ты этого хотел?.. Чистые воды Люстдорфа с головой покрывали дачные домики – они захлебнулись горькой и тёплой водой Эвксинского Понта... Под водой буйно росли огороды; опрокинутые в прошлом году, запутавшиеся в проводах трамваи лежали на боку...

Ветер нёс афиши и мусор. Птицы изумлённо ходили длинными ногами по огороду, не понимая, что же произошло. Могучие первичные воды девона сомкнулись над погибшим городом... А когда пригревало солнце, в отложенных в золотом известняке скал яйцах ихтиозавра зачиналась новая жизнь. О, горькое счастье свободы!

Люди ушли, исчезли, но они не умерли – они только уснули. Они решили переждать катастрофу и смутное время. Потом они проснутся, и весёлыми толпами придут на чистую, промытую ливнями землю, и начнут жизнь, радостную и другую... Так хочу я думать.

СПЛОШНОЙ ТУМАН

«Я вышел рано, до звезды...»

А. С. Пушкин

...Сегодня такой туман подползал к городу, сплошной, первобытный... Из тумана торчала ветка, угол дома, кусок отмороженного белья – гипс, камень – окаменевшая тряпка, листок... На балконе третьего этажа висел не шелухнувшийся бледный месяц. Он почти умер. До весны ему не оттаять...

Туман рос, подымался, он напознал, обволакивал, лепился. Ночью он замерз и остановился. Скрепил пространство. Окаменел совершенно... Утром я не мог открыть форточку. Туман зелёной глыбой льда торчал в стеклах окна – в трещинах и кристаллах я видел замороженное, заколованное холодом лицо утра. Снег, ворота, двор, хворост, куски улицы. Ни скрипа, ни ветра. Только ревун ревет... Наспех одеваюсь, выхожу. Тьма, в двух шагах – ничего...

На троллейбусной остановке пусто, как в Антарктиде... Как же люди пойдут на работу? Хотел бы я знать. Успокойся: они не пойдут. Как? Так. Не пойдут – и всё. Двери не открываются. Следующей станции не будет. Какие-то блокадные трамваи, пустые, холодные. Их занесло снегопадом.

...Никто уже никуда не идёт. В гигантском обморочном холоде медленно, как дирижабль, погибал город... Хотя все утренние кафе почему-то работали. Кофе был приготовлен. И это вселяло надежду...

ОСТАНКИ РЫБНОГО БАЗАРА

Кто, кроме меня, опишет и взрежет ножом пожухлую рыбу заката над пустым азиатским базаром, где золотой мусор, дыни, хурма, и ветер-подметальщик сносит последних одиноких продавцов – одноглазого седобородого мусульманина, творящего намаз над вечерним товаром под первой звездой, и девочку с двумя кучками инжира на земле? Краски над площадью легчайшие, акварельные, и лиловый рисунок рериховских гор (под Самаркандом?) – гортанный рёв трубы или осла... Тоскливый пыльный вечер в Намангане – под пение джурбаев и клёкот арыков, холодных, мутных, ледяных, освежающих сомлевший от жары город, где кружится голова в переулках от запаха роз...



О, останки рыбного базара!.. Девчушка-узбечка, улетающая косичками в горы, и смуглые коленки бьются в беге, налитые воздухом густым, вечерним... О, быстрая азиатская кровь, ударяющая в щёки девушкам Узбекистана!

Узловатые старики-узбеки, в кривых ичигах и тёмных халатах восседающие за чаем в чайхане, смотрят на меня древним восточным взглядом: я для них случайная косточка России, росточек, который сюда закинула эвакуация и война, – маленький, испуганный беженец-иудей, а кругом Восток... Но другой. Не Средний, не Ближний, не Дальний...

СОРОК ПАПИНЫХ КАЛЬСОН

Толик мне рассказывал:

– Дома я замесил бельё. Как тесто. И дал ему взойти. Когда в миске набралось штук сорок папиных кальсон, я успокоился. Я себе решил: пусть отмокают. И отправился в библиотеку со столярным клеем. Там я часа два клеил книги одна к другой. Это мой отдых и одновременно рацион. Потом пришлось вернуться. И снова замочить уже замоченное бельё (чтоб оно уже совсем замочилось...). И сварить рисовую кашу со всеми кухонными принадлежностями. Затем я смолот мясо – всё, что было в доме. И напшёпал штук двадцать котлет для родителей. И уже потом к нам пришёл этот депутат из райсобеса, чтобы рассказать, как быть тому, у кого плохо с квартирой... В частности, нам он рассказал много полезного. И мой папа сразу начал жаловаться (ты же знаешь моего папу?). Например, он тут же рассказал про форточку, которую трудно закрывать в эти холодные зимние дни... Потом нам обещали. Нам обещали квартиру – в текущем квартале будущего года или в последнем – текущего, с отдельным санузлом (для общих нужд).

– Так это же неплохо... Это же неплохо, Толя!

– А я не говорю, что плохо. Главное, что мы пожаловались. Теперь у отца легче на душе. Но предстоит ещё много забот... Фима, ты заметил – весь день на улице был туман. В такой туман одни стихи на ум идут, правда? Про дождливый туман какого-то города, где должен жить Павлов с вязанкой своих рукописей. Как будто это пожитки его дров... В этом городе он наконец закончит свои рассказы. Но такого города нигде нет...

– Послушай, Толя, вот ты пишешь: «левосторонней музыкой плеврита»... Как это понять?

– Очень просто. Это как правосторонний костный перелом луча спины ключицы. Или перегиб предплечья «локтем кости онемелой». Я уверен, что ты меня почти понял. Потом идут стихи. Стихи хорошие:

*Я уже большой, как видно,
я иду пешком по крышам,
я иду на перест ночью,
глухо кашляя в кашне.*

*И за мной плетётся ветер,
кровожадный провожатый,
языком глухонемецким
заразив родную речь.*

Вот теперь всё встало на свои места.

НАД МОЛДАВАНКОЙ НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ

... На балконе шумит дождь.

Там ночь. Древняя ночь, похеренная культурой. В тропических ливнях зреют папоротники. Мокрая тьма, в которой набирают влагу нездешние растения. Треск молний над дикой, но плодородной планетой.

Уснул дядя Моня, спит дворник Степан. Спит без сновидений. Дышит алкогольным смрадом, дёргает во сне деревянной ногой... Уснул безумный Наум, спит тётя Геня, снится ей (почему-то) Испания, Израиль, дядя Монус в чалме, слепой продавец примусных иголок, обливающийся потом, гнилой и сладкий Привоз, дочь, выходящая замуж за араба...

Спят жители и соседи, квартирисьёмщики и жильцы... Уносится вприпрыжку ночным богомолем, хромающим кузнечиком чужого несчастья ночной гость по мокрым крышам и исчезает в крошечной тьме, в тёплой одуре дождя...

Шумит, шумит над Молдаванкой первозданный ливень... Я подставляю под дождик свою бедную сумасшедшую голову, остужаю её – и тоже иду спать. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи...



*...Пока губами сквозь туман
ещё деревья всхлипывают,
пока ещё идёт роман,
пока перо поскрипывает...*

*Пока свежи на строчках швы,
и смысл ещё не выскользнул –
застать бы мир ещё живым,
ещё сырым,
невывказанным!*

ОТКРЫТИЕ?

– Представь себе: сновидческая цивилизация... Люди будущего. Или люди прошлого. Люди параллельной нам цивилизации (скажем так)... Они жили в своих сновидениях и были счастливы. Они стали запущенными. Ремёсла у них угасли, они опустили промышленно, пали, так сказать, материально.

Зато дух их сиял высоко. Они во всём видели глубину жизни, красоту духа и не заботились о внешнем. Тут они сильно уступили грекам. Но... они были счастливы и грезили наяву. Они крепко спали и так растлили силу своей жизни...

Что же приходило в упадок, чем они жертвовали? Очевидно, эстетикой. Хотя чувства их были изощрены. Им не нужна была пресловутая сила воли – они жили по законам своих сновидений и добивались таким образом до фантастических глубин. И всё же... они что-то очень важное теряли. Они теряли дисциплину. А с ней и саму жизнь. Пробуждение было их смертью... Они, когда умирали, вдруг просыпались. И часто на самом интересном месте. Совсем как у Льва Николаевича, совсем как об этом писал Лев Николаевич Толстой. Следовательно, разницы между жизнью и смертью у них не было. И в этом вся штука.

Любопытно, правда? «Жизнь – вечность, смерть – лишь миг». Лермонтов, как ты сам понимаешь. Ну а если наоборот? Подумай. Страшное дело. А ты говоришь...

– Я пока ещё ничего не говорю.

Я ПРОСЫПАЮСЬ В СЛЕЗАХ

Что же мне снилось (всё-таки)? Паневежис или Одесса? Что-то среднее. Как это часто бывает там, во сне... В ярких тканях, горячих южных цветах – девочки, девицы, юноши – Одесса, лето, Сеня, Лёня, Соня, «их девушки» – «их нравы»...

Далее: ночь, Аркадия, смуглые тела, почти обнажённые груди, золотая пыль припудрила грудные железы начинающих Кабирий – смех, звёзды, солёный запах ещё теплого моря, песок, сигаретки – они всё куда-то дружно идут, свободно, вальяжно, раскованно...

Что там было дальше?.. Они как бы шли к морю и на ходу ели, просто пожирали, обливаясь густым нечистым соком, мороженое... И одна, совершенно безумной красоты девица, с глухим, но одухотворённым лицом, ликом, – вообще непонятно, откуда она, – шла, плыла боком, и я не мог понять (во сне), почему она не идёт ко мне... И тут в нише – как статуя – видение: братец её, античный юноша в роскошной тунике до колен, обшит золотом, – стоит и ждёт, не шевелясь, красавец, смуглый, курчавый; их влечёт друг к другу, и я ничего не могу поделать во сне, я пытаюсь крикнуть – и вдруг понимаю, что она не может увидеть меня, – у каждого из нас свое сновидение, и проснуться невозможно... Я просыпаюсь в слезах оттого, что это могло быть моей жизнью, но не стало... Но всё это было. В той моей жизни. В которую я не вернусь никогда...

ВЕРА ЗУБАРЕВА

ЛОЦМАН НА ТРУБЕ

роман-память
окончание

Часть IV. СОЛЁНОЕ МОРЕ ЖИЗНИ

ЯД ПРОШЛОГО

Мешки с ядохимикатами захоронили в 15 км от Одессы у села Алтестово.

Море бредило. Из него извергалась пена, как у больного во время эпилептического приступа. Рыба всё настойчивее пахла химикатами. На Привозе хозяйки принюхивались к пеленгасу и недовольно откладывали в сторону. Похоже, захоронения у Алтестово подмывались водами, и всё, во имя чего поднимали «Моздок», от чего желали избавиться, стало медленно возвращаться в море. Позже выяснилось, что некоторые контейнеры просто зарывали в карьеры и засыпали глиной.

Вот оно, прошлое. Всегда идёт по пятам, всегда находит лазейку, чтобы просочиться в настоящее и оставить в нём свой ядовитый след. Ничего невозможно начать с чистого листа, ничего. Виктор сокрушённо покачал головой, глядя, как куски серой пены облипали его лоцманский катер. И как же быть с этим грузом? Как нести его? Как очиститься от его губительного воздействия? Как отправить в музей памяти, чтобы только изредка посещать его уголки? Вопросов много, а ответа ни одного...

Город болел, и с ним болела душа одессита. Виктору вспоминались те безоблачные, наивные дни юности, когда мир предстал в ореоле света, и гордость за страну ещё не была омрачена знанием. Гордость осталась – за людей, чей талант держал на плаву великую державу, но к гордости уже примешалась горечь зрелых лет.

Мир берега оказался лабиринтом с минотавром, о котором Виктор не подозревал в своём трудном штормовом далеке. Скольких же поглотил этот минотавр и скольких продолжает поглощать! Ещё несколько десятилетий тому назад записал он в своём дневнике 9-го марта 1953-го г.: «Не верится, не хочется верить... Умер Иосиф Виссарионович Сталин. Умер человек, который останется бессмертным, именем которого названа целая эпоха в истории человечества, гений которого вывел страну из тупика отсталости и разрухи, прекратил её в мощную, передовую во всех отношениях державу, разгромил наиболее сильного и коварного врага и победно вёл страну к новым высотам человеческого счастья».

Так он думал тогда вместе с сотнями, нет, тысячами таких же, как он, среди которых были и репрессированные, и вдовы, и ссыльные... Ирония в том, что многое в той записи оказалось сущей правдой: и эпоха вошла в историю под этим именем, и враг был побеждён, и с разрухой послевоенной справились. Только всё это уже предстало с обратным знаком. Господи, спаси эту землю от поработителей и освободителей!

Стали быстрее опадать листья, дольше кружили ветра вокруг дома, гудели в трубах на разные голоса, тревожили остывшую золу прошлого. По ночам – только отдалённые завывания в дымоходе, будто дремучий лес пытался проникнуть в дом. А в доме никого. Стоит холодный и нежилой, как избушка на курьих ножках, и только сквозняки ставнями хлопают. Избушка, избушка, стань ко мне передом... Это кто же говорит? Да это ты же и говоришь.

В начале марта Виктор подхватил воспаление лёгких и слёт.

Шли слухи, что в стране готовится перестройка. Перестройка... Это слово, как волшебное заклинание, было на устах у всех, даже иностранцев, которые произносили его на ломанном русском, обнажая, тем самым, его искусственность и смехотворность. Что же перестраивать, думал Виктор, наблюдая за всем этим балаганом, мозги что ли? Никто ни во что уже давно не верил – ни в коммунизм, ни в Бога,



ни в свободный рынок. Всё обесценилось. Можно ли из планетария на Чижикова вновь отстроить церковь? Может, и можно, только ментальность так быстро не перестроишь.

Открыли границы, и вагоны спешно набивались последними из мигрантов, увозя цвет города за моря-океаны. А страна бурлила, кричала, телевизионные каналы выплёскивали всё, что попадало в их репортёрскую лоханку. Жонглировали словами, фактами, историей. Огромная держава напоминала арену с бродячими циркачами, которые, того и глядя, сядут в свои кибитки после представления и укатят прочь, оставив на память следы от шатров да мусор.

Серые улицы, серые люди, эшелоны, эшелоны. Захворал город, потерял свой былой артистизм, свою внутреннюю яркость и вызов. Пропала та весёлая общность, которая называлась «одессит». Некогда остроумная вовлечённость людей в жизнь города сменилась всеобщим отстранением и равнодушием. Редко когда можно было услышать экспромтом рождённую шутку, как это бывало в старые добрые времена, когда прохожие непринуждённо перекидывались парой острот, как шекспировские герои, фехтующие на площадях и аплодирующие друг другу.

Город отяжелел, понурился.

Наступала эпоха какого-то великого разделения. Казалось, горожане были окружены невидимыми капсулами, чтобы не соприкоснуться друг с другом. Разделяй и властвуй... Разделить разделили. Кто теперь придёт властвовать?

Очереди. Шеренги тянутся до ОВИРА, до вокзала, до Москвы, до океана. Расступись, море... А как оно расступится? Моисей-то нет.

Кто-то в прессе называл это новым исходом, только Исход – это священное движение. А тут... Нет, Виктор не осуждал отъезжавших, он сам с лихвой хватил в этой жизни и трезво смотрел на происходящее. Горечь его была связана с пониманием того, что всё это скоро обернётся плачевно для страны и для города.

СПРАВКА ДЛЯ АУШВИЦА

Узкая маленькая комнатка в доме общежитского типа. Никого, кроме телефона, который иногда доносит дорогой голос дочери из-за моря-океана. Вот уже несколько месяцев, как Любушка покинула страну вместе с мужем и сынишкой. Да, вот так.

Никогда не забудет он, как в последний раз пришёл в уже разобранную Любушкину квартиру. На полу – чемоданы, ящики. Внучок спит прямо в одежде на каких-то тюках в соседней комнате. Все вышли на дорожку, закусили остатками из холодильника, ждут автобуса. А Любушка посмотрела на окна без занавесок и разрыдалась прямо у него на груди, как маленькая.

– Не плачь, не плачь, детёныш, – приговаривал он срывающимся голосом, а она вцепилась в него, как тогда, много лет назад, когда он в море хотел её окунуть... Море жизни тоже солёное...

В два ночи подъехал автобус, там уже Ляля сидела со своим новым мужем и ещё несколько незнакомых семей.

Ну, вот и всё, вот и сказке конец, а кто слушал молодец.

Стали выносить чемоданы. Мишеньку кое-как растормошили, он заплакал:

– Не хочу никуда уезжать! Хочу быть с дедом!

До этого момента все ещё как-то держались.

Автобус нетерпеливо брызжал включенным двигателем – поторапливайтесь, мол, неча тут бензин зря жечь.

– Я буду писать, каждую минуту, каждую секунду, прямо из автобуса – обо всём, обо всём! – поспешно бормотала Любушка, словно цепляясь словами за родные углы.

Промельк войны на мрачающем горизонте. Вот и снова писем ждуть, в ящик заглядывать.

– Прощай...

Последние объятия, а потом ночь-пильотина отрезает их друг от друга...

Семья Димы давно уже собиралась покинуть страну.

Каждый год его бабушка ездила к братьям в Штаты и только ждала момента, когда откроют границу, чтобы воссоединиться с ними. Братьев было двое, и покинули они бывшую родину тоже вместе. Поначалу насильственно, а потом – по собственной воле.

Дело было во время румыно-германской оккупации в Одессе. Румыны лютовали хуже немцев и в городе, и в области. Сразу после оккупации в артиллерийские склады на Люстдорфской дороге днём

17 октября 1941 года пригнали четыре партии одесситов по 2500-3000 каждая. Их загнали в помещения, как скот, заперли двери снаружи, разобрали крышу, облили сверху бензином и подожгли. 11 тысяч женщин, стариков и детей стонали в огне. Но это было только начало. 44 тысячи человек, согнанных в лагерь при совхозе Богдановка, были расстреляны, а те, кто отказался выходить на расстрел, были сожжены заживо в свинарниках.

Элик, брат Иды Львовны, Диминой бабушки, не отказался выйти на расстрел. По крайней мере, умереть от пули было не так мучительно. Вместе с другими стоял он на краю обрыва, не зная, о чём же следует думать в такую минуту. Единственное, что крутилось в мозгу, была молитва. Она отгоняла все прочие мысли, воспоминания, прощальные слова, которые хотелось бы мысленно сказать матери. *Шма Исраэль, Адонай Элохэйну, Адонай Эхад...*

Он стоял на обрыве один. Все остальные были уже убиты и сорвались вниз с обрыва. Тогда прицелились во второй раз – мишень лёгкая, ошибку исправить – плёвое дело. Ряд дул возбуждённо подрагивал в ожидании команды. *Шма Исраэль...*

Он по-прежнему стоял на краю обрыва.

После того, как по Элику пальнули в третий раз, снова безрезультатно, вызвали коменданта.

Комендант приблизился к юноше и взглянул на него. Что-то знакомое было в этих иудейских чертах и даже очень. Перед мысленным взором коменданта проплыла икона, которую он часто разглядывал в церкви, будучи ребёнком. «Скоропослушница» с Христом на коленях... Он думал тогда, что у Христа не было детства, раз он так взросло выглядел, что с таким не поиграешь, не искупаешься в реке, не пошалишь. И он прижимался к матери и смотрел, и смотрел на мальчика, знающего с первой минуты всё, что ему предстоит, и взгляд продолговато-печальных глаз Христа ещё долго провожал его, пока он возвращался из храма.

И вот теперь тот же взгляд осенял измученное лицо Элика, проступал сквозь него, вопрошал...

Комендант дал отбой, молча отвёл Элика к себе, вытащил лист бумаги из ящика и выписал справку о том, что этот парень святой и его нельзя пускать в расход. Затем поставил печать и подпись и отправил святого в Аушвиц. Там Элик чудесным образом встретился с младшим братом Борей, который видел, как Элика вели на расстрел, но о дальнейшем не знал.

В Аушвиц пленных привозили под предлогом участия в сельскохозяйственных работах. Всех немощных, а также молодых женщин и детей, сразу же отправляли на уничтожение в специально оборудованные подвалы. Пять подвалов вместимостью 2000-3000 человек каждый герметически закупоривали, из них выкачивали воздух, а потом бросали газовые бомбы в специальное отверстие в потолке. После этого жертвы сжигались.

Как ни ужасна была мысль о подобной кончине, жить было ещё страшнее, учитывая, что своей смертью здесь редко кто умирал. Заболевших подвергали адским мукам, впрыскивали карболовую кислоту в сердце, расстреливали, ставили на них опыты. Элик выхаживал ослабевших, как мог, пряча от лютой смерти и давая умирающим возможность уйти из мира с молитвой. При этом каждый знал, что его тело сожгут – вопреки и в насмешку над иудейской традицией, над тем, что заповедал Бог.

Последнее испытание было накануне прихода советских войск, брошенных на освобождение Аушвица.

Немцы поспешно расстреливали пленных, покидая лагерь. Около семисот трупов было обнаружено в момент захвата территории концлагеря.

Элик с братом успели заскочить в туалет и спрыгнуть в дырку. Они стояли там по уши в хлипкой вонючей жиже с червями, слушая выстрелы и крики о пощаде, и укрытие казалось им садом эдемским.

Наконец, подоспели советские солдаты. Оставшимся в живых оказали помощь и стали готовить к отправке на родину. Но Элик решил по-другому. Вместе с братом, он пошёл в бельгийское посольство и попросил убежища.

В Бельгии жизнь братьев сложилась бесппроблемно. Младший женился на американке и вскоре все переехали в Штаты. Элик до конца дней прожил одиноко и тихо умер, после очередного визита своей одесской сестры.

Перестройка принесла надежду на осуществление давней мечты Иды Львовны. Готовились к отъезду спешно – ходили слухи, что в октябре границу закроют, нужно было всё успеть, включая разрешение на выезд.

Известие об отъезде дочери сразило Виктора. Что он будет делать здесь без неё? Как жить? Чему радоваться?

...Жизнь в стране становилась всё сумрачнее, а тут ещё галлюцинирующее море... Всё отравлено, все надежды, прошлое постоянно даёт о себе знать, выстреливая репликами неизвестно откуда взявшихся националистов, и будущее сиротливо жмётся в барак истории, поджидая своего часа.

Бредит город, кто-то пытается снести памятник Катерине Великой. Она-то тут причём? Очень даже причём. Для Одессы она, как Пётр I для России. Пётр прорубил северное «окно» для неё, а Екатерина II распахнула южное, положив начало городу. Историю не выкорчуеть. Чувешь?... Чую, конечно, чую. Вон там, на горизонте новые всполохи.



ПИСЬМА

Папка, дорогой! Вот и началось наше необыкновенное путешествие. Проезжаем поразительные по своей красоте места, и, хотя глаза смыкаются от усталости и пережитого, невозможно полностью отдаться сну. Вдоль дороги бежит со мной наперегонки золотая осень...

Быстро смеркается, писать неудобно – трясёт. Дороги становятся всё мрачней... Автобус юлит над обрывом.

Сейчас уже два часа ночи. Мы остановились у границы. Длинная вереница машин. Пишу наугад, в темноте.

Думаю о вас, о том, что никакое расстояние не сможет нас разделить. Я люблю вас, верю, что всё образуется, и мы снова будем вместе – ты, я и тётя Женечка. И сейчас мы тоже вместе – душой, мыслями и судьбой.

Ночью всё необычно, но жаль, ничего не могу описать, так как не вижу строчек в темноте. Наши автобус шестой в веренице. Это, говорят, надолго. Буду спать.

Уснула ли она? Виктор вглядывается в ночь за окном. Теперь всё время ночь за окном, когда бы он ни посмотрел в него.

9:35. Итак, я остановилась на том, что наш автобус – шестой в веренице. До сих пор стоим. И этот факт прямо и положительно влияет на мой почерк. Теперь вы не будете с трудом разбирать необычно написанные в необычных условиях обычные слова.

Сегодня с утра достаточно холодно. Мы с Димкой прихватили бутылку с водой и пошли по тропинке вниз. Вдоль колючего забора тянется граница. Яркое, холодное солнце, жёлто-зелёная тропинка и родниковая вода для умывания... Настроение резко улучшилось. Только что Димка кормил лошадь виноградом, а Мишка смеялся.

Ночью, когда мы ехали, перед автобусом, случалось, пробегали зайцы или другие звери. Мишка, увидев их, кричал: «Папа, смотри, кролик! Смотри, чёрная свинья!». И далее – мир наводнялся диковинными животными из Мишкиного воображения.

Ночью и впрямь было необычно. Казалось, проезжали по краю каких-то бездн, из которых прорастали сосны. А бездны действительно были, поэтому верхушки сосен и шпал вровень с автобусом. Автобус высвечивал их, и между ними, где-то вдалеке, проблескивала вода.

После отъезда Любушки Виктору спалось тревожно. Только засыпал – сразу же пробуждался, смотрел, который там у неё час, вспоминал... Однажды вспомнилось ему, как он в садик её отвести собрался, а на улице пошёл дождь. Они топали вместе по лужам, и он приговаривал:

– Мы не сахарные, мы не растаем!

– Не растаем, – повторила за ним Любушка, разглядывая капли, скатывающиеся с большого чёрного зонта. И добавила: «Нам не страшен серый дождь!».

Он даже приостановился от такого каламбура.

Вот мы и в Австрии. Раннее, раннее утро, а я пишу тебе письмо. Наш пансионат находится в пригороде Вены, и из моего чердачного окна видны Альпы. Хозяин пансионата – эмигрант из Румынии, женившийся в своё время на австрийке, – проникся к нам добрыми чувствами и дал самую лучшую комнату.

Виктор перечитал письмо, стоя на мостике, и спрятал его в нагрудный карман. Небо тихое, звёздное – смотри и любуйся. Как же, полюбишься теперь... А сколько раз они на звёзды эти вместе глядели! Он показывал ей созвездия, а она недоумевала, откуда же он знает, как эти звёздочки между собой связывать нужно. У неё они по-своему всегда складывались, и она видела совершенно другие фигурки. То аленький цветочек отыскивала, то русалочку, то конька-горбунка.

Вена – изумительный по своей красоте город. Поражают памятники архитектуры и искусства, вернее то состояние, в котором они содержатся. Представь себе Немецкую улочку XII-XIV веков в Мёдлинге (это деревня под Веной), где в домах, сплошь являющихся памятниками архитектуры, в домах, полностью сохранивших свой первоначальный вид, живут люди.

В понедельник в шесть утра мы вылетаем в Рим. Если не удастся дозвониться, – поздравляю с наступающим днём рождения! Обнимаю, целую, и всё то же делают Димка с Мишкой!



Уже в Риме. Всего час лёта, и нас встречает другая страна, другие обычаи, люди. Порядок таков, что больше недели в гостинице не держат, поэтому все, конечно же, первичают в поисках квартиры. Сама же гостиница поразила нас своим убожеством. Обшарпанная, тёмная, холодная, с мраморными полами. Мрамор пробирает до косточек – хоть сиди целый день на улице.

Письма принесло все вместе, будто шквальным ветром. Он поначалу даже растерялся – какой конверт первым открывать? Пытался разобрать даты на штампе, но всё разрезжалось, размывалось, то ли от качества бумаги, то ли...

Родненькие мои! Все, все, все!

Наконец, получил письмо – старое, из Италии. Читал, перечитывал. Словом, выучил наизусть, как «отче наш».

Сел за стол и сразу же хотел писать ответ, но такой сумбур творился в голове от душевного бурления, что ничего толкового не получалось. Так и дождался телефонного разговора с вами и тоже всю ночь не спал: сначала боялся не услышать звонка, а после разговора не мог уснуть до восьми утра.

Я всё как-то не мог поверить, что вас уже нет здесь: то машинально наберёшь ваш номер и услышишь знакомый женский голос в трубке, то порываешься выйти из автобуса на знакомой остановке... Потом всё реже и реже, пока окончательно не поверил, что есть эта улица, есть этот дом, но уже совсем-совсем чужой. Да, непросто и не скоро совершается индивидуальная перестройка.

Представляю, как там у вас – всё новое, всё малознакомое... Эйфория, потом подготовка к новой жизни, хочется жить не хуже других, и всё это в ваших силах и способностях. Только не надо забывать, что день ушедший не возвратит.

*Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумалимый бег.
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой друг, ты будешь человек.*

Это не я, это незабвенный Киплинг...

Будьте здоровы, веселы и счастливы. Всяческих вам успехов.

Целую.

Ваш папа и дед

КОНЕЧНОСТЬ ЖИЗНИ

Решение уйти с работы вызревало постепенно. Поначалу Виктор не думал об этом всерьёз. Так – мелькнуло в разговоре с Любушкой, что, мол, ему надо готовиться к отъезду, но он не верил до конца в отъезд, как не верят в материализацию мечты. За границей он побывал не раз, этим его не удивишь, а вот без моря, без своего причала не был никогда. И вдруг...

Как-то проснувшись среди ночи, он ощутил конечность жизни. Это было ново. Обычно, он ощущал её бесконечность, когда входил в воды, боролся со стихиями, разглядывал небо. А сейчас... Это было знаком, и нужно было торопиться.

*Ну, вот, получил от тебя письмо, Любонька. А до этого шёл не спеша домой. Бабье лето, грустная, пасмурная, пре-
красная пора. Завернул на Лузановку. Серое море тоже отдыхает. Передал ему привет от тебя, и оно кивало мелкими
волнишками и вспоминало тебя, загорелую, длиннонозую, которая часто разговаривала с ним, а потом рассказала об этом
всему миру в стихах... Вспомнилось другое море, другой сумрачный день в Антарктике, когда вдруг, как заколдованный
замок, возник из океана ослепительный размытый и местами разрушенный волнами и ураганами величественный айсберг.
И недалеко от него забил высокий фонтан голубого кита. Я чувствовал тогда одновременно и ужас, и очарование, и вос-
торг перед божественной созидательной и разрушающей силой природы. Возвращался домой по опавшим листьям, испытывая
целмящее наслаждение последней умирающей красотой. И вдруг почему-то затопился. Сел в трамвай, быстро доехал
домой. Конечно! Вот оно, твоё письмо!*

Он чувствовал, как берег уходил у него из-под ног и начинали рваться связи, образуя кратковременные провалы в памяти. Больше всего он боялся этих провалов, боялся, что с ними понемногу уносится



в бездну самое дорогое, и что однажды вот так же исчезнет берег, и он не будет знать, в какую сторону плыть. Всё, что ему хотелось в такие моменты, это уцепиться за соломинку своей жизни – за Любушку с семьёй и плыть, куда глаза глядят.

Саша примчался к отцу по первому зову. Он сразу понял, к чему всё клонится, когда отец вызвал его к себе из Новосибирска.

– Папа, ты точно решил? – спросил он, не дожидаясь, пока отец поведаст ему о цели встречи.

– Да.

За столом сидели молча. То ли поминки по прошлому справляли, то ли настоящее слушали.

– Мама-то как? – спросил Виктор, занюхав очередную рюмку коркой чёрного хлеба.

– Да нормально всё. Живёт, внуков растит. Хорошо, что ты тогда приехал к нам после Любашинной свадьбы. Внуков своих повидал... Теперь помнить будешь.

Виктор вновь кивнул, накладывая в тарелку кильку из банки. С Таней он тогда так и не повидался – ни он, ни она к этому не стремились. Саша сразу предупредил, что мать категорически против встреч, и Виктору даже легче на душе стало. Всё ведь и так было ясно с самого начала, а что не было – время разъяснило.

– Сашенька, ты давай, поговори со своими, мы должны быть вместе, – сказал Виктор, подливая себе и Саше.

– Пап, я-то согласен, хоть сейчас бы с тобой полетел, а вот насчёт Валюши не уверен. Сын должен школу закончить, ну и сам понимаешь...

– Ты любишь её? Любишь, я это сразу увидел. Ну и люби, люби её, сынок.

По мере сборов оголялись книжные полки, углы становились пустыми, и пустота росла в душе. Это была странная пустота – она беспощадно перерезала все нити, связывающие его с самим собой, и он больше ничего не чувствовал, кроме страшной усталости и подавленности. Всё остальное было вне его – весь этот внешний мир, вся эта суета неизвестно вокруг чего. Иногда он просыпался в разобранной комнате, смотрел на Сашу, спящего на раскладушке, и не мог понять, для чего он здесь, и почему разобраны вещи. Однажды на рассвете, за день до отлёта в Москву, он открыл глаза и увидел бабушку. Она сидела в углу на табурете и глядела вдаль, поверх спящего Сашеньки.

– Что ты там видишь? – спросил Виктор.

Но она молчала по своему обыкновению, и во взгляде её была такая отрешённость, что он решил больше к ней не обращаться.

С морем он попрощался уже перед самым отъездом. Стоял и смотрел, как оно отливало от берегов, а потом с каким-то даже надрывом возвращалось, заливая следы своего бегства.

29 ноября 1991

Вот собираюсь в Америку и всего-то собрал два чемодана, куда не уместить, конечно, даже самого главного: всех любимых и нужных книг, рукописей и прочего... Вспоминается, как бежали люди во время войны от наступающего немца, захватив те же два чемодана, а то и менее того – всё бросали... Другие же не могли или не захотели бросить добро и заплатили жизнью. Так что же человеку надо? Весь мир бурлит, разрушается, разорвана на части и ввергнута в зло и нищету великая держава... Чем же кончится этот катаклизм? Неужели один человек, неумный, недалёкий, со словарным запасом «плодовки Элочки» смог разрушить за каких-нибудь пять лет величайшую по территории страну? Нет, это тоже Божья кара...

Через день они вылетели в Москву, где Саша посадил Виктора в самолёт, отбывавший в Нью-Йорк.

ПО ТУ СТОРОНУ

Плывёт, плывёт корабль, флаги спущены, воды тёмные. Плывёт, ветер его швыряет, птицы над ним кружат. То снизу его подтолкнут, то сверху на него налетят. Вдрагивает корма. Когда-то покачивался он посреди вод, и волны вокруг него вздымались, и снаряды вокруг него рвались, а он всё плыл, невредим, радугами окружён, и пуля его не брала.

Плывёт, плывёт корабль. Гребешки тучек предрассветных желают ему попутного ветра. А он молчит, только двери внутри хлопают. Кто эти двери прилаживал, кто палубу тесал, кто дерево выбирал, того уже и нет давно: глаза его закрылись, и душа его остыла на дне морском.

Босфор остался за кормой, и ты, родная земля, уже за холмом!



Из самолёта он вышел тихо, почти незаметно, как тень – маленький, потерявшийся в грандиозных масштабах зала, – и направился в противоположную сторону.

– Вон он, вон он! – вскрикнула Любаша, показывая на удаляющуюся фигуру отца. – Папа, папочка!

– Виктор Леонидович!

Они со всех ног бросились к нему, выкрикивая его имя.

Он обернулся.

Они обрушились на него, как водопад, накрыв его с головой, и он еле удержался на ногах. Родные... Мои!

Всё, теперь можно забыть...

Дальше – всё в обрывках.

– Почему ты плачешь? Что случилось? Что, что такое? – Виктор силится понять причину слёз дочери и прижимает трубку к уху, пытаясь расслышать, что там происходит. Но слышны только всхлипывания.

Через пятнадцать минут он уже стучится к ней в двери вместе с декабрьским ветром.

Она открывает ему, бледная, укутанная в козий платок. Он встревожено осматривает её.

– Почему ты плакала? Что с тобой? Ты здорова?

– Ты прибежал... У тебя куртка тонкая, а на улице холодина, декабрь...

– Как, декабрь? Неужто декабрь? – он смотрит в окно. – А я и не заметил... Торопился к тебе и про декабрь забыл. – Слабая улыбка проступает на его впалых щеках.

Он небрит. На голове у него лёгкий беретик, покрытый тающими льдинками. Похоже, он и впрямь забыл, что уже зима. Она чувствует, как помимо её воли, море прибывает к горлу и течёт по щекам.

– Не плачь, не плачь, всё будет хорошо, – растерянно приговаривает он, глядя её по голове.

Вспомнить, что же было причиной этого шторма, он так и не смог.

...Он ушёл в какое-то плавание. По всей видимости, дальше. Пытался навести справки, но радио молчало, а если и говорило, то на непонятном ему языке. Берега ему только снились, но сны эти были странными, очень реальными, более реальными, чем само плавание.

...Корабль постоянно двигался в полосе тумана, и туман только сгущался день ото дня. Керчь уже взяли, но это было давно, а теперь море стоит неприкаянное, и он уже не может им управлять, как прежде.

...Отказывают навигационные приборы. Он должен использовать весь свой прошлый опыт, но можно ли прошлое использовать в настоящем? Вот в чём вопрос. Тем не менее, двигаться нужно, не стоять же в этом чёртовом тумане вечность! Что бы ни говорили эти люди (и бог их знает, откуда они взялись и что им нужно!), следует идти по намеченному курсу.

Он идёт. Штормит. Холодно. *Но что всё это значит, когда нос корабля смотрит туда, где за тысячи миль отсюда родная земля...* Или что-то в этом роде. Кто это писал?

...Он раздвигает туман руками, но там одна и та же рожа врача. Зачем его взяли на корабль? Он хлопает дверью и уходит в рубку. Там его уже ждут таблетки на столике. Вот откуда туман! Говорил же он не брать врача на борт! Не послушали. Теперь пусть сами расхлёбывают.

У врача усталый взгляд печальной птицы. Он чуть встряхивает головой, приглашая Любашу присесть.

– Понимаете, – объясняет Любаша, – он даже забыл, что я была сильно больна, и сердился, что не навещаю его. Такого с ним никогда не бывало. Он всегда всё помнил и никогда не сердился. Может, это стресс от переезда?

– У вашего отца продвинутая стадия Альцгеймера, милочка, – медленно и чётко говорит врач, глядя внушительно поверх маленьких круглых очков на сидящую на кончике стула девушку.

– Что вы имеете в виду? – во рту у неё мгновенно пересыхает.

– Потеря памяти, неадекватные реакции, изменение характера, отсутствие связей и ориентира, блуждания, и прочее, и прочее. Такие больные имеют тенденцию уходить из дому и теряться, – он встряхивается от собственной монотонности и добавляет тоскливым голосом токующего кардинала. – Нужны двадцатичетырёхчасовой присмотр и профессиональный уход, – и, понизив голос, добавляет, – Он не помнит вашего имени, милочка. Это признак тяжёлой стадии...

Как не помнит? Как не помнит?



...Только бы добраться до родных берегов... Карты куда-то подевались, стрелка компаса бог весть что показывает. Не север и не юг, не восток и не запад... Вдали от земли родной – вот какое это направление.

Виктора перевели в уютный, частного типа пансионат для больных, страдающих Альцгеймером. Пансионат находился в лесистой местности с высокими елями, и всякий раз, когда дочь с мужем приезжали навесить его, они выходили на веранду, а потом гуляли по аллее. Вдали их ждал большой деревянный стол со скамейками, сколоченный специально для пикника, и там Ляля, которая всегда просила брать её к бывшему мужу, раскладывала свежеприготовленную еду.

Пришло письмо от Жени. Не письмо даже, а записочка, которую она передала со знакомой. Странная записочка. Поначалу такая, как и принято быть подобным посланиям, а потом – сплошные загадки и намёки. Что она хотела всем этим сказать, какой подтекст донести?

Любушка! Солнышко моё ясное, радость моя ненаглядная! Как мне всех вас не хватает! Одиноко мне, и всё чаще задумываюсь я над вопросом наследственности – огромный пробел в нашем воспитании. Не знаем мы корней наших, не знаем. Всё упрятали от нас, как от посторонних глаз, всё стёрли, сожгли... Думали, что так уцелеем. А теперь – вот ведь как всё обернулось. От памяти ничего и не осталось. Бедный, бедный Витюша! Часто вспоминаю я бабушку Любу, чьё имя ты унаследовала. Больше всех на свете любила она папу твоего. И ты люби его... Покуда сердце помнит, память жива.

Любаша перечитала записочку, положила её на столик подле портрета Виктора и вышла в мирскую перепутанность.

...Когда же появится родной берег? На небе ни звёздочки. Корабль движется почти наугад.

Сколько уже суток он не смыкал глаз, стоя на вахте и вглядываясь во мглу? Его давно никто не сменил. Команда спит, как убитая. А может, и впрямь, убитая? Война ведь... Эта часть моря полностью отдана войне. Сороковые роковые... О чём это – о широтах или о годах? Он путается. Нужно заглянуть в судовой журнал. Там непременно есть объяснение.

Он спускается в свою каюту. Журнал лежит на столе. Страницы пожелтели, чернила слегка расплылись, словно брызги морской воды окропили буквы. Он склоняется над страницей и читает: «С «Чауды» сняты на катер тяжелораненый старший помощник и погибшая при бомбёжке практикантка-радистка». Что за чёрт! Какая радистка? С какой «Чауды»? Бедная девушка! Никто и не узнает о её гибели. А может, это и к лучшему: будут ждать. А она потом как-нибудь вернётся. Из какой-нибудь памяти. Такое уже не раз бывало. Запись можно уничтожить, в случае чего. Бедная, бедная...

...Вместе с Лялей Люба и Дима вошли в палату, как раз в тот момент, когда Виктор проснулся. Половина его сознания всё ещё пребывала во сне.

– Привет, папуля, – сказала Любаша, усаживаясь напротив.

– А я сейчас таких страхов натерпелся, – сообщил он, не отвечая на приветствие. – Там были совы страшные в чаще лесной, и я тебя спасал.

– Спас?

– Спас.

– Ну, вот и замечательно! А теперь пошли все вместе гулять! Там в саду стол накроем – мы много вкусного принесли.

– Вот это хорошая идея! – воскликнул он, окончательно придя в себя.

Они вышли на улицу. Тёплое солнце немедленно обласкало их.

– У неё волосы прямо как золотые, – сказал Виктор Диме, кивнув на Любашу.

– Так она же у нас Златовласка, – отшутился зять, не глядя на него. По всему было видно, что такое состояние тестя его удручало.

Виктор рассмеялся.



– Вы идите не спеша, а я побегу вперёд, накрою на стол, – сказала Ляля. – Отец ещё не завтракал, да и мы все тоже. – Она энергично удалилась, только её стройный силуэт мелькал вдали.

Ляля не менялась, словно время пробовало на ней эликсир молодости.

Виктор задумчиво смотрел ей вслед.

– А у неё есть дети? – наконец, негромко спросил он у Любашки.

– Да, есть – я. Я её дочь, папа.

– Да что ты! – Виктор удивлённо взглянул на Любашку. – Правда?

– Да, правда. Я ваш ребёнок, ваша дочь.

Виктор кивнул, ничего не ответив, и через минуту, казалось, забыл о разговоре.

Когда они привезли его к месту для пикника, стол уже был накрыт льняным полотенцем, а на нём стояли всякие яства, приготовленные Лялей. Она по-прежнему была отменной хозяйкой и даже испекла Виктору его любимый наполеон.

Говорили об Одессе, о переменах, о Саше, показывали Виктору фотографии родных из альбома. Он внимательно слушал и кивал, не задавая вопросов.

На прощание Любушка обняла отца и провела рукой по его лбу.

– Папка, кто я тебе?

Он внимательно посмотрел на неё, чуть прищурившись.

– Точно не помню, но кто-то очень близкий... Может, мама, а может, сестра...

ПРОЩЕНИЕ

– Витюша, ты прости меня...

Ляля аккуратно и тщательно смывала пену со спины и рук Виктора. Она наотрез отказалась от помощи санитарки и всю процедуру купания осуществляла сама.

– Куда это годится – доверять папу чужим рукам? – сказала она Любе, когда они впервые пришли навестить Виктора. Ляля к тому времени была уже в разводе со своим вторым мужем и почувствовала тягу к прежней семье.

– Мам, но они профессионалы, знают, как правильно помыть больного.

– Знают они... Моют, небось, как мебель. А папа у нас один. Мы сами с усами, да, Витюша?

С этого момента она никого не подпускала к нему и сама водила в душ, меняла одежду и причёсывала. Виктор послушно делал всё, что она ему велела, в процессе процедуры превращаясь в ребёнка.

Ну вот, с мытьём покончено. Она взяла его руки в свои, крепко сжала их и посмотрела ему прямо в глаза.

– Ты мне родной, родной ты мне, понимаешь?

Он кивнул.

Они медленно пошли в палату, здороваясь с проходящим мимо медперсоналом. В палате она уложила его в постель, зная, что тёплая вода разморила его.

– Витюша, а ты помнишь, как сватался ко мне? Красавец, капитан... Все ахнули, когда тебя увидели тогда в Калараше. Сколько воды утекло, а всё будто вчера было. – Он кивнул. – Витюш, – она наклонилась к нему ближе, – я нам купила место на кладбище. Вместе с тобой лежать хочу...

– На кладбище? Зачем тебе на кладбище? – всполошился он. – Ты ещё молодая, у тебя вся жизнь впереди. – Он погладил её руку.

– Витюш, я жена твоя, помнишь?

Он отрицательно покачал головой.

– Не помнишь?

Он снова покачал головой.

– Ну тогда послушай меня. Слушаешь?

Он кивнул.

– Ты прости меня... Прости меня, Витюша. Простишь?

Он снова кивнул.

– Ну вот и славно, – она вздохнула с облегчением, утёрла слёзы, поцеловала его в лоб и дождалась, пока он уснул.

«УБЕЖАЛ ЛИСЁНОК В ЛЕС...»

...Всю ночь Виктору снилась белокаменная Хоральная Златоверхая синагога с огромным сферическим куполом, что около Киевской арки Глуховской крепости. Синагога горела, полыхал пламенем купол.

– Бабушка, почему купол горит? – спрашивал он, всякий раз, когда купол выкатывал из пламени.

– Купола не горят, спи, – отвечала бабушка.

– Но я вижу, что горит!



– Это у тебя жар.

Она клала руку ему на голову, и пламя затихало на время, а потом снова начинало клокотать, пузыряться и раздуваться.

– Бабушка, положи руку на купол...

И она вновь клала ладонь ему на лоб. Не ладонь, а карта земель с ветвящимися ниточками дорог и выпуклыми мозолистыми островками-континентами. Сколько раз в детстве пускался он в путешествие по этим дорогам вместе бабушкой, расспрашивая её о том, куда ведёт каждая из них! Одна вела к душе, говорила ему бабушка, другая – к уму, третья – к сердцу.

– А вот эта куда? – спрашивал он о четвёртой, перекрещивающей все три линии и впадающей в бесконечное мелководье других ручейков-дорог.

– А эта – за горизонт, – отвечала бабушка.

Теперь её ладонь лежала всеми линиями на куполе, впитывая его жар и отдавая взамен свою целебную прохладу. Купол вздохнул с облегчением и умиротворённо затих. Жар спал. Прояснилась синева, подул ветер, срывая головки цветов, и они кружили в воздухе – много белоснежных колокольчиков. А между ними плыл остывающий купол, отливая закатным солнцем.

Начинались сумерки. Кто-то пел, укачивая море.

– Бабушка, кто это поёт?

– Никто не поёт. Это тишина. Спи.

Всё. Больше ничего не отыскать в его памяти. Теперь там только сумерки. Если начнёшь их шевелить, они накроют комнату, и тогда нужно ждать, чтобы он вернулся домой с ночного дежурства и стал жарить свой омлет.

В тот, последний, день мы гуляли по аллее. Он наблюдал за белкой, делающей раскопки под деревом.

– Папка, ты помнишь? «Убежал лисёнок в лес»...

– И на дерево залез! – неожиданно закончил он и рассмеялся...

А потом мы взялись за руки и пошли по осеннему парку, и листья шуршали у нас под ногами, и мы шли, и шли, и дошли до берега, где его ждал корабль.

– Возьми меня с собой, – попросила я.

Он подумал и как всегда улыбнулся. Ему было семнадцать. Где-то вдалеке гремела война.

– Побудь здесь. Я скоро, – сказал он и махнул на прощанье рукой.

К морским глубинам тянется душа.
Там всё знакомо – кривизна пространства,
И копошенье – эхо вечных странствий,
И тьма, откуда жизнь произошла.
К морским глубинам тянется душа.
Туда же осень тянется за летом,
Туда уходит день за новым светом
И мысль за отрицаньем рубежа.
К морским глубинам тянется душа,
Чтоб в голос крови вслушаться взятяжку,
Следить, как жизни бродят нараспашку
По кромке неизвестного числа,
И ощущать привязанность нутра
К рассеянному тлению заветов
И расщепленье памятных моментов
На бесконечность краткого вчера.

ЕВГЕНИЯ

ДЖЕН БАРАНОВА

ПРИЗРАЧНОЕ ШИТЬЁ

С тоненькой пеей в высохшем свитерке
я становлюсь решёткой, а не рекой,
и наблюдаю, как, не храним никем,
ты догораешь радугой корневой.

Вижу, как птицы тело твоё клюют.
Слышу, как звери в бронхах твоих хрипят.
Жизнь оставляет пепельный перламутр
на домовине раннего октября.

Что же мне делать? Щепкой лететь, щеголом
прятаться в клетке? Трещиной речевой
дождь вызывая, выдумать водоём
и заполнять бессильной своей водой?

Что же мне делать? Не прогоняй/гони.
Не догорай/пожалуйста, догори.
Мысленный лес, хранитель, дурак, двойник.
Гладкое яблоко с гусеницей внутри.

Нам нужно уехать куда-нибудь врозь.
Смотреть на озёрных печальных стрекоз.
Глотать родниковый рассеянный свет.
Уехать туда, где и памяти нет.

Ты станешь моложе, я стану живой.
Разлука пройдёт, как порез ножевой,
пройдёт мимо сердца, скользнёт по ребру,
окажется вечной – не гнить же добру.

Нам нужно уехать/сорваться с петель.
Куда затащила нас тётка-метель?
О чём эта пляска семи покрывал?
Украли. Украли. Украли. Украли.



Кто это там в малиновом берете?
От чувств смешон, от разговора светел,
ужели ты подругу не узнал?
Ужели ты приятельнице лишний?
Цветёт берет – раздавленная вишня –
царапает страницами финал.

Когда была я несколько моложе,
любила писем клетчатую кожу
да синий цвет набросков черновых.
Теперь я еду с ярмарки. Отёком
сошла любовь, раскинулась широко
по пленным дням, по листикам травы.

И всё-таки малиновый тревожен.
Зачем берет, ведь ты в нём не похож на
желанное и злое существо?
Я мальчика морщинистого вижу,
и боль моя над пикселями брызжет,
и я молчу над профилем его.

От дяди – зимняя запаска.
От дедушки остался пояс.
Черныш, Алиса, Топка, Кузя
земли заполнили объём.
Седеют волосы, под краской
скрываю сдавленный их голос.
И седины почти не видно,
когда не трогаешь её.

Смотрела мультики во вторник,
делилась в среду апельсином,
в четверг прогуливала школу,
крепила к счётчику магнит.
Вот я стою на фоне моря
в зелёных подранных лосинах,
и мне всё это объяснимо.
Жаль, волосам не объяснить.

В.С.

Расскажи мне всё, как было.
Я соскучилась уже.
Пахнет небо белым мылом,
щёлочью – на этаже.

Сложно вспомнить что-то, кроме
молодого февраля.
Пульс, как радио Маркони,
бьёт сквозь белые поля.



Мысли – скользкие скорлупки
от яичного житья.
Тяжело, хрустально, хрупко
вспоминать таких, как я.

ШКОЛА

Масштаб. Маршрут. Что там ещё?
Кровать. Сирень. Пенал. Стекланный.
И ручка медленно течёт
под взглядом Юлии Ивановны.

Зачем нам Пришвин, если здесь
торфяников никто не видел,
лишь сосен солнечная спесь
да почвы горькое повидло.

Но вот барсук. Ошкварен нос.
Следи за ним и запятыми.
Маринку мучает вопрос:
чьё вырезал Володя имя?

А я тревожусь о другом,
найдёт ли Штирлиц Фантомаса?
Так что там с этим хомяком,
да-да, конечно, барсуком...
Ну, ладно, выхожу из класса.

В МЕТРО

О подозрительных предметах
не говорите машинисту.
А вдруг там облако в кальсонах,
креветка, утица, фонарь.
А вдруг там Панночка, а вдруг там.
Хотя о чём я? Только чистый
испуг, отмеченный приливом,
застывший в бабочке янтарь.

О подозрительных контактах
не сообщает микросхема.
Под нашим куполом несложно
любых во всём подозревать.
Состав скрипит, состав получен
от Одиссеевой триремы,
он скручен мышцей икроножной
и обречён не успевать.

О сколько зрителей ненужных
закрыто в банке из-под джема!
Стекланный видится зверинец
в краю седых пуховиков.
Как подозрительные лица,
глядят на рельсы хризантемы.
И я стою внутри вагона,
как подозрительный Иов.



Больной ребёнок, выживший пленец,
но не жилец, ей-богу не жилец,
идёт к комоду, музыку заводит.
И музыка играет в коридор,
шумит камыш – виниловый забор –
горит при непрерывном кислороде.

Так пеннем до старости расти.
«Таганка» милая, с тобой ли по пути,
по солнечным путям бредёт Высоцкий?
Пластинка говорит: «I love you so...»,
ребёнок понимает, он спасён
от сырости и ржи автозаводской.

Ребёнок понимает, Леннон жив,
и Ленин улыбается. Мотив
плывёт, как рыбка в банке с позолотой.
«Так лучше быть богатым, чем» (...хрипок...)
Покачиваясь, спит у тонких ног
пластинка в пузырящихся «колготках».

На рукавице вымышленной руки
вышит кентавр, зяблики, мотыльки,
вышито всё, что словом нельзя сбересть:
воздух, земля, дыхание, речка-речь.

Я так люблюсь вышивкой, так боюсь
сердце добавить к призрачному шитью,
что отпускаю – рыбкой пускай плывёт,
маленький Данте околоплодных вод.

Из хлорофитов тесную колыбель,
может, совет себе, может, нырнёт к тебе.

Как серебрится дикий его плавник.
Если отыщешь, дафниями корми.

А затоскуешь – боже не приведи –
слушай, как бьётся возле твоей груди.

ТИХИЕ ДНИ В МОСКВЕ

Любим любимой тихо говорил,
что не хватает в номере чернил.
Ну, как тут не повеситься Любиму?
Такие дни стоят, что хоть в Клиши,
хоть в Лобне о неизвестном пиши.
Пиши, покуда часть неотделима

от целого.



Как выдумать закат,
когда лишь снег, хитёр и ноздреват,
является за мартовской зарплатой?
Не вымечтать тропическую чупшь.
Здесь тихо так, что даже чересчур.
Не поискать ли в небе виноватых?

Не спиться ли, не спятить ли, не спеть.
Мне кажется, я снежная на треть,
на две другие – сахар и позёмка.
Осталось подождать, авось вернёт
брильянтовую зелень белый йод,
авось отыщёт в женщине ребёнка.

ЛАДА МИЛЛЕР

БОЖЬИ ЗНАКИ

Снежинка вспыхнет у виска.
Мемориальная тоска
Так приобнимет, что не скрывается.
Настигнет, птицами звеня,
Но разве птицы без меня
Поют?
И разве это птицы?

Как неспокоен сердца бой.
Все говорят, что нам с тобой
И горя нет, и мира мало.
Но хрупок сад и тонок звук
Страсть возникает из разлук –
Дотронься.
Вспыхнула.
Пропала.

Пускай.
А всё, что было врозь,
Повесь за ниточку на гвоздь,
Теперь мы сами будем птицы –
Так пахнет волей и весной,
Что Бог качает головой
И небу в ласточках не спится.

Февраль торопится к нулю.
Я беззастенчиво люблю
И от застенчивости таю.
В окно заглядывает снег.
В снегу счастливый человек
И чувств растрёпанная стая.

Так просто – выдумал, пришёл.
А у меня неприбран стол...

Рука обхватывает сердце
И двое молча говорят,
И дом пускается вприсяд,
И ноль стремится к «наконец-то».



Ты говоришь, что это здорово,
И почки лезут, не спросясь.
Реки расплавленное олово,
Дорог расхлябанная грязь –

Всё оживает от восторга и
Земли раскручивает ось,
Разлука – девушка не строгая,
Ещё немного поматрость,

Пока от счастья не расквасится,
Чтоб встречей ласковой согреть.
И небо стягивает платье,
И солнца вздрагивает медь,

Трубят от нежности пернатые,
Кричат трамвайные звонки,
Деревья сбрасывают латы и
Заламывают позвонки.

А мы – нездепные, хорошие,
Проходим за руки держась,
И лужи хлопают ладошами,
И почки лезут, не спросясь.

Окно приоткроешь – июнь без пяти,
Кудрявая чёлка сирени.
Жуки натирают до блеска хитин,
Сверчки разминают колени.

От солнечных пятен до розовых пят
Июнь оготел и понятен –
Слова колосятся, дожди гомонят,
Настойчиво тикает дятел.

Прижмётся покрепче, замрёт у плеча,
Услышишь сквозь ропот неблизкий,
Как терпкие ягоды глухо стучат
О дно облупившейся миски,

Покажется – жизнь промелькнула и нет
Её беспощадней и слаще.
Нахлынет листва, заколышется свет,
И голуби небо растащат.

Слова обнажат тополиную суть,
Теперь – обожать, до утра не уснуть,
А если и правда – июнь без пяти,
Пусть время забудет, что надо идти.



Когда придёшь, цветы поднимут очи
И улица навстречу побежит,
Возьми меня на руки очень-очень,
Как будто я не женщина, а дочка,
Как будто я не баловство, а жизнь,

Всего-то сада – яблоня, да груша,
Смешная птица, пьяная пчела.
Меня тобой накроет, оглоушит,
Сначала буду всхлипывать – не слушать,
А после улыбаться и молчать.

Вина с вином утешатся, играя,
Судьбы щегол поранится о край.
Но у любви ни жалости, ни края.
Когда придёшь, напомни, что жива я,
Собаку кликни. Дверь не запирай.

Как построим хижину из цветка –
Пять углов топлёного молока,
Потолок раскрашенный вкривь и вкось,
Сквозь чердак пробившийся солнца гвоздь,
Так затопит – ласкова, глубока,
Забывай-Река.

Как построим хижину – выйдем вон
В поднебесный колокол, птичий звон,
Где родятся облако и яйцо,
Где тебя ошпаривает свинцом
В горизонт вцепившаяся рука –
Забывай-Река.

Вдруг поймёшь, что, господи, и не жил,
Молоко топлёное убежит,
От цветка потянется горький дым,
Потеряем голову, улетим,
И уйдет по капле моя тоска
Забывай-Река.

Так построим хижину из цветка,
А пока что – река, река...

Так хочется неба с оттенком дождя,
Весёлого паводка, терпкого мая,
Что дом из гудящей трубы вылетает,
Намокшие крылья, как ставни, сведя.

И хлопают двери, и вазы дрожат,
Зажав непокорные стебли в объятья,
Танцуют в шкафах полуголые платья,
И галстуки, вытянув шеи, летят.

А мы, даруг поддавшись на этот соблазн,
 Друг с друга не сводим восторженных глаз,
 И космос мигает, и бездна манит,
 И тело на тело наводит магнит,

Чтоб спело в душе беспашабашное «пусть»,
 Чтоб счастье схватило за выпуклость грусть,
 Чтоб в небе январском вскипела сирень,
 Чтоб тенью своею почувствовать тень

Того, кто стоит у открытых ворот.
 Того, кто вот-вот...

Сбивает с правильного шага
 Внезапной памяти щелчок:

Вот поезд Амстердам-Гаага,
 Натёрший ногу башмачок,
 Горчичник кофе, бублик теста,
 Мальчишка с профилем Басё,
 Пейзаж, срывающийся с места –
 Стога, деревни, то да сё.

Дорога падает и длится,
 Стучат колёса кастаньет,
 В кармане вздрагивает птица,
 Как перепутанный билет,
 Жизнь распадается на части,
 Перрон командует – Пора!
 И расцветает слово «счастье»
 В незаживающем вчера.

Конечная станция – Осень.
 У тучи подмышкой ушат.
 За окнами грустные лоси
 Листвой перелётной шуршат.

Задёрнешь небес занавески,
 Где только что был и пропал
 Деревни рисунок нерезкий
 И озера тусклый овал,

Вожмёшь сиротливую спину
 В надменный вагонный комфорт,
 Подумаешь: жизнь – это глина,
 Слетевшая с божьих ботфорт,

Очнёшься от маленькой славы,
 Возьмёшься за гужевиный труд,
 И выведут слева направо
 Слова. И упасть не дадут.



БОЖЬИ ЗНАКИ

Там, где с гор сбегают маки,
Где оливы просят тени,
Кто-то пишет божьи знаки,
Опустившись на колени,

Чьи ладони, словно листья,
Чьи печали, словно плечи,
В алый зной макая кисти,
Разрисовывает вечность,

Чтобы там, где пепелище,
Вырос дом, поспело тесто.
Хочешь, мы с тобой отыщем
Это ласковое место?

Чтобы ты увидел Бога,
Чтобы я шептала: «Милый»,
Чтобы жизнь была нестрогой,
Чтобы смерть была красивой.

Там, где небо тучи застыт,
Где от слёз промокло море,
Кто-то пишет слово «Счастье»
И зачёркивает «Горе».

Там, где нежно и подробно,
Дружат люди и собаки –
Пишет кровью божьи знаки
Кто-то правильный и добрый.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО

НАД НЕЗАШТОРЕННОЙ АЛЕЕЙ

ТИБЕРИНА

Там крылья ставней бились на ветру
в силках стены над улочкой окрестной.
Я вспомню всё, когда опять умру
в твоих руках и в памяти воскресну, –

ручную чайку, плоть небес и кров
для странника в каком по счёту Риме,
гостиницу в одном из тех миров,
что мы с тобой ещё не сотворили.

Memento Roma, помни обо мне,
пока плывёт кораблик Тиберины,
а расставаться тяжелей вдвойне,
чем путь земной пройти до половины.

Вот Эскулап, он бог, как мы с тобой,
местоблюститель и плохой товарищ,
когда врачует сердце через боль.
Я знаю, что и ты меня ударишь.

Memento vita, я не тороплю
события. Они приходят сами.
Моя вина не в том, что я люблю
слова, а в том, что я люблю словами.

Не Тиберина – дудочка моя, –
гусиный крик, насаженный на вертел.
Кто был любим, тому не страшен яд
змеиный. Кто любил – как Рим, бессмертен.

Познать меня нельзя. Не проще ли
принять на веру и простить на ощупь.
Чума – в умах, и мир неисцелим,
когда выходят улицы на площадь.

Хрипит кровать под гнётом простыней,
зародыш дней в гигантском чреве Рима.
Смерть поправима, жизнь неповторима.
Memento Roma, помни обо мне.



Куда звонит и где болит –
легко определить по тону,
а кто со мною говорит –
не разобрать по телефону.

Ночь непроглядна и тиха,
а нам даётся в ощущениях.
Он скажет: «Таинство стиха
подобно таинству прощенья».

Забит эфир, и связь фонит,
частями отдавая звуки.
Он скажет: «Только алфавит
от Бога, а стихи от муки».

Ночь на дворе, и завтра в семь,
а он красноречив без меры.
Ему уже неважно с кем,
он ждёт попутку на Венеру.

Но выпив чарку на коня,
спалив архив, дойдя до точки,
он зацепился за меня,
чтоб не сорваться в одиночку.

Слова охотятся на нас,
а мы на них в угодах книжных.
Он говорит, что вирши – глас
впустую для своих и ближних.

Гудки. Кого и в чем винить,
когда в режим автопилота
душа уходит отработав...
Я успеваю позвонить
за миг до старта космолёта.

Я помню только музыку о нём.
Лица не помню, голоса не слышу.
Соседский дождь, присматривая дом,
как кровельщик, выстукивает крышу.

Я помню и не нужно докучать,
молчаньем в рифму заполняя бреши.
Я часто плачу, но моя печаль,
что свитер на плечах окаменевших.

Я помню то, что надо бы отдать,
не пряча под сукно иносказаний.
А дождь идёт, забыв, что он – вода
и на соседней улице хозяин.

Всё отступило: лица, голоса.
И дом отрезан от и обесточен.
Но дождь идёт, подравнивая сад,
как щель на волю, прорезая почерк.



Благодарю. Он трудится не зря –
стучач в окно, окрестной пыли сборщик.
Темнеет, и при свете словаря
я слышу только музыку, не больше.

СРЕТЕНЬЕ

Только бы дитя не хворало.
Большого не проси.
Прошлый год – ни много, ни мало –
всех подкосил.

Сыро и по-мартовски ветрено,
сходят на нет снега.
Помнишь, как по-бабски на Сретенье
выла пурга?

Мамка на солдатском погосте,
жёнка всем, кто будет в раю.
Ныне отпускаеши, Господи,
зиму мою.

Вот она, оплывшая, сточная,
тощая, глянть,
сходит снег пластами и клочьями
в реку Желань.

Выложи и ты пережитое
в сретенский чат.
Жили под верховной защитой
речки Почай.

За руки – дитя или под руки
тех, кто слабел.
Я – не про победы и подвиги.
Я – о себе.

Выстоишь в весну высокосную?
Да. Устою.
Ныне отпускаеши, Господи,
зиму мою.

В прицеле камеры-обскуры –
сюжет холма, рюкзак сутулый,
мазки дорожные в альбом,
но сколько ни пиши с природы, –
нет совершеннее скульптуры,
чем вишня за моим окном.

Из-под морщин по чёрной корке
мироточит смолою горькой
и плачет от потери сил.
И в замысле воздетых веток
есть порыв от смерти к свету,
что только Пинзель уловил.



Её неправильная точность
невывислима и подстрочна,
не расчехлима языком.
Но перехватывает разум
не это – в самой гуще фразы
есть кто-то, с кем давно знаком.

Так узнаваемы изгибы,
как будто, к цельности спеша,
не расслонлась, не погибла,
а стала деревом душа.

И в угловатых сопряженьях
отростков и ветвей сухих
своё увижу отраженье,
но чётче в кратком изложеньи,
как в избранном – заглавный стих.

Судьба вершится с опозданием.
В округе – знатные сады,
а нам оброк – иносказанье:
цветём в отместку расписанью,
но позже всех даём плоды.

Раненья, трещины, разломы
к весне затаит добрым словом,
вишнёвой корочкой смола.
От чувства локтя к чуду дома
иди, где оттепель и дрёма,
и радость своего угла.

Темнея, прячется округа.
Мы будем сторожить друг друга,
пока один из нас живой.
И вишня простирает ветку,
как маскировочную сетку,
над непокрытой головой,

над незашторенной аллеей,
открытым слогом, что алеет
над незапёкшейся губой,
над тем, что светит, не довлея,
как встреча поздняя с собой.

АННА МИХАЛЕВСКАЯ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БУРКИ рассказ

«Ш-ш-ш-ы-х!» – свистит черкесская сабля-шашка. «У-у-у-и-и-и!» – завывает ветер под моими полами. «А-а-а-а!» – бросает боевой клич наша казачья стая. Вскрапывают и ржут на бегу вороные скакуны. Я всегда за спиной у всадника – крепко обхватываю его грудь, ловлю движения, вдыхаю его пот, его кураж, его страх. Всё знаю про тех, кто меня хоть раз накинул на плечи. Я ревнива и просто так не отпущу. Меня, конечно, можно подарить, но чаще – снимают, когда я уже не нужна солдату. Нет, не потому что закончилась война. Войны не заканчиваются, но иногда становятся невидимыми. Как пластуны, которым я служу.

9-я пластунская горнострелковая дивизия – здесь и живу. Коротая дни на плечах ездового ефрейтора. Но память других, ввевшаяся с ветром и криками в мою дублёную шкуру, нет-нет и возвращается. Неуловимые и бесшумные охотники-пластуны – так лет сто назад называли казаков в кубанском сторожевом войске – лучшие стрелки, вооружённые пистолетами и присадными тесаками, они могли часами сидеть без движения в засаде, по пояс в ледяной реке или в колючем кустарнике, окопавшись в снегу, под проливным дождём, под палящим солнцем. Они подражали плачу шакала и крику орла. Запутывали следы, прыгали на одной ноге, шли пятнами наперёд, скакали. Они выслеживали врага, как охотник зайца, зная все его повадки и оставаясь незамеченными.

Мой новый хозяин не пластун, он просто хороший солдат. Он любит – свою новорождённую дочь, когда ей было три дня, он уехал на фронт, свою хрупкую жену с упрямым характером, свою родню, свою мать, да саму жизнь. Ему есть, что терять, а значит, его можно выследить. Привязанности заставляют людей ходить одними и теми же тропами. Таким никогда не стать охотниками.

Но я не в обиде. Сейчас декабрь и снег, в горах бушуют ветра, я грею спину Сене, а он греет меня своим жадным до жизни дыханием. Мы нужны друг другу, и это придаёт смысл моему существованию.

Сеня из далёкого села на границе Украины, его жена наполовину молдаванка, он сам носит югославскую фамилию Галинич, а вот службу в двадцатых годах нёс здесь, на Кавказе. В 9-й пластунской почти все знают друг друга – казаки из одного аула, отцы и сыновья, соседи-станичники. Пришлые – такие как Сеня – в меньшинстве, но никто не чувствует себя чужим. Общая опасность роднит крепче семейных уз.

Лошади оскальзываются на крутой горной дороге, копыта вязнут в снегу. Скоро Новый год, потом Рождество, думает Сеня, поглаживая коней по холке. Праздник, родня, много людей, вареники и кутья. Все вместе в их коммунальной квартире в Одессе... Это второй Новый год дочки Аллочки. Он уговаривал жену, хотел забрать их с собой. Но Ирина отказалась, и после он был рад – пароходы не доходили до Батуми, один за другим их подрывали в море. Соседи его осуждают, мол, бросил семью. Они ещё не понимают, что когда загремит, всё меняется. Прямая жизнь превращается в пепел и битый камень, но и за это их армии ещё предстоит побороться.

Из Батуми дивизию перебросили в Туапсе. А от Лазаревской, посёлка у побережья, они выдвинулись к горам, вглубь материка. Через Главный Кавказский хребет должны выйти к западным склонам плато Лагонаки. На прокладку этой дороги жителям деревень дают всего два месяца – и они пробивают скальный грунт кирками и лопатами. Горнострелковая дивизия идёт по вновь отстроенной дороге под ледяным проливным дождём. Реки выходят из берегов, они постоянно останавливаются и налаживают переправу. На перевале Хакуч дождь сменяется снежными заносами. Сеня жалеет коней и первым делом обустроивает для них укрытие в снегу, а уж потом думает о себе. Перевал Хакуч дивизия берёт в Святой вечер, а к Старому Новому году занимает оборону под горой Шашка. Расчищая снег, солдаты роют окопы в мерзлой земле. Позади марш в сто десять заснеженных километров, впереди сражение – завтра дивизия совершит отвлекающий удар.

Они подготовлены гораздо лучше, чем увязшая в снегу 56-я армия, так говорит старшина, подбадривая Сеню и наблюдая, как тот кормит лошадей, чистит их скребницей. Их дивизия, продолжает увещевать старшина, вышла к линии фронта с полным боекомплектом. Сеня треплет лошадей по холке и кивает. Да только не испытывает воодушевления. Видел он этот полный боекомплект. Немцы те крепко обустро-



иансь. Ребята говаривали, фрицы отрыли в полный профиль окопы, поставили дзоты и доты. Построили капитальные землянки из дуба и накрыли их шифером. В землянках установили чугунные печи с запасом дров. На крутых склонах горы Шапка уплотнили снег и залили водой. Как эту гору брать? А надо...

Рвётся канонада, свистит ветер. Снег идёт, как шёл. Он ничего не знает о бое, с ним нельзя договориться, его нельзя победить, у снега своя правда. Я расправляю крылья – защитить хозяина, уберечь. Мне он нравится, жалко теперь терять. Сеня споро подвезит боеприпасы и мины, умело управляясь с лошадьми, разговаривая с ними, как с людьми, то ласково, то строго. По склону Шапки катятся и катятся тёмные черкески – его боевые товарищи. Он смотрит на них и не может понять: как тут победить. Сплошной огонь станковых и ручных пулемётов – под таким шквалом и муха не пролетит, а они ж люди. Сеня разворачивает повозку и направляет к устью реки Цице. Санитарки стаскивают туда раненых солдат, пытаются оказать ребятам первую помощь. Он едва успевает подобрать пару человек, как фрицы прорываются в долину. Помогая девушкам укладывать раненых, Сеня с трудом заставляет себя не вжимать голову в плечи. И шепчет все молитвы, которые не так уж часто говорил вслух, оставляя право обращаться к Богу за своей женой.

Они продвинулись по фронту всего на семьсот метров – ценою семи сотен раненых и убитых. Один метр – одна жизнь. Непомерная, несправедливая ставка, но попробуй не заплати, думает Сеня, прижавшись к лошадиной морде. Тёплое дыхание успокаивает. Перцовка греет его нутро. А на сердце холодно. Он подсаживается к костру и заводит «Чёрного ворона». Я не твой, не твой – разносит горное эхо. Трещет морозный воздух.

Войну нельзя обхитрить, с ней нельзя договориться, Сеня рассматривает заострившиеся, пустые лица казаков. Сколько не дай, она возьмёт всё и даже больше. Пусть и не убьёт, про неё всё равно не забудешь. Она станет твоим советчиком. Ты будешь показывать ей своё счастье, своё горе и спрашивать: «Это важно?». И она никогда не ответит: «Да». Потому что в твоей жизни не будет ничего важнее её. Те, кто смог выдержать её крепкий поцелуй, знают это.

Я слышу безумный бег его сердца и стараюсь обнять покрепче, надёжнее защитить от стужи. Люди способны на многое. И они так беспомощны.

Мы возвращаемся домой.

За спиной – руины Европы и человеческих жизней. Сеня не вспоминает бои. Он вспоминает лица. Удивлённое, искажённое страхом лицо совсем молодого немца – они гонят их отряд из Праги, солдатик всё время оглядывается, на миг останавливается, будто требует: «Не стреляй в спину! Лучше так...». Измождённые, потухшие лица пленников Освенцима – Сеня перерезает колючую проволоку, освобождая заключённых, но многие так и не решаются шагнуть. Дело не в проволоке, понимает Сеня. И не в шагах. Куда бы они ни пошли, их Освенцим останется внутри. Они унесут его с собой.

Разруха Берлина удивляет Сеню. Они так долго боялись этой колыбели Гитлера, так яростно ненавидели всё, что связано с фашистами, – насмотрелись на их бесчинства, а город так же несчастен, как любой боец, потерявший себя в бессрочной войне. Сеня радуется, что скоро домой и боям конец, но он не чувствует триумфа, эта победа далась слишком тяжело.

Пробоины бесстыдно обнажают внутренности домов, выставляя напоказ чью-то бытовую жизнь – там занавеска зажата грудой камней, тут среди руин стоит плита, сверху чайник. Он не ходит по домам, это всё чужое – чужое горе, чужие вещи не принесут добра. Подбирает лишь маленькую швейную машинку, одиноко лежащую на обломках – по виду оставшихся от фабрики. Да со склада рядом осмеливается взять два отреза. Всё-таки его ждут дома женщины. Большая и маленькая.

А маленькая женщина его тем временем не узнаёт. Он уже переступил порог квартиры, пережив дурман счастья – вернулся, все живы, дом цел! Отмороженные на перевале Хакуч ноги, язва желудка от голодовки в горах, лица погибших – друзей и врагов, его израненная память – всё в прошлом. Он пробует понять, осознать – мирная жизнь, семья, быт. Чистая комната, накрахмаленные накидки на подушках, открытые ставни, пайка чёрного хлеба в мисочке на столе.

Аллочке четыре, она серьёзно смотрит на его впавшие щеки, длинные казачьи усы, на шапку-кубанку, на нарядную тёмно-синюю черкеску с серебряными газырями, на пыльные сапоги, на кинжал.

– Это не мой папа! – говорит Аллочка. – Вот мой папа! – и она указывает на довоенное фото.

Сеня смотрит на фотографию и сам себя не узнает. Чего ж они хотят от ребёнка?

Он обнимает Ирину, осторожно подходит к девочке, гладит по голове. Придётся знакомиться. Он постарается, он наверстает. На сердце теплеет, в синих упрямых глазах дочери он видит надежду. Когда-нибудь он забудет о колючей проволоке. Когда-нибудь...



Меня хранят в сундуке вместе с черкеской, кубанкой и кинжалом. Ордена Сеня снял и отдал шестилетней Аллочке – пусть играет. Сперва за ордена выдавали вознаграждение – так у дочки появился велосипед. Но вскорости власть забыла про своих солдат. «Если награды не ценят те, кто их дает, то чего мне с ними носиться», – думает Сеня, закуривая папиросу.

Он хочет забыть войну. Очень хочет. Наверное, поэтому фотокарточка не получилась – Сеня надел свою казацкую форму, расчесал усы, привесил на пояс кинжал. Но какой-то сопляк в ателье ему доказывал, что бумага засветилась, непредвиденные обстоятельства, то да сё. К тому времени, как они снова собрались фотографироваться, усы он уже сбрил и форму запрятал подальше в сундук. Пошёл как есть – зато нарядная Ирина и Аллочка в матроске рядом.

Нам вдвоём трудно привыкать к мирной жизни. Я пылюсь без дела, перебирая в складках эхо былых сражений. Сеня работает на железной дороге, в пересменку мастерит что-то для дома, для соседей, балагурит, поёт.

– Сеню! Нам бы шкаф новый! – Ирина стоит в дверях, смотрит и ждёт.

Сеня недоумённо оглядывается. У них же всё есть! Стёкла в окнах целые, сквозь открытую форточку доносится щебет птиц. Стол, покрытый вышитым рушником. Цветастые коврики-радюшки под ногами. Сундук, на котором спит Аллочка. В углу сервант. Кровать – чистая, красиво застелена. Под кроватью ценные запасы – яйца, мука, сахар – скоро Пасха. У ног Ирины трётся соседский поросёнок, она отгоняет его – чего доброго выметет всё, что они так долго собирали для Пасхи.

– Зачем? – удивляется Сеня. – Вот загремит, и что с этим шкафом будешь делать?

Ирина настойчивая, и шкаф всё-таки заменяет сундук. У меня появляется новый угол, у Ирины новая мебель. Но мысли Сени всё те же: «Вот загремит...».

Уютно свернувшись на нижней полке, я знаю, что никогда не вернусь к чистому воздуху гор, протяжным орлиным крикам, застрявшему в скалах туману...

Его зовут Марк, и с ним Сеня становится прежним. Он прекращает советоваться с войной. Хотя у Марка есть, что сказать – он тоже дошёл до Берлина. Но о войне друзья не говорят. Играют в домино, пьют перцовку, танцуют и поют, как давным-давно танцевали и пели Сенины родичи – всей бедной семьёй в шестнадцать детей.

Иногда они накидывают меня на плечи. И я кружусь, обняв мужчин – защищая и отдавая всю себя. Влажный морской воздух становится суше и звонче, и, раскинув крылья, надо мной парит не ворон, но орёл.

НАДЕЖДА СЕРЕДИНА

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

НОВЕЛЛА

Весело течёт по лесостепи, ныряя в кустарниковые заросли, шелестя камышом, река со странным названием Битюг. Орехи, малина, земляника – чудо лес вдоль реки, почти райский. Но райское время для Битюга от апреля до ноября. Зимой Битюг спит, спрятавшись подо льдом и снегом. На правом берегу Битюга посёлок Анна с Христорожественской церковью, с 1788 года, со времен князей Барятинских.

А по левую – лесное зверьё, кабаны да лоси, бобры да зайцы да иная лесная живность.

Когда перевалит за шестьдесят, иногда хочется окунуться в реку чистых воспоминаний, в детство.

Ночью ему часто снится сон, что он – это река. Весной они с матерью собирали ландыши, сплошным ковром устлавшие пойменный лес. Лето, оно короткое. И Владик бежит босиком по речному серебрящему песку, чтобы бултыхнуться с невысокого глинистого обрывчика.

А внизу реки – раки. Он хватает одного, но рак борется, пятится под корягу. Рак спрятался. А вот улитки. Они прячутся в самих себя, как мальш, закрывающий лицо руками. Но дальше своего панциря-коробочки улитки спрятаться не могут.

На берегу – мама, и белые бабочки порхают вокруг неё. Она привела сына к реке, чтобы летом зарядиться солнцем, счастьем, теплом и светом. А отец – он всегда занят, его работа – служба, он военный.

Вот и сентябрь. Школа от реки далеко. Лето пролетело и завтра в школу, и папа не пойдёт с ним на первый звонок, хоть Владик его и очень просил. Мама с большим букетом бордовых гладиолусов улыбается. Она привела его на школьный двор, отдала букет и сына учительнице. Мария Ивановна взяла величавые и спокойные цветы и настороженно-взволнованных детей и повела в класс.

Из окна, через площадь, был виден военкомат, поэтому Владик не было грустно, папа ведь тоже смотрит на него в окно из военкомата. Там Владик был у папы и видел из окна свою будущую школу. А на столе у учительницы бордовые, огненные, как солнце, гладиолусы – это мамина улыбка.

...Машина везла Владислава в аэропорт. Но до самолёта было ещё пять часов и на него нахлынула волна, откуда-то из глубины детства. Захотелось вдруг прикоснуться к школьной парте, услышать звонок на перемену, и особый шум школьной перемены.

– Успеем в Анну заскочить? – задорно спросил он водителя.

– А что? Попробуем, – согласился водитель и переключил скорость, выезжая на большую трассу.

Трасса уходила на северо-восток, туда шла и одноколёйка, там тупик железнодорожный. Даже гражданская война обошла стороной посёлок Анна. У Андрея Платонова в «Чевенгуре» почти все события проходили на крупных узловых станциях, а в Аннинский тупик его герои даже не заглядывали. Сюда и сама советская власть шла не спеша, словно давая людям приспособиться к новым законам, не разрушая в спешке ни храмов, ни дворцов и хижин. Да и дворцов здесь особых не было.

Князь Барятинский, говорят, не навещался сюда, а люди: и крепостные, и государственные, и монастырские жили общинно.

И Гитлер не дошёл до Анны, хотя путь-то всего сто вёрст от боевых действий. Тупик. Беженцы, не успевшие эвакуироваться в Узбекистан, оставались в Анне, спасаясь от войны.

Воронеж – город-герой – с землёй сравнивали. Правый берег, ещё Петром Великим отстроенный, был в руинах.

Особое это село, с названием Анна. Богородица Мария рождена Анной. Машина притормозила у храма. И зазвонили во все колокола. Чудо. Владислав сам вышел спросить у аннинцев, где же школа-то. Метель занималась всё веселее, обдавая снежком. Всё белым-бело, словно чистый лист бумаги предлагал кто-то, переписать свою жизнь заново. Аннинцы, удивлённо смотрели на него и шагали между сугробами, одни в сторону храма, другие в сторону военкомата. Военный человек был его отец, стал военным и сын. В советское время всё было понятно: работали для народа, для Родины.



А школа где? Храм есть, а школы нет, будто и не было. Но была же! Послевоенные школьные парты были не похожи на современные школьные столы. Сама доска стола наклонена была вперёд, и крышка открывалась. И спинка была, а под ногами – подставка. Сиденье – лавочка на двоих. И углубление с краю крышки стола – для чернильницы.

Анна Ивановна объяснила, как правильно сидеть. Спину прямо, а руки, сложив одну на другую, так, чтобы пальцы касались локтя.

А Владику это показалось смешным, руки прятались, как улитки. У девочки с белым бантом тоже руки лежали улиткой. И он уронил голову на парту и засмеялся. Девочка тоже рассмеялась. И бант, как белая бабочка, трепыхался.

И лысый мальчик на первом ряду прыснул со смеху. И девочки повернулись и тоже стали смеяться. И махали шёлковыми крылышками их банты.

– Расскажи всем, что ты смеёшься? – подошла к нему Анна Ивановна и тронула его за плечо. Она сразу поняла, что он был заводила, зачинщик. И решила, что он будет командиром звёздочки. А потом он стал командиром пионерского отряда. И окончил школу с золотой медалью.

Он поднял голову: оказалось, смеяться на уроке нельзя? И класс затих, втягивая головы, словно улитки, складывали руки.

А учительница посмотрела на всех и сказала:

– Мне тоже очень весело. Я рада, что вы пришли. Я теперь у вас буду вторая мама, как написал Андрей Платонов. Писатель с нашего Воронежа. Сегодня у вас будут уроки чистописания и рисования.

И был домик учительницы, был же рядом со школой, и был сад. Школа где? Под снос? На снос? До основания? Сон-сад. Душу ранили. Заметает упрямо голубая метель. Я сюда возвращусь. Вернусь. Вот же поэт писал о себе, а получилось и полковника проняло. Смахнул слезу. Знал Анатолия Поперечного и с братьями Радченко познакомился на юбилее Любови Белогородцевой. Судьба на хороших людей не обидела.

– Сейчас выйду и ещё спрошу, – притормозил водитель, понимая полковника.

...Владислав, вынырнув из воспоминаний, выскочил сам из машины и нетерпеливо крикнул прохожему:

– А где же школа?

Но тот прохожий, увидев пагон, заторопился по кривой тропинке в сугробе.

– Да я же помню. Тут она была. И учительницу помню. Анна Ивановна нам приносила чай и хлеб. И кормила нас. И мы ждали её на крыльце школы.

А снег, белый, чистый, укрывал нас словно пеленами. После войны и снег казался другим, белее, чище, не тот, что на войне.

...Через полчаса, водитель выехал на трассу и, переключив скорость, погнал машину, боясь опоздать к самолёту. Метель стала отставать, и полковнику показалось, что он перегоняет не только метель, но и время, как только они выехали из посёлка городского типа. Чем заполнить пространство времени между детством и зрелостью, когда года к суровой прозе клонят? Но ведь была же там старая школа. Где она? Снег, пахнувший ландышами. Тропинки, вытоптанные среди сугробов, колокольный звон. Храм над заснеженной Анной. И словно раскрывался перед ним чистый лист бумаги, словно жизнь вся впереди. И сейчас выйдет Анна Ивановна с чёрным чаем и белым хлебом и поведёт их в свой сад.

ДМИТРИЙ ВОРОНИН

КАМЕННЫЙ КЛАУС рассказ

Юный Клаус Штейн вот уже битых шесть минут с остервенением давил и давил на кнопку взрывного устройства, но всё было напрасно, оно не срабатывало. Клаус Штейн разрыдался. Через минуту он выскочил из укрытия и, что было сил, побежал вдоль старого еврейского кладбища по направлению к ещё более старой синагоге. Когда до цели оставалось не более ста пятидесяти метров, Клаус Штейн нажал на курок автомата. Эта еврейская семейка вся легла у его ног. И отец, и мать, и две девочки-близняшки, и этот розовощёкий десятилетний мальчишка, тащивший за собой самокат. Клаус Штейн сразу определил виновника своей неудачи, у мальчишки из кармана коротких штанишек торчал кусок провода, того провода, который вёл к взрывному устройству. Юный Клаус Штейн мог бы доказать этот факт, но кому это сейчас было интересно, перед кем оправдываться, когда не исполнен приказ. Оставалось только пнуть с досадой убитого мальчишку и бежать прочь, подальше от собственной смерти, которая приближалась на броне русского танка, выворачивающего на улицу Майзела с Широкой улицы.

Очень старый Клаус Штейн приехал в Прагу спустя семьдесят три года. Он никогда не думал о том, что вернётся в этот город своего позора, но последние лет шесть ему бесконечно снились кошмары о невыполненном приказе. Клаус Штейн никому не рассказывал о своём проколе, даже жене. Может быть, он и поделился бы с ней этим в конце концов, но она уже двадцать лет была мертва, она умерла задолго до его навязчивых воспоминаний о сорванном задании.

Клаус Штейн не хотел обращаться к врачу, но несколько месяцев тому назад привокзальная цыганка неожиданно схватила его за руку и, глядя в глаза, тихо прошептала: «Ты должен туда поехать». Старик не стал ничего переспрашивать, он даже не удивился.

Клаус Штейн приехал в Прагу ровно в тот день, когда семьдесят три года тому назад в ярости нажимал и нажимал на кнопку взрывного устройства в надежде на отмщение тем, кто когда-то предал Христа. У него был приказ взорвать Староновую синагогу, в которой нашли убежище на излёте свирепой войны несколько десятков еврейских семей, сумевших сохранить каким-то чудом свои жизни.

Клаус Штейн приехал в Прагу в надежде освободиться от тех видений, которые преследовали его последние годы и высасывали его драгоценное здоровье. Он вернулся в прошлое, чтобы обрести настоящее.

Опираясь на изящную трость, Клаус Штейн медленно шёл от Староместской площади по Парижской улице в сторону еврейского квартала Йозефов. Он не спешил. Вечерело. В какой-то момент старик свернул на улицу Червеную и оказался в еврейском предместье. Пройдя ещё один квартал, Клаус Штейн устало опустился на скамейку, стоящую напротив выхода из старой синагоги. Молитвенный дом был уже закрыт.

Клаус Штейн тяжело дышал, он был стар, и неблизкая дорога сильно утомила его. Старик прикрыл веки и стал ждать.

Так прошёл час, потом другой. Улицы вокруг синагоги опустели, город окутала ночь. Клаус Штейн продолжал в глубокой задумчивости сидеть на скамейке, не ощущая майской ночной прохлады.

Ровно в полночь из синагоги вышел высокий мужчина крепкого телосложения. Он на минуту остановился, поднял воротник плаща, чуть савинул на лоб шляпу, вытащил из пачки сигарету и закурил. Бросив спичку в урну, незнакомец неспешно направился к скамейке Клауса Штейна.

Казалось, что Клаус Штейн уснул. Мужчина положил свою тяжёлую руку на плечо старика. Через мгновение все тело Клауса Штейна задёргалось в конвульсиях, лицо в свете фонаря побледнело и открылось потом. Ещё миг, и Клаус Штейн в ужасе побежал по улице Майзела в сторону Широкой улицы. Там он резко свернул и помчался по направлению к Влтаве.

Клаус Штейн бежал. Это было удивительно. Бежал старик, бежал, как юный мальчишка, быстро и легко. Ничто в нем и близко не напоминало согбенного инвалида с тростью в руке. Куда-то исчезли одышка и хромота, куда-то исчезли девять десятков прожитых лет. Клаус Штейн бежал, как тогда, в мае сорок пятого, когда он удирает от русского танка, неожиданно выехавшего на улицу, что вела к так и не взорванной им синагоге. Клаус Штейн вновь стал молодым.



Штейн бежал во всю прыть, пока, споткнувшись о брошенный детский самокат, не упал навзничь, сильно ударившись обо что-то головой. Клаус Штейн потерял сознание.

Очнувшись через какое-то время, Клаус Штейн неожиданно для себя разрыдался. Он давно так не рыдал. Пожалуй с того случая, когда произошёл этот досадный сбой с уничтожением синагоги. В течение получаса Штейн никак не мог успокоиться. Его трясло, как в лихорадочном ознобе. Но постепенно всхлипы затихли, и истерика прекратилась.

Клаус Штейн стал осматриваться кругом. И чем быстрее он понимал, куда занесло его необычное преследование, тем тяжелее становилось у него на сердце. Эта тяжесть усиливалась от ощущения движения сотен и сотен могильных надгробий, окружавших со всех сторон Штейна. Тяжесть в груди усиливали и кладбищенские деревья-исполины, росшие тут с незапамятных времён. При свете луны, они, будто сказочные чудовища, размахивали своими ветвями, создавая иллюзию присутствия рядом со Штейном множества душ умерших евреев. Клаус Штейн чувствовал, что теряет рассудок. Казалось, ещё чуть-чуть, и он окончательно сойдёт с ума.

И в этот момент метрах в восьми от Штейна из-за надгробных плит неожиданно появилась группа людей. Впереди шли мужчина и женщина, за ними две девочки одинакового роста, и, чуть приотстав, мальчишка лет десяти. Мальчик на мгновение остановился, поднял с земли самокат и повернул голову в сторону Клауса. Штейна. Этого было достаточно, чтобы Клаус узнал его. Штейн убил этого мальчишку тогда, в мае сорок пятого. Убил его и всю его семью. Расстрелял в упор из пмайсера. Расстрелял и расстрелялся.

Клаус Штейн засмеялся и сейчас. Засмеялся, как смеялся только в юности, открыто и счастливо. Смех придавал ему сил. Клаус Штейн встал и украдкой последовал за убитой семейкой. Покинув кладбище, он осторожно продолжал идти за ними, стараясь бесшумно ступать по брусчатке. Штейн выслеживал их, чтобы убить окончательно, раз и навсегда.

Улица Широкая сменилась менее широкой улицей, потом ещё менее и ещё, пока не сузилась до двухметровой ширины. В конце последней улицы в тусклом свете одинокого фонаря, в старом двухэтажном обветшалом здании, обнаружилась деревянная дверь, источенная жучком. Глава ненавистной семейки взялся за дверное кольцо и выпустил жену с детьми внутрь.

Через минуту туда же проник и Клаус Штейн. Подойдя к лестнице, ведущей на второй этаж, Штейн вдруг резко обернулся. Позади него не было двери. Позади него была сплошная каменная стена. У стены стоял давешний незнакомец. Он снял шляпу и широко улыбнулся: «Добро пожаловать в ад, юный Клаус Штейн, добро пожаловать в каменный ад, в ад вечного безмолвия».

Юный Клаус Штейн узнал незнакомца. Он читал о нём в книге, случайно попавшей в его руки, перед тем, как выполнить приказ по взрыву Староновой синагоги.

Это был Голем.

* Голем – глиняный великан, которого, по легенде, создал праведный раввин Лёв для защиты еврейского народа. Лепится из красной глины в рост 10-летнего ребенка, имитируя, таким образом, действия Бога.

РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН

в переводах с английского Игоря Лосинского (из книги «Подлесок»)

ENVOY

Go, little book, and wish to all
Flowers in the garden, meat in the hall,
A bin¹ of wine, a spice of wit,
A house with lawns enclosing it,
A living river by the door,
A nightingale in the sycamore!

ПОСВЯЩЕНИЕ

Книга, желай всем и всегда:
Пусть будут в доме цветы и еда,
Игра ума, подвал с вином,
Газонов зелень под окном,
Живая речка за стеной
И соловей в листве густой.

NOT YET, MY SOUL...

Not yet, my soul, these friendly fields desert,
Where thou with grass, and rivers, and the breeze,
And the bright face of day, thy dalliance hadst;
Where to thine ear first sang the enraptured birds;
Where love and thou that lasting bargain made.
The ship rides trimmed, and from the eternal shore
Thou hearest airy voices; but not yet
Depart, my sould, not yet awhile depart.

Freedom is far, rest far. Thou art with life
Too closely woven, nerve with nerve intertwined;
Service still craving service, lost for love,
Love for dear love, still suppliant with tears.
Alas, not yet thy human task is done!
A bond at birth is forged; a debt doth lie
Immortal on mortality. It grows –
By vast rebound it grows, unceasing growth;
Gift upon gift, alms upon alms, upreared,
From man, from God, from nature, till the soul
At that so huge indulgence stands amazed.
Leave not, my soul, the unfoughten field, nor leave
Thy debts dishonoured, nor thy place desert
Without due service rendered. For thy life,
Up, spirit, and defend that fort of clay.

Thy body, now beleaguered; whether soon
 Or late she fall; whether to-day thy friends
 Bewail thee dead, or, after years, a man
 Grown old in honour and the friend of peace.
 Contend, my soul, for moments and for hours;
 Each is with service pregnant; each reclaimed
 Is as a kingdom conquered, where to reign.
 As when a captain rallies to the fight
 His scattered legions, and beats ruin back,
 He, on the field, uncamps, well pleased in mind.
 Yet surely him shall fortune overtake,
 Him smite in turn, headlong his ensigns drive;
 And that dear land, now safe, to-morrow fall.
 But he, unthinking, in the present good
 Solely delights, and all the camps rejoice.

НЕТ, НЕ СЕЙЧАС, МОЯ ДУША...

Душа моя, сейчас не оставляй
 Полей приветных, там, где ты с травой,
 С рекою, с ветром коротала час;
 Где для тебя звучала птичья трель;
 Где ты с любовью заключила договор.
 Корабль в пути, и с вечных берегов
 Ты слышишь голоса; душа, покинь,
 Но не сейчас, покинь, но не сейчас.

Как далеки свобода, отдых. Жизнь
 С тобою слишком тесно сплетена,
 И составляют пару с нервом нерв;
 За службой служба новая грядёт,
 Потерянные для любви, опять
 Слезой готовы вымолить любовь.
 Твой на земле ещё не пройден путь!
 Куётся сразу, при рождении связь:
 Бессмертью крупно задолжала смерть.
 Долг выдан под невиданный процент
 И он безостановочно растёт;
 Подарки, подаянья и дары
 От Бога, от природы, от людей,
 Пока душа от милостей таких
 Огромных, не замрёт, поражена.
 Без боя поле битв не оставляй,
 Душа моя, с долгами расплатись,
 Свою обитель просто так не брось.
 Во имя жизни пусть воспрянет дух
 И защитит свой глиняный оплот.
 В осаде тело. Что ни говори,
 Оно падёт. Сегодня ли друзья
 Тебя оплачут или много позже,
 Когда ты будешь мудрым стариком.
 Борись, душа, за час, за миг борись:
 Любой из них свершеньями чреват,
 И каждый, что ты в силах отстоять,
 Как завоёванного царства трон.
 Так полководец собирает вновь
 Разрозненные легионы, – мстить
 Он в битве собирается врагу.



Не знает он, – ведёт его судьба;
Его избрав орудием своим,
Она его штандарты бросит в бой;
Страна, донныне крепкая, падёт.
Ну, а пока – доволен он собой,
И воины ликуют в лагерях.

THE CANOE SPEAKS

On the great streams the ships may go
About men's business to and fro.
But I, the egg-shell pinnace, sleep
On crystal waters ankle-deep:
I, whose diminutive design,
Of sweeter cedar, pithier pine,
Is fashioned on so frail a mould,
A hand may launch, a hand withhold:
I, rather, with the leaping trout
Wind, among lilies, in and out;
I, the unnamed, inviolate,
Green, rustic rivers, navigate;
My dripping paddle scarcely shakes
The berry in the bramble-brakes;
Still forth on my green way I wend
Beside the cottage garden-end;
And by the nested angler fare,
And take the lovers unaware.
By willow wood and water-wheel
Speedily fleets my touching keel;
By all retired and shady spots
Where prosper dim forget-me-nots;
By meadows where at afternoon
The growing maidens troop in June
To loose their girdles on the grass.
Ah! speedier than before the glass
The backward toilet goes; and swift
As swallows quiver, robe and shift,
And the rough country stockings lie
Around each young divinity
When, following the recondite brook,
Sudden upon this scene I look.
And light with unfamiliar face
On chaste Diana's bathing-place,
Loud ring the hills about and all
The shallows are abandoned.

ЛОДКА РАССКАЗЫВАЕТ

Средь волн морских снуют суда
Для дел людских туда-сюда.
А я – баркас из скорлупы,
Один на отмели застыл.
Я, чей миниатюрный строй,
Рождённый кедром и сосной,
Так лёгок, что легко понять,
Как мной рукою управлять;
По глади скромных сельских рек
Я осторожно правлю бег;



Плыву средь лилий водяных,
 Форелью извиваясь в них;
 И ежевику на кустах
 Весла едва тревожит взмах;
 Вдаль, позади густых садов,
 Зелёный путь вести готов;
 Скольжу в тиши, а вдоль реки –
 Влюблённые и рыбаки.
 Средь ив и мельничных колёс
 Вперёд летит мой острый нос,
 Среди укромных уголков
 И голубых лесных цветов,
 Среди лугов, где в летний зной
 Собрались девушки гурьбой
 Девичий пояс развязать.
 И вот уж начали снимать,
 Быстрее, чем летят выюрки,
 Рубашки, юбки и чулки;
 Стоят босые божества,
 Примята платьями трава.
 Такими и застал их я
 Внезапно около ручья.
 В купальню дев чужой проник,
 К Диане непорочной! Крик
 Холмы в округе облетел,
 И место опустело.

TO MRS. WILL H. LOW

Even in the bluest noonday of July,
 There could not run the smallest breath of wind
 But all the quarter sounded like a wood;
 And in the chequered silence and above
 The hum of city cabs that sought the Bois,
 Suburban ashes shivered into song.
 A patter and a chatter and a chirp
 And a long dying hiss – it was as though
 Starched old brocaded dames through all the house
 Had trailed a strident skirt, or the whole sky
 Even in a wink had over-brimmed in rain.

Hark, in these shady parlours, how it talks
 Of the near autumn, how the smitten ash
 Trembles and augurs floods! O not too long
 In these inconstant latitudes delay,
 O not too late from the unbeloved north
 Trim your escape! For soon shall this low roof
 Resound indeed with rain, soon shall your eyes
 Search the foul garden, search the darkened rooms,
 Nor find one jewel but the blazing log.

12 Rue Vernier, Paris



ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОСПОЖЕ УИЛЛ Х. ЛОУ

Здесь в самый голубой июльский день
 Не будет даже дуновенья ветра;
 Но весь квартал звучит, как будто лес,
 И в тишине изменчивой, и над
 Шуршанием спешащих экипажей
 Дрожа, слагают ясени мотивы.
 Неясный звук, стук, шелест, трепетанье
 И шорох, тающий вдали – как будто
 Прошла по дому чопорная дама
 В парчовой юбке, или небеса
 Дождём в мгновенье ока налились.

Да, в этих мрачных залах всё твердит
 Об осени грядущей; в страхе ясень
 Грозит потопами! Я вас прошу
 Недолго быть в изменчивых широтах,
 Оставить север вами нелюбимый
 Прошу вас! Очень скоро здесь по крыше
 Дождь застучит, искать глазам придётся
 В саду опавшем, в потемневшем доме
 Не ценности – горящие дрова.

*Улица Вернье, 12, Париж*¹

¹ По этому адресу семья Лоу жила в августе 1886 года, когда у них гостили Р.Л.С. с женою. Это был последний приезд Р.Л.С. в Париж и в Европу.

THE HOUSE BEAUTIFUL

A naked house, a naked moor,
 A shivering pool before the door,
 A garden bare of flowers and fruit
 And poplars at the garden foot;
 Such is the place that I live in,
 Bleak without and bare within.

Yet shall your ragged moor receive
 The incomparable pomp of eve,
 And the cold glories of the dawn
 Behind your shivering trees be drawn;

And when the wind from place to place
 Doth the unmoored cloud-galleons chase,
 Your garden gloom and gleam again,
 With leaping sun, with glancing rain.

Here shall the wizard moon ascend
 The heavens, in the crimson end
 Of day's declining splendour; here
 The army of the stars appear.



The neighbour hollows dry or wet,
Spring shall with tender flowers beset;
And oft the morning muses see
Larks rising from the broomy lea,

And every fairy wheel and thread
Of cobweb dew-bediamonded.
When daisies go, shall winter time
Silver the simple grass with rime;

Autumnal frosts enchant the pool
And make the cart-ruts beautiful;
And when snow-bright the moor expands,
How shall your children clap their hands!

To make this earth, our hermitage,
A cheerful and a changeful page,
God's bright and intricate device
Of days and seasons doth suffice.

ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ

Болото голое и дом,
И мёрзнет лужа под окном,
Сад пуст, нет ни плодов, ни роз,
И тополя стоят вразброс.
Таков мой дом: как ни смотри,
Снаружи мрачен, пуст внутри.

Но дарит нищете болот
Закат красоты из красот,
Рассвет, блистающий в лучах,
Встаёт в дрожащих тополях.

Но галеоны облаков
Шлёт ветер вдаль от берегов;
И будет сад мрачнеть, мерцать,
И солнце плять, и дождь скакать.

И здесь волшебная луна
Взойдёт в малиновых тонах
Угасшей роскоши дневной;
Здесь сонмы звёзд над головой.

Ложбин соседних грустный вид
Весна цветами оживит;
Мечтатель, что с зарёй встаёт,
Увидит жаворонка взлёт.

А с паутиной – чудеса:
На ней алмазная роса,
И травы, что растут кругом,
Зима осыплет серебром.



Мороз осенний сделать смог
Красивой даже грязь дорог.
Засыпавший болота снег
Услышит громкий детский смех.

Земля – наш дом и скит, и мы
На ней в весельи жить вольны,
Коль щедро одарил нас Он
Чудесной сменою времён.

SKERRYVORE: THE PARALLEL

Here all is sunny, and when the truant gull
Skims the green level of the lawn, his wing
Dispetals roses; here the house is framed
Of kneaded brick and the plumed mountain pine,
Such clay as artists fashion and such wood
As the tree-climbing urchin breaks. But there
Eternal granite hewn from the living isle
And dowelled with brute iron, rears a tower
That from its wet foundation to its crown
Of glittering glass, stands, in the sweep of winds,
Immovable, immortal, eminent.

СКЕРРИВОР: ПАРАЛЛЕЛЬ¹

Здесь солнечно вокруг; когда беспечно чайка
Скользит вдоль зелени газонов, под крылом
Роз лепестки летают; здесь построен
Маяк из кирпича и горных сосен.
Такую глину скульптор мнёт, а ветки,
Карабкаясь наверх, ломают дети,
Но в теле острова был высечен гранит,
И он, скреплённый сталью, в основаны;
Маяк стоит, от основания до крыши,
Стеклом сверкающей, в бушующих ветрах,
Недвижимый, бессмертный, превосходный.

¹ «Параллель» – предположительно потому что в честь маяка Р.А.С. назвал «Скерривор» свой дом в городе Борнемут (Bournemouth), графство Дорсет, Англия, на берегу Ла-Манша. Там он написал ряд произведений, в частности, «Детский Сад стихов». Дом разрушен во время Второй мировой войны.

«SAY NOT OF ME THAT WEAKLY I DECLINED»

Say not of me, that weakly I declined
The labours of my sires, and fled to sea,
The towers we founded and the lamps we lit,
To play at home with paper like a child.
But rather say: In the afternoon of time
A strenuous family dusted from its hands
The sand of granite, and beholding far
Along the sounding coast its pyramids
And tall memorials catch the dying sun,
Smiled well content, and to this childish task
Around the fire addressed its evening hours.



«НЕ ГОВОРИТЕ ОБО МНЕ, ЧТО СЛАБ И ОТКАЗАЛСЯ»

Не говорите мне, что слаб, и отказался
 От дел отцов своих и убежал я в море;
 Мы башни строили, огни мы зажигали,
 Чтoб дома с книгами играть, совсем как дети.
 Скажите лучше так: Когда пробило полдень,
 Трудолюбивое семейство с рук стяхнуло
 Гранита пыль, и далеко вдали увидев,
 Как пирамиды, что стоят вдоль побережья,
 И монументы луч закатный отражают,
 С улыбкою довольной, детским этим играм
 Досуг вечерний посвятило у камина.

«SING CLEARLIER, MUSE...»

Sing clearer, Muse, or evermore be still,
 Sing truer or no longer sing!
 No more the voice of melancholy Jacques¹
 To wake a weeping echo in the hill;
 But as the boy, the pirate of the spring,
 From the green elm a living linnet takes,
 One natural verse recapture – then be still.

«ЯСНЕЙ ПОЙ, МУЗА...»

Ясней пой, Муза, иль навеки замолчи,
 Пой искреннее, или вообще не пой!
 Ну, где же голос твой, Меланхолический Жак,
 Чтoб эхо горное вдруг разбудить в ночи?
 Но как мальчишка, что, пиратствуя весной,
 Снимает с ветки дерева чижка,
 Один, но верный стих возьми – и замолчи.

REQUIEM

Under the wide and starry sky
 Dig the grave and let me lie.
 Glad did I live and gladly die,
 And I laid me down with a will.

This be the verse you grave for me;
Here he lies where he longed to be,
Home is the sailor, home from sea,
And the hunter home from the hill.

РЕКВИЕМ¹

Под небом огромным, где звёзды горят,
 Ройте могилу, вершите обряд.
 Радостно жил я и лечь буду рад.
 Мой посмертный завет таков.



Пусть будут стихи на могиле моей:
Здесь он лежит по воле своей.
Моряк вернулся домой из морей,
...И охотник домой с холмов.²

¹ заупокойная месса.

² спокойствие, мир, покой.

*Последние три строчки стихотворения украшают надгробную плиту писателя на вершине горы Ваза на острове Уполу (Западное Самоа).
Одна из черновых версий Requiem (согласно Grolier Club's First Editions of the Works of Robert Louis Stevenson, 1915) содержит в середине до-
полнительное четверостишие, которое автор не включил в окончательный вариант стихотворения:*

Here may the winds about me blow;
Here the clouds may come and go;
Here shall be rest for evermore,
And the heart for aye shall be still.

Здесь будут ветра надо мной горевать;
И облака – прилетать, улетать;
Здесь, где я вечно буду лежать,
Успокоить сердце готов.

АНДРЕЙ НИКИТИН

Я ВИДЕЛ ИХ рассказ из цикла «Мы не одни»

Игорь сидел во дворе в старом кресле. В руке бутылка пива, глаза закрыты, голова откинута. Босые ноги лежали на влажной траве. Он слушал щебетание птиц, греясь на солнышке после купания в бассейне. Такая жизнь не может надоесть. Глоток холодного пива, и Игорь отложил бутылку, привстал.

– Игорь, ты слышала, что показывали по телевизору? – донёлся голос супруги.

– Снова перевыборы? – спросил мужчина, потянувшись. Он зевнул, оглядел поля, старую разбитую дорогу, лес, что начинался сразу за домом, и двинулся по коротко постриженному газону в дом. Супруга сидела на диване перед телевизором и сжимала в руке тряпку. Она была взволнована.

– Что случилось, Лиля?

– Тсс, послушай.

– ...и оставили всё как было. Вещи разбросаны по улице. Вспышка показалась чем-то средним между громовой молнией и ураганным ветром, соседи утверждали, что слышали порыв ветра, но никого не видели. Хозяева дома видели загадочный силуэт, и больше ничего. Всё произошло слишком быстро.

– Что ты смотришь? – спросил Игорь.

– Это случилось сегодня. Как думаешь, что это могло быть? Посмотри на разрушения.

Игорь уже хотел уйти, но нехотя обернулся и увидел кадры разрушенного дома, по виду которого можно было сказать, что пронёсся ураган. Всё было будто вывернуто наизнанку. Мебель и всё, что раньше находилось в помещении, было разбросано по улице, хозяева, обёрнутые в одеяла, сидят в карете скорой и рассказывают о сильнейшем ветре, появившемся, казалось, внутри дома.

– Я думаю, это взорвалась старая граната, лежащая у старика, – сказал Игорь, – посмотри на его вид. Он сам не знает, что говорит. Сразу видно, что он врёт.

– Игорь, это уже третье происшествие на этой неделе.

Игорь не дождался, пока ведущая озвучит предположения, и вышел из помещения.

Был вечер. Игорь сидел у окна и писал. Он глотнул чая, задумчиво смотрел на собственное отражение в стекле, затем почесал ручкой за ухом.

– Почему же он её убил? – спросил сам себя Игорь, – мне нужно разумное пояснение. Ну, ты давай, думай, – сказал он своему отражению, – сколько можно мутить воду? Пора написать что-то стоящее.

Но, просидев ещё несколько минут, он встал из-за стола, взял чашку чая и вышел на балкон. В темноте вечера виднелось, как колышутся деревья. Где-то гудела сирена, хоть до ближайших соседей – около трёх километров. Игорь прислушался, отпил чая. На улице было прохладно. Игорь хлопнул по руке, убив комара, расплескал немного чая, выругался и вернулся в помещение. В этот вечер он больше ничего не смог написать.

Когда он засыпал, его посетили мысли о мёртвом ребёнке. У Лили был выкидыш два раза подряд. Второй раз она едва не погибла из-за обильного кровотечения. Они хотели ребёнка, но до сих пор боялись рисковать. Игорь повернулся к спящей супруге, взял её за руку, затем снова подумал о сиренах, что слышал вечером. Его будто кольнула мысль о том, что увиденное сегодня по телевизору было в ближайшем городе.

Что же это было?

– Вставай, Игорь. Посмотри, что происходит.

Он открыл глаза, щурясь от утреннего солнца. Лиля включила телевизор. Ведущая новостей говорила о внезапной глобальной катастрофе. Начала испаряться вода. На экране появилось видео, снятое любителем. Уровень воды в озере заметно упал, а брызги и пена говорили о том, что вода в нём будто кипит, как в кастрюле. О падении уровня можно было судить по слою вялых и влажных водорослей, лежащих на оголившейся поверхности. Любитель подошёл к воде, зачерпнул ковшиком немного и показывал, что



она продолжает испаряться в этой ёмкости. Он опустил руку в озеро, убедив окружающих, что температура воды не изменилась, а лишь её уровень.

– То, что вы видели сейчас, никто не может объяснить. Вода в озере будто испаряется, но это происходит без воздействия повышения температуры.

– Что это такое? – спросил Игорь.

– Я не знаю. Сегодня утром показали. Ещё был случай пропажи воды из колодца. Что-то происходит, Игорь. Что-то нехорошее. Мне страшно.

– Пока ничего не происходит. В озере пропала вода. Может быть, подземные горячие источники или что-то подобное.

– Нет, Игорь. Тебе же сказали, без повышения температуры.

– Ну хорошо, давай позавтракаем и посмотрим новости. Если что-то серьёзное, нам сообщат, что делать.

– Что-то серьёзное? А исчезающая вода это не серьёзное?

– Могут быть разные причины.

Телевизор отключился, как и всё электричество в доме. Игорь и Лиля переглянулись. За окном слышался нарастающий шум ветра.

– Наверно, ветка упала и повредила провод. Помнишь, как два года назад было?

– Ты думаешь, это ветка? Но ветер не настолько сильный.

– Я посмотрю и скажу, что это.

Игорь оделся, пошёл вниз, чтоб умыться, но вместо воды из крана пошла пена, затем только пар. Он стоял и наблюдал, как из крана выходил полупрозрачный пар, поднимавшийся к потолку. Он провёл рукой, но пар не был горячим. Бочок унитаза задрезжал, и крышка немного подпрыгнула. Оттуда тоже показался пар. Игорь отошёл и через секунду выскочил, заперев дверь. Он услышал спускающиеся шаги супруги.

– Что случилось?

– Не знаю. Вода испарилась.

– Боже, Игорь. Что происходит?

– Погоди, дай подумать.

Он открыл дверь в ванную, тут было спокойно. Едва был замечен пар, поднимавшийся из открытого крана. Игорь подошёл, открыл крышку бочка унитаза, там было пусто, нажал кнопку слива, но ничего не произошло, лишь донеслось слабое бурчание, будто из голодного желудка. Игорь пошёл посмотреть, не выбило ли пробки, но всё было в порядке.

Вероятней всего, упала ветка.

Он начал сомневаться в собственных выводах, но они больше нужны были для супруги. Игорь безрезультатно щёлкал тумблером.

– Игорь, это пробки выбило?

– Боюсь, что нет, Лиля. Боюсь, что повреждена линия. Скорей всего, ветка упала и оборвала провод.

Она не ответила. Игорь обнял её. Оба стояли у окна и смотрели, как, превращаясь в пар, из бассейна испарялась вода.

Света не было. Супруги провели весь день в доме, глядя на колышущиеся ветки деревьев, надеясь, что обрыв найдут. Под вечер Игорь включил топливный генератор.

– Ведь мы – не одни на этой линии. Дальше Каниловы, после них Дороговченко, а они-то всегда дома. Они в любом случае будут возмущаться.

– Тебя не смущает, что телефонная связь пропала?

– Это может быть совпадением, дорогая моя, но мы ничего не можем сделать. Я не хочу на ночь никуда ехать, если до утра ничего не изменится, поеду к соседям, а затем в город. Пусть разбираются.

Супруга согласилась. Ближе к вечеру, после ужина, Игорь отключил генератор, решив немного сэкономить. Он услышал, как на улице поднялся ветер. Он сидел в прихожей, читал книгу, но вышел во двор, думая об ухудшении погоды. Ветер был умеренный, не редкость для загородного домика. Игорь присмотрелся и заметил что-то на фоне леса. Это была фигура человека в плаще, она медленно приближалась. Подобные силуэты Игорь видел чаще, чем хотелось бы. Он выделялся более тёмным пятном на фоне деревьев и был плохо различим. Игорь присмотрелся, осветил фонарём, но в этот момент поднялся ветер. Пыль летела в лицо со всех сторон, Игорь отвернулся. Ветер стал сильнее. Игорь ощутил, как его оттолкнуло к дому. Ветер был настолько сильным, что несколько стёкол в окнах выбило. Игорь наощупь вошёл в дом и быстро запер дверь. Он отряхнулся, протёр глаза, прищурился, и смотрел на Лилю. Она стояла на лестнице и держала в руке свечу. Её пламя плясало от ветра. Внезапно послышался звон стекла, свеча погасла. Ветер был внутри дома, в воздухе носилась пыль и мусор. Лиля выронила свечу и закричала. Игорь, шурясь, направился к ней.

– Что происходит, Игорь?

– Поднимайся наверх и запишись в ванной, я сейчас приду.

Лиля пошла вдоль лестницы, держась за перила. Второй рукой она водила перед собой, чтоб не наткнуться на дверь. Она прошла в комнату, заперлась, затем прошла в ванную. Тут было маленькое окошко. Небольшой прямоугольник серого света падал на стену, в нём носилась песчаная буря. Лиля сидела на стуле и смотрела на дверь.

Игорь прошёл на кухню, достал нож и собирался подняться наверх, однако ветер усилился, мужчина не мог удержаться на ногах. Вся мебель в помещении переворачивалась. Мелкие предметы вылетали на улицу. Игорь прикрывался, выронив нож, прижавшись к углу, ощущая, как майка болтается на нём, словно неудачно раскрывшийся парашют. Он сидел и слушал звон посуды, треск лопавшихся досок, шум мебели. Он схватился за трубу, чтоб его не унесло, и тотчас ощутил прикосновение к руке. Всё словно замерло. Игорь открыл глаза и видел перед собой лицо, необычное и тем не менее схожее с человеческим. Узкий нос, маленькие губы, крупные глаза. Всё остальное замерло, а вокруг пыль кружилась в хороводе, как песчаная буря в пустыне. Игорь прищурился, но пыль не попадала в пространство, которое, словно купол, окружало мужчин. Игорь заметил, как поднялась рука существа и прикоснулась к его плечу. Игорь ощутил тепло, словно рука была горячей.

– Тебе не нужна вода. Ты можешь обойтись без неё, а нам она нужна. Прости меня, я заберею у тебя то, что принадлежит тебе, но ты сможешь жить без этого. Ты сумеешь добыть ещё.

Голос пропал, затем исчезло лицо, скрытое в пылевом вихре, Игорь вновь прикрывался и ощутил, что его шатает. Он лежал, прикрываясь рукой. Через несколько минут он попытался встать и подняться на второй этаж, примерно в это время ветер начал слабеть и вскоре вовсе пропал. Игорь поднялся к супруге. Повсюду был беспорядок, мебель перевернута или сломана. Лиля сидела в ванной. Она упёрлась лбом в плитку, рот был приоткрыт, руки свисали вдоль тела.

– Как ты, Лиля? – спросил Игорь, подойдя ближе. Его супруга пошевелилась. Казалось, она не понимала, где она. Она начала усиленно моргать, затем огляделась и, увидев Игоря, протянула к нему руки.

– Как ты?

– Я видела его, Игорь. Он подходил совсем близко и прикасался ко мне.

– Теперь всё нормально, Лиля, не бойся. Теперь всё хорошо. Он уже ушёл. Я с тобой.

– Мне страшно, Игорь. Он предлагал мне уйти. Он говорил, что с ним мне будет хорошо.

Супруги заперлись в спальне и присидели там до утра.

– Телефоны не работают, воды нет. Я не знаю, что делать, – говорила Лиля, когда Игорь выходил из спальни.

– Нужно добраться до города.

– А если они там?

– Лиля, сейчас хуже ничего не будет. Они уже побывали повсюду. Выбора нет. Нам нужно в город.

Повсюду в доме был беспорядок, всё разбросано и сломано. Игорь вошёл в гараж, завёл машину и с ужасом подумал, что ехать в город почти пятьдесят километров. Хотелось пить.

– Почему мы не погибли? – спросила Лиля, когда села рядом.

– Наверно, они не хотели нашей смерти.

– Жидкость исчезла, но ведь мы состоим из воды на восемьдесят процентов. Почему жидкость внутри нас не исчезла?

– Я не знаю, Лиля.

Машина ехала в город. Было душно. Радио молчало. Игорь постоянно поглядывал на температуру, но она не росла. Жидкость, охлаждающая радиатор, не испарилась.

– Вся вода пропала, но остальные жидкости в порядке. Я думаю, что если бы они хотели нас убить, они бы это сделали.

– В таком случае, что им нужно?

– Что тебе сказал тот пришелец?

– Спросил, не хочу ли я пойти к ним. А тебе?

– Он извинился передо мной за то, что уничтожает нашу планету. Сказал, что вода им нужнее. Они забрали всю воду.

Возле дороги стоял автомобиль, на сидении лежал человек и едва дышал. Игорь остановил машину и подошёл. Мужчина повернул голову и глядел на Игоря. Он улыбался. Губы были сухими, кожа лопнула в двух местах, лицо грязное.

– У вас есть вода? – спросил мужчина.

– Нет, – сказал Игорь. К нему подошла Лиля. Они переглянулись, одновременно представив, что будет с ними через пару часов на солнце.



- Ничего страшного, – сказал мужчина, – всё нормально. Я раньше не думал, что вода так важна, но теперь понял, что без неё нет ничего. Она даёт жизнь всему живому.
- Поехали с нами в город, – сказал Игорь, положив руку мужчине на плечо.
- Нет, езжайте. Я останусь. Они сказали, что заберут меня.
- Вы погибнете, – сказал Игорь, но мужчина не ответил. Он прикрыл глаза и медленно дышал.
- Он спятил, – сказал Игорь, когда они сели в машину, – это от жары.
- Думаешь, его нужно забрать?
- Я не знаю, но если мы не найдём воду в ближайшее время, то присоединимся к нему.

Вдоль дороги всё чаще встречались брошенные машины, ближе к городу попадались лежащие тела. Никто их не забирал. Все дома были застигнуты ураганным ветром, мебель валялась снаружи. Воды нигде не было. Лиля и Игорь вошли в магазин, но на полке стояли бутылки без воды, хоть и запечатанные. Вся питьевая жидкость исчезла.

Несколько часов спустя после безуспешных блужданий по городу, Игорь и Лиля остановились у здания, вошли в комнату. Они просто молча сидели, держались за руки и глядели на безлюдную дорогу.

Игорь уснул. Он не видел, как час спустя его плачущая супруга вышла из помещения, затем вернулась, но выглядела уже иначе. Её лицо словно помолодело. Она наклонилась над супругом, поцеловала в щёку, извинилась и ушла.

Когда Игорь очнулся, Лили не было. Игорь нехотя поднялся и немного побродил вокруг дома, в поисках супруги, но, никого не найдя, сел под деревом и просто сидел, медленно дыша.

Игорь смотрел на песок, на медленно плывущую тень от деревьев. У него не было сил ничего делать. Он ничего больше не хотел. Он лежал, ощущая телом раскалённый воздух. Он услышал голоса, повернул шею, приподнялся и ощутил, как по щеке стекает кровь от треснувшей губы. Супруга стояла в пяти шагах и держала ребёнка за руку.

– Лиля.

Лиля подошла ближе, присела рядом, улыбнулась. Она выглядела моложе, волосы трепал ветер, щёки были румяны, губы ярко-алые. Рядом стоял ребёнок, который боялся подойти. Лиля подвела ребёнка ближе и указала на Игоря.

– Посмотри, – сказала Лиля, – это мой муж.

Игорь смотрел на неё, думая, что это галлюцинация от жары. Он не знал, что делать, не понимал, что происходит.

– Лиля, у тебя всё хорошо?

– Да, Игорь. У меня всё хорошо. Жаль, что я не могу к тебе прикоснуться. Игорь, посмотри на этого мальчика. Посмотри, какой он хороший. Он всё понимает. Теперь, когда на его планете появилась вода, он понимает очень многое, и когда-нибудь он станет учёным, как и все жители Гландора. Это цивилизация будущего, Игорь, и мы спасли её своей жертвой.

Игорь хотел прикоснуться к Лиле, но рука прошла сквозь неё. Он понял, что это мираж или голограмма.

– Посмотри на этого мужчину, он дал тебе жизнь. Поблагодари его.

– Спасибо, что помогли нам, дядя, – сказал ребёнок.

– Нет, Його, не дядя. Называй его папа. Это твой папа.

Игорь удивился услышанному и, если бы не обезвоживание, по щеке покатилась бы слеза.

– Спасибо, папа, – сказал Його, глядя в глаза Игорю. Игорь смотрел по очереди на мальчика и супругу.

Он улыбался. Лиля глядела на мужа и плакала.

– Слушайся свою маму и береги её, – сказал Игорь.

Голограммы исчезли. Игорь посидел несколько минут, уронил голову на песок и закрыл глаза. На его лице застыла улыбка.

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

А PARTE рассказ

Разговору о мёртвых приличествует сдержанность и показана тишина. И ещё: у всякой действительной Голгофы в предшественницах Гефсиманская ночь. Слабость перед лицом неминуемого, бессилие от предугаданной судьбы. И превозмогание слабости и бессилия. И преобразование и того и другого: слабости – в жизнь после смерти, бессилия – в возврат к живым.

М. Гейтлер

Она не знала, когда кончился день. Может быть, его и не бывало здесь вовсе, а сразу наступали сумерки после рассвета. Всё ведь может быть.

Она про «здесь» вообще ничего не знала. Только то, что «здесь» существует, что она иногда бывает «здесь» и ничего толком сказать об этом не может. Да и не надо, наверно.

Много лет было не надо. Раньше она думала, что это сны. Когда была девочкой. Позже боялась: галлюцинации? Потом, ещё позже, знала, что просто другая реальность.

Но «просто» казалось настолько сложным, что поделиться с кем-нибудь не получалось.

Мир был населён тарелками, контактёрами, экстрасенсами, доверчивыми невежественными людьми, передававшими зачитанные статьи о полтергейстах, о необычных женщинах – прорицательницах, ясновидящих, читающих через стены...

Она всё это впитывала и внутренне отштыфовалась – эти люди были похожи на подростков, по секрету обсуждающих то, чего не знают, но уже слышали, что оно есть, и даже кто-то попробовал. И от этого тянуло стыдным, и кто смущённо подхихкивал, кто нёс околесицу не смущаясь.

Она молчала. И никому не верила.

Дорога вела в горы. Но она не пошла по дороге. Она не любила этот путь: идти по низинке, как по ладони, постепенно поднимающей указательный палец, – ладонь заканчивается, перешагиваешь линию любви, и указательный палец начинает подниматься. Вот этот переход оказался самым нелюбимым. И пришлось изобрести свой путь – минуя дорогу-ладонь, сразу оказываться за линией любви на указательной дороге в горах.

Она никогда и никому не рассказывала о своём изобретении. «И не расскажу», – решила окончательно.

Итак, дорога уже была в горах, а не в низине. Слева плечо подпирала крутая стена, почти отполированная – за века – плечами тех, кому приходилось подниматься здесь. Справа был обрыв – пропасть, бездна. Поэтому левое плечо всегда полировало твёрдый камень стены. Всегда и все делали так.

Указательный путь переходит в холм, стена и пропасть исчезают, и начинается удивление.

Она стояла удивлённая и смотрела на Тот Свет.

Огромная зелёная чаша стадиона, окружённая блестящими трубками, между трубок жёлтый песок тропинки. По тропинке идут двое в коричневых плащах с капюшонами, прикрывающими лица. Видна каждая травинка. Воздух пронзительно прозрачен. Но чаша – не стадион. Нет амфитеатра, не на чём сидеть. Есть скалы с нишами.

Она пошла по внешнему кругу. Оказалось, что не спускается в чашу, а поднимается выше – туда, где в нишах скрыты... Скрыты кто? – подумала. И уже знала, что в них скрыто. Стоят два идола из дикого камня с зелёными лучами, бьющими из глаз. Лазеры.

Надо было пройти под лучами.

Когда она впервые увидела идолов – повернула и весь обратный путь прошла, сосредоточенно думая: нужно предпринять что-то. Нужно суметь не повернуть назад в следующий раз! Она была уверена, что следующий раз будет.



«А, всё устроится», – решила и успокоилась.

Когда наступил следующий раз, страха не было. Она шагнула под лучи. Идолы прикрыли глаза. И всё. Она прошла спокойно.

Впереди была пирамида, но не гладкая, как египетские, а с площадками – как у ацтеков? От площадки к площадке вели разновысокие ступени. А на вершине...

– На что жалуетесь? – спросил врач. – Ну, попробуйте ещё раз.

Она пыталась – вот уже сорок минут – рассказать о повторяющемся сне: сначала прикасаешься ладонями, левою щекою, стена вбирает тело – вязко вбирает, ты проходишь, нет, просачиваешься, кажется, что тело вбирается кирпичом, всё перемешивается, и боишься, страшно застрять... Просыпаешься – болит кожа. Где ни проведёшь рукой – кожа болит. И так до тех пор, пока не прошла сквозь.

– А где это было?

– Это не здесь, – только и сказала.

А на вершине двенадцать колонн кругло поставлены на круглой площадке. Надо стать в центре, и увидишь над головой высокие звёзды, пересекающиеся лучами. Сквозь отверстие прямо над тобой они пульсируют, фехтуют, и нет ничего прекраснее этих боев. А под ногами площадка начинает вращаться. Быстрее, быстрее...

Между колоннами спускается воздух, и, когда сходишь с круга, попадаешь в сопротивляющуюся ткань облака и проходишь сквозь, прижав левую щеку и упираясь ладонями. Проходишь сквозь стену и спускаешься вниз по неудобным разновысоким ступеням. Они скользкие, отполированный тёмный камень. Тёплый.

Здесь вообще всё тёплое. И колонны, и круг под ногами, и ступени. Здесь прохладен только пронзительно-ясный сумрак, в котором отчётливо различимы и каждая травинка в зелёной чаше, и каждая шерстинка на ткани плащей всегда уходящих фигур: никогда она не видела лиц, всегда только плащи и – что идут всё дальше от неё. Уходят.

Она уже выросла, давно было за тридцать. Но по-прежнему, как в детстве, летала. Над ветвями деревьев, путаницей проводов, над крестами телевизионных антенн. Поднималась выше над – и всё прекращалось. Выше была сетка. Ни из чего. Какая-то непонятная сетка. Экран. Дальше – не пускало.

Утомительный монолог – наверное, она и есть та самая «вещь в себе», – этот утомительный монолог может ли иметь смысл? Надо найти собеседника. Она искала.

Через год мне будет сорок. Пора найти. Больше ждать некуда.

– Всегда есть куда ждать.

Кто сказал? Она никого не увидела. И никто не повторил. Но она всё равно запомнила и рассердилась. Потому что опять появилась надежда. Она всегда сердилась, если обнаруживала в себе надежду.

Невыносимо знать и продолжать надеяться. Но она знала и то, что надежда бывает и вопреки. Потому и надежда...

«На что же я надеюсь?» – подумала она. На отсутствие. Вдруг да появится, и станет лучше, чем до сих пор? Вот так просто: все слова рядом, и смысл не ускользнул. Это на их языке. Что мне до их языка... Но я не умею вспомнить. Я забыла, как вспоминают свой. Теперь я пропаду окончательно.

...Но и этого не случилось. Она заскучала невероятно и сделала то, что делали многие вокруг. Она напилась с приятелем. И тотчас всё кончилось. Надолго. И так прошёл, может быть, год, а может, и больше.

Ей больно. Но она потерпит. Она всю жизнь терпела. Жила как валидол в капсуле. Великан брал капсулу под язык, чтоб она растворилась и влилась органически в большой общий мир. Но она выкатывалась всякий раз, когда мир-великан клал её под язык. Она выкатывалась и сохраняла себя. Органически сливаться с тем, что было хуже её, – нет. Она не хотела. Она не хотела лечить великана собою.

Может быть, все как я – в капсулах? Да нет, все были как все. Даже её собственные дети были как все. Но где-то ведь должны быть другие, как я? И она искала.

Муж был в капсуле. Но от соприкосновения лучше не становилось – капсулы не соединялись. Попытки прорваться друг к другу вызывали постоянное взаимное раздражение. Стресс разрушал иммунные голограммы, и самочувствие обоих становилось всё хуже. С каждым годом процессы саморегуляции разлаживались. Они теряли себя и друг друга. У них были капсулы из разных веществ.

И тогда она спросила:

– Почему наши дети как все в мире всех? Почему мы с тобою другие, чем все? Кто мы?

– Мы тоже как все, – ответил муж.

Она и ему не поверила.

Она осталась совсем одна и устала надеяться на встречу.

Долго-долго шла по полю, где снег лежал в ложбинках. Снег лежалый, колючий. Подтаявшие островки среди распаренной земли в зелёных свежих латках травы. Стало жарко. И когда она нашла большой, в её рост, остров засахарившегося снега – не думая, разделась, аккуратно сложила вещи и легла в сахар. Жёстко. Поднялась, разломала скорлупу, разгребла – и провалилась в холодное, колючее, чистое. Замерзну, подумала. И пахнет незнакомо. Не землёю. Не арбузом. Пахло чем-то с примесью бензина. Чем-то очень тонко и приятно, но мешал бензин.

Сколько она лежала и о чем думала?

Снег иглы под кожу запускал, и она представила себя ежом в шубе из ледяных игл. Потом вспомнила, как в детстве соседский мальчишка хотел плоскогубцами выдернуть из ежа иголку и доказать, что она крепится к ежу не корнями, как гриб, а шляпкой, как у гвоздя. А ему не дали и отлупили. Мальчишка стал учёным-биологом, и у него появились клетки с белыми мышами и клетки с лягушками. И никто не лупил его за это.

Поднялась, растёрла всю себя снегом. Когда застегивала молнию сапога, притормозила машина, из неё вышел водитель и направился к ней. Здоровенный мужик. Кроме сапог и колготок, на ней всё ещё ничего не было. Она спокойно оделась и только после этого на мужика посмотрела. Он предложил подвезти, но ей было в обратную сторону. Мужик ушёл.

Она возвращалась и думала, что странный мужик: должен бы спросить, а не спросил. Станный.

Вскоре её нагнала машина – вернулся мужик. Спросить. Она опередила и сказала:

– Ну, купалась я в талом снегу, купалась...

– Я знаю.

– Зачем же вернулись?

– У меня есть время.

– Мне неинтересно это, – ответила. Он ждал. А она шла. Машина медленно ехала следом.

...Когда вышла из машины, собственный дом показался незнакомым. Маленьким и грязным. Расстояние от машины до дома исчислялось не шагами. Годами. Каждый год был отмечен криком.

Кричал ревун. Над морем туман был круче, чем пар в парилке. Он расползлся по городу и добрался до неё. Она тонула в тумане, как тонут в море. А как тонут в море? Насовсем. Она тонула в тумане насовсем. Он вползал в форточку, он обволакивал постель. Она закуталась с головой в туман и спрятала голову под подушку. Уснула задыхаясь. Захлебнулась – и уснула.

Проснулась оттого, что на неё смотрит глаз. Один. В густых ресницах. Она видела глаз, смотрела в него, всматривалась – не открывая своих. Они внутри неё смотрели друг в друга.

Ей стало страшно: такого ещё не бывало. Летать – летала. Сквозь стену проходила. Идолов уже не боялась... Глаз на неё не смотрел никогда. И она вдруг взмолилась: сделай, чтобы не было так больно! Как больно, подумала, и попросила вновь: «чтоб не было так невыносимо больно, что становится страшно. Сделай, чтобы я не боялась».

К глазу добавилось ещё несколько, они смотрели из ниоткуда, сами из себя – в неё, переплетясь ресницами. И стало легче. Она заснула вновь – глубоко и надолго. И сны ей не снились.

Когда она закричала от боли... Нет, не тогда, когда ставили подключичные катетеры. Тогда терпела, чтобы не помешать врачу. Пожалела врача – молоденькую женщину, молоденькую и хорошенькую. Закричала она тогда, когда никто услышать не мог. Ночью и во сне. Молча закричала – чтобы опять никому не помешать.

«Почему – почему – почему мне так тяжело и больно, почему?! Почему – мне, которая лучше многого в этом мире? С моим счастливым детством?» – думала она. – С моими прекрасными детьми и умными моими мужчинами, почему?».

И тогда глаз в неё посмотрел внимательно. И она увидела экран, по которому компьютерно бежали строчка за строчкой формулы, которых она не понимала. Формулы сменились надписями, они тоже были непонятны. И только тогда появились картинки, абстрактные сначала; их сменили пейзажи – леса, леса, заросли, в которых ни зги не видеть.

Она ждала. Стали появляться лица. Некоторые люди были незнакомы. Некоторых уже видела. А с некоторыми ей предстояло встретиться.

Кричала соседка во дворе, когда она пробежала, – она всегда, пробегая через двор, боялась, что соседка станет кричать. Кричала соседка всегда одно и то же: «Чтоб они сдохли, твои дети! То футбол, то на крышу лезут, то классы мелом чертят, и мел в комнату на подошвах заносится... Чтоб им руки-ноги повыкаблучивало!». Она боялась закричать в ответ, а недавно сорвалась и закричала:

– Да иди ты на [...]!



Соседка проглотила язык – многолетний опыт безнаказанного крика расслабил её, и она не смогла собраться вовремя для ответного удара. Уже в спину прокричала:
– Мужу своему так скажи!..

По инерции она бежала ещё квартала три, потом подошёл автобус, но и в автобусе бег в ней продолжался. Инерционная сила бега жила в ней ещё шесть дней. И в эти дни бег сопровождали крики.

Она устала. Она заткнула уши ватой и замотала косынкой голову. Узнала, что в аптеках города уже больше полугода нет берушей. Она изнемогла к концу седьмого дня – и тогда всё сразу прекратилось.

Каждую ночь она в длинной светлой одежде бежала по ласковым каменным плитам, ветры закручивали подол, развеивали длинные рукава и волосы. Она была среди ветра и ласковых тёплых плит – дома. Здесь, дома, было тихо всегда. И речь здесь звучала внутри. И глаз помогал ежеминутно, стоило ей остановить бег, замереть и всмотреться вглубь себя и навстречу пульсирующему зрачку в оправе тёмно-вишневой радужки.

Глаз внимательно всматривался, читая её, как повесть, и отвечал, снимая боль, расширяя сознание, углубляя память. Между ними возникло взаимопонимание и обмен взглядами.

И опять она оказалась в нелюбимой долине. Перешагнув линию любви, стремительно шла по указательно поднимающейся дороге в гору. Левое плечо привычно скользило по стене, а глаза не отрывались от неразличимого почти пятна придвигающегося холма. Он был за поворотом, но она чувствовала его, и это помогало не посмотреть направо, где обрыв, пропасть, бездна. Она боялась высоты.

Идолы всё так же контролировали лучом пространство, которое она пересекла не задумываясь. Она легко поднялась по пирамиде и замерла, глядя вверх. Запрокинутая голова, чистый лоб в отблесках звёзд, вращающихся площадку под ней. Сквозь неё шёл поток живого тепла, и тело становилось ясным, а мысленно она уже могла быть далеко. Но она не торопилась. Она внимательно всматривалась и вслушивалась в себя, и нарастала беседа, и вот уже вся она охвачена счастьем этой беседы.

Я беру шарик, шарик прозрачный. Я кладу шарик и смотрю на него. Куда я его кладу? Прямо на ладонь. Я смотрю и вижу: комната. Мужчина с тремя женщинами. Две ещё девочки. Дочери. Женщина неуверенна. Нет стержня, есть только надежда и страх, есть мужчина, на которого она смотрит. Ему холодно. Ему всегда холодно.

Он останется в той стране, где у неё нет корней. У него тоже нет корней, он питает новой землёй через свою женщину, которая растёт, как цветок пустыни, цепким корешком перехватывая под собой землю обетованную, переползая метр за метром и осваивая захваченное жизненное пространство.

Беседе с ним ничто не мешает. Она в нём, он говорит с ней, думая, что говорит с собой. Он поймёт скоро, нет, он просто подумает, что скучает и вспоминает. Я не стану торопить его. Он должен привыкнуть. Он научится беседовать через страны и время. И его женщина с обретаемой корневой системой не сумеет ему помешать быть тем, кем он есть.

Стоит подойти человеку с вопросом к ней – она уже как фотокадр выхватила подошедшего из его жизни. Он застигнут внезапно, и потому все каналы в нём открыты. Они легко проходимы её потоком. И вот она отошла, не ответив; этот человек – имитатор. Она опасается контакта с имитирующими жизнь. Она боится их, потому что носители бактерий имитации опасны смертельно. Быть в казаться – о, она переболела этой инфекцией, она знает, как тяжелы рецидивы. Всё больше и больше заражённых вокруг.

Её спасает капсула, из которой мир видится всегда со стороны, даже когда она лежит под его языком. Надо только не потерять голову и успеть предвосхитить тот момент, когда тонкая невидимая ткань капсулы дрогнет – и тело отзовется ознобом: это включились синапсы и выбросили гистамины в кровь. Началась операция по спасению. Пора выкатываться из-под языка великана и принимать антигистаминные препараты – и спать, спать, спать... Можно бы к природе, в те леса, что она видела, в любой сад, наконец, – но всё меньше садов вокруг, всё дальше леса... Всё меньше энергии, которую нужно беречь, не тратить на быстрые перемещения. Тело стало хрупким, и капсула, эта верная и надёжная оболочка, уже почти не защищает кожу... Она вся готова выпорхнуть из себя, как бабочка из куколки, но ещё не время. Нельзя опережать время настолько; она не может вспомнить... паникует и торопится.

Нельзя опередить собственный рост. Нельзя разрушать до срока защитную оболочку – а она часто впадает в грех саморазрушения. Это ещё одна инфекционная болезнь, которую нельзя занести в свет. Она слишком плохо смотрела за собой в мире, где говорят на чужих языках. Потому и забыла, как вспоминают свой.

«Что же делать? Почему – почему – почему мне больно? Я не сумею обозначить свой мир... Если я не вспомню... неужели я не вспомню? Меня потеряли и не помогут?..»

Взяла шарик, прозрачный, на ладонь положила, смотрит: он в оспинках – сколы от падений. Всё, пропала! – кричит в ней страх, и каждый этот крик обрывает тоненькую ниточку тёплого света, держащую

её на свете этом. «Когда прервётся последний тёплый луч, и я увеличу чёрную дыру... Я не хочу стать чёрным потоком, зрачком вселенной, пульсирующим за солнцем! Я не боюсь огня!

Неправда, неправда, неправда, больше всего львы боятся своего знака, своей звезды, ибо только огонь может уничтожить...

Мои рукописи!» – пугается она. Она не верит никому, и лихорадит страх всё сильнее, обрывая не одну, а сразу пять ниточек животворящего светлого тепла, входящего и исходящего сквозь её пальцы – левая рука закрыта, сгнута в кулак, а правая распахнута от сердца, отодвигая волну чёрной пульсирующей розы, собирающей пять животворных потоков...

«Так вот как уходит свет, – говорит в ней голос, которым она любит жизнь. – Так вот как выглядит грех...».

– Давай поговорим, – сказала она мужу. – Что ты молчишь со мной, а с другими живой человек? Ты меня не любишь.

– Я не люблю людей.

– Нет, ты не любишь меня!

– Давай поговорим о другом, – глухо сказал и отвернулся.

– Давай не будем говорить о другом.

– Давай, – согласился внезапно муж. – Где ты была весь день? Откуда вернулась?

До того как вспыхнул свет, яркий, словно магниевая вспышка, был долгий хмурый путь, наполненный неожиданным свиданием. Девчонки, мал мала... Одна, самая маленькая, с прямыми тёмными волосами, подстриженными скобочкой, хотела спать и уснула, обложенная подушками в пёстрых наволочках. Самая быстрая и крепкая деловито сновала вокруг. Кудрявая, знакомая рукам родной привычной упругостью. И ты, и сын так же податливо шли в ладонь. Но потрогать девчонку не решилась – она меня не видела. Никто из девочек не отреагировал на меня. Значит, только я... реагировала.

Я правильно реагировала. Ничем не помешала ни дочкам, ни матери в ситцевом халатике, с крупной, не по росту, ступней. Ей, маленькой и остренькой – нос острый, пальцы тонко-острые, взгляд сквозь стекла, уменьшающие глаза, сведен в острую пронзительную точку, – были нужны такие крупные ступни – стоять, крепко и надёжно упираясь подошвами. И характер у женщины был соответствующий – холодный и скрыто-тяжёлый. Женщина-айсберг, серебристо-сверкающий айсберг с надёжными, твёрдо стоящими ступнями. Основательная. Тебе стала нужна такая, основательно-надёжная, чтобы прочно защититься от неё. Дочками. В молодости у неё был прелестный голос. Но со временем, наполненным тяжёлым, голос надтреснул...

Нет-нет, женщина оставалась спокойной, не чувствовала меня около.

Боже, больно, больно... Я признаю их своими. Я принимаю в себя всех их. Чтобы не замечать внутри себя боли. Просто знать: вот они есть, с ними всё в порядке, значит, ты покоен. Ты мой всегда. И в ту страшную минуту, когда я, крича «ненавижу!», через всю комнату швырнула в тебя трехмесячного запелёнатого сына, а ты – Господи, спаси и помилуй! – поймал его... И когда ты уходил из больницы чёрный. Не допущенный мною дать сыну кровь... И в меня плонула женщина в палате, и ещё раз – в больничном коридоре. А врач, закатав рукав, пошла на прямое переливание. Меня потом держали в кабинете заведующим – чтобы женщины не извели за непонятную им жестокость: прогнать отца, у которого такая же кровь, как у сына!..

Боже, Боже, мне было страшно, и страх этот, ужас этот навсегда во мне остался колючей чёрной подкладочкой у сердца. Сердце по живому пришито стежком «через край» к ткани, из ужаса сотканной, из стекловолокна пустоты и ужаса, где не нашлось места тебе, любимый. Такова цена отступничеству.

...Оторваться от боли. Приподняться над измученным болью телом. Как душно в палате! Это прооперированные выдыхают наркоз.

Окно забито. Форточка забита. Ржавый гвоздь. Давно, значит. За стеклом падает снег. Душно. Мне душно!

Принесите доску. Подложите под меня доску! И в головах, и в ногах...

Вот и хорошо, и славно.

Я вступаю в дерево, мои руки тянутся как ветви, мои волосы рассыпаются листьями, мои ноги срastaются с корнями и пьют живое тепло земли. Я дышу, дышу!

– Чем пахнет в палате? – спросила нянечка медсестру. – Что это за запах?

В палате пахло озоном.

А она тянулась ветвями и встала корнями в землю. И ветками тянулась ввысь. И натягивала на себя жизнь, словно белую хрусткую простыню.



Пришла мама, посмотрела кричащими прощающими глазами. Это у остающихся глаза предсмертные, поняла она. А уходящие широко смотрят, и во взглядах у них – изумление.

Очнулась спустя время: слева лежат двое, руки по локоть забинтованы.

– Мы девочки, ученицы. Он любить хотел одну, он учитель наш. Но хотел любить одну. А мы только вместе живы, близнецы мы, сестрички! Он не верил, не понимал, он попробовал только, только попробовал одну, а другая погибла, как и первая, вторая тоже погибла! Учитель предал. И мы не помешали крови нашей хлынуть на весь белый свет, потому что красный он, красный. У предательства всегда красный цвет, как у смерти...

– Что вы, девочки, тише, тише, кто-то слушает нас... Это взрослая жизнь слушает. Это девушка, справа лежащая, большая, штукатур, с рукой верной и тяжёлой. Она вся тяжёлая, вместе с руками и ногами. Она висела и ощущала свою тяжесть. А шея у неё как колонна – белая, высокая, с голубыми прожилками мраморными и ошейником чёрным. От удавки.

– Господи, деточки, тише, что вы говорите...

– Её тоже он любил.

– Который? Учитель?

– Да, учитель; они, кто любит, учат любви. Но недоучивают, предают. Ты не знаешь, почему недоучивают?

Она знала, что отступаются, знала, но не хотела девочкам про это.

– Милые, я вам про любовь, а не про учителей. В любви много учителей не бывает. Они больны, те, кто учит, но не являет. Когда любят, то любят. Он придёт, живит – и вы увидите.

– Почему же ты здесь? – спросили близнецы, и руки их забинтованные дрогнули. – Что же ты делаешь здесь, с нами?

– Я лежу, себя сохраняя.

– Значит, ты веришь ему?

– Верю.

– Учителю?

– Учителю.

– А мы что же?

– И вы верите.

– А жить будем?

– Живёте.

– А душа как? – спросили сестрички. – Боль отпустит?

– Нет, не отболит душа. Но больше станет. С болью души прибывает, – отвечала она, всё дальше отлетая от губ своих с каждым новым словом. И задышалось тело тяжёлое в удавке, и лилась кровь девочек, белый свет превращая в красный, и наполнился стакан водой из крана, хлорированной столичной водой, чтобы таблетки зашить сонные и оказаться среди вопросов внезапных и ответов страшных. Но страха-то в ней больше и не было, а был звук, пронзительный, словно писк летучей мыши. Она встала и ушла прочь из места, где на вопросы все (Господи, спаси и сохрани девочек и помилуй не ведающих, что сотворили!) один ответ: не прекратите жизнь до срока, ибо нет у неё срока для прекращения.

Вышла она в мир красный и сама закричала пронзительно, как мышь летучая. Но лицо при этом не дрогнуло. И никто не оглянулся на неё посмотреть – рассыпную, кто был возле, бросились. И только кошки драные всё поняли и сбежались на крик, о ноги терлись и утешали её, как могли.

Она ехала в пустом лифте. Из зеркала смотрела на себя и не узнавала. В лифте была другая женщина. Когда вышла на улицу, тряслись колени.

– Так не бывает, – сказала та, что смотрела из зеркала.

– Ещё как бывает, – ответила. – Ещё и не такое бывает, – сказала и перешла дорогу к киностудии.

Прошла мимо вахтёра. Он не остановил. Всегда останавливал, а сейчас не остановил. Она хмыкнула и пошла с этажа на этаж, разглядывая фотографии – кадры знакомых и незнакомых фильмов. Все стены улыбались, даже в незнакомых фильмах играли знакомые актёры. Колени всё ещё тряслись. Она долго пыталась открыть забитую дверь; ей никто не помог, не подсказал, что забита. Думали, рвётся – значит, надо, – и проходили мимо. В конце концов догадалась и вышла через другую. Во двор киностудии. Личные машины с толстыми дядьками, все они почему-то в измятых брюках. Розы вокруг. Села на скамейку спиной к дядькам и заорала: по спине что-то ползло. Сняла платье, вытряхнула многоногую гадость и, завязывая пояс, присела опять на скамейку.

– Лихо, – сказал один из тех, в брюках.

Не ответила, ушла на другую скамейку. И её оставили в покое.

– Помоги мне, – говорил он, развязав поясок. Она лежала на его узкой кровати и видела висок – седой. Видела щеку – мокрую, коричневую, старую. Он плакал.

– Не хочу, – сказал он сквозь зубы. – Не хочу жить больше. Я почти ничего не слышу. Ты знаешь, что я глохну?

– Знаю.

– Ничего не смогу больше сделать. Я боюсь тебя. Мне стыдно.

Она гладила его молча, как сыновей, когда пугались и жались к ней. Она гладила, а он плотнее прижимался.

– Мне помогло, помнишь, когда Сахаров умер, помнишь, никуда не смог с этим, к тебе пришёл и плакал. И ты как мама... Как мама, уже второй раз... Я всегда боюсь тебя, думаю, что ты – взрослая. Всё ты знаешь.

– Не бойся; ну слабый – нормально, что испугался. Ненормальным было бы не пугаться.

– Я же не женщина, это им – нормально.

– Глупости, все человек, всем плохо, когда слабые. Колени мешали – слева круглое, белое, блестящее и справа круглое, белое, блестящее. Солнечный зайчик на левом. Это от его часов, подумала. Он снимал часы, я помню. Это мои колени. И они лишние, неудобные, как бильярдные шары. В этот момент он сказал:

– Помоги мне.

– Зачем? И так хорошо.

– Помоги! – закричал.

Она раскрыла створки, и он завибрировал, стал тяжело вдавливать её в крахмал постели. Ткань колола, он вдавливал её сильнее, и это было...

Она вспоминала, как родился её первый сын – как стремительно вырвался, разломив её пополам своими четырьмя килограммами орущего счастья, и как потом тяжело вырывался и не мог, тридцать два часа не мог вырваться, второй, ему не хватило килограмма для рывка, и она кричала пронзительно, а врач спросила: «Что ещё ты можешь, кроме крика?» – и она читала «Романс о неверной жене», вот и сейчас она его повторяет: «То было ночью Сант-Яго, и словно сговору рады...». А он всеёвдавливал, вдавливал, а потом замер и забыл о ней. «Была нежна её кожа, нежнее кожи улитки...». Он всё не вспоминал о ней. Колени – красивые, круглые, молодые – пускали солнечных зайчиков, и секунды скатывались и разбегались по его стариковской комнате.

Она так тихо сидела на скамейке киностудии, что вокруг столпилась стая птиц. Птицы смотрели на её колени, свернув головы набекрень. Круглые глаза разглядывали её колени, с которых осыпались секунды, и птицы превращались в воробушков, воровато склёвывавших секунды. Самым страшным было мгновенное превращение стаи птиц в маленьких воробушков. Она пошевелилась – но они не среагировали на неё, они клевали секунды, и она начала озираться – искала часы, их надо было остановить, скрутить пружину, сломать.

Но его часы остались в его комнате, а её часы были электронными и вечными. Из них не высыпалось время. Поэтому было бессмысленно останавливать их.

Она поднялась и пошла прочь от скамейки, воробьёв, времени, которое прекращало быть, превращая свою страшную стаю в маленьких нахальных воробушков.

Своё время она уносила с собой. И в этом времени они всё ещё совпадали мгновениями.

– Помоги, – просил он. – Я не хочу жить. И она видела, видела, видела его коричневые морщины под седыми крыльями волос.

– Глохну, я глохну! – кричал он. – Мама!

– Не бойся, не бойся...

Колени дрожали всё сильнее, и улица убегала в разные стороны, сикось-накось накренившийся светофор перекрыл переход.

Она захотела ему помочь. Она остановилась. Город остановился вместе с ней. Замерли машины. Пешеходы. Его жена удивлённо шла среди полной тишины. Одна единственная женщина, смуглая и усохшая от времени, смотрела на неподвижный мир и повторяла страшное слово: «Что?». Потом: «Почему?». И опять: «Что? Почему? Почему? Что?».

Медленное солнце – огромное, красное – закатилось за дом политпросвета, и вместо него выкатилось бельмо луны. Латунным тазом накрыло город. Его маленькая жена села на детские качели, и город услышал, как хрустнули пальцы женщины. Как похрустывает ветер всем, что попадает ему под ноги на его бессмысленном пути по улочкам, переулочкам, уголкам молчащего неподвижного мира. Она очнулась и пошла сквозь город. Город не пошел следом.

Он стоял, всё так же замерев, а она шла, и ветер хватал её за подол.

И вот они встретились – она и его жена. «Боже мой, – подумала она, – Боже мой, я так молода... И этим неправда перед нашей женой. Не виновата, но неправа».



«Господи, – подумала жена, – у неё уже немолодые руки. Натруженные. Но она виновата в том, что он почувствует себя стариком гораздо раньше, чем это должно было бы случиться. Она станет причиной его конца, бедная».

– Ваши дети, – сказала жена вслух, – ваши дети нуждаются в вас больше, чем мой муж. Больше. Я мать и знаю, что говорю.

– Да, – отозвалась она, – прошу вас поверить, я знаю, что во мне скрыта ваша беда, что вы не простите внезапной старости вашему мужу. Не внезапной смерти не бывает, даже смерть больного со стажем внезапна. А здесь внезапной окажется старость, и это будет концом. Вы во всём правы, а я одна виновата – в том, что всё ещё не состарилась. Но я не хочу, не хочу, не хочу нести на себе крест вашей беды! Заберите свою часть и освободите меня от греха. И прошу вас – простите мне...

Года три она уже не летала. И даже начала бояться – да будет ли это ещё в её жизни? И вот это случилось. Ночью плохо спалось, когда заснула – вдруг поднялась, взлетев, на одиннадцатый этаж. И всю ночь сигала вверх-вниз вертикальными полётами.

Когда была девочкой, часто прыгала через канавы и лужи – с зависом. Тренировала взлёт...

Утром болела голова. От перегрузок. Голова болела по утрам всё чаще. Снов она не помнила. Только ощущение сна. Вроде спала. Вроде снилось. Что? Может быть, она в окно смотрела, просыпаясь? В окно смотреть нельзя, если сон хочешь запомнить. Но сны не вспоминались, даже если в окно не смотрела.

Постепенно в ней накапливались ощущения. Из них вязалась внутри неё ткань нового мира. В этой удивляющей реальности были конкретные события, видения, знания. Ощущениями новый мир питался. Он был полон радостных открытий, и она всё чаще внимательно всматривалась: ей были явлены (кем?) пугающие рифмы. В мире, сотканном из ощущений, случалось то, что спустя время происходило в мире обычных реальностей, наполненном привычными людьми и событиями.

Во время важного какого-нибудь спора она вдруг находила аргументы, до которых не могла дотянуться памятью. Таких знаний в ней быть не могло. Никто не учил её этому.

Как-то беседовали два учёных мужа о «Бесах» Пушкина, а она слушала. Мужа были специалисты. Она Пушкина не любила и потому читала редко. Но вдруг заговорила – и обнаружила знание предмета, поразившее всех, а её больше всех. Поразило тем, что это было конкретное знание – неизвестно откуда.

Вскоре это стало частым явлением, вызвавшим в ней тревогу, которая сменилась угрызениями совести и работой: она начала усиленно заниматься всем подряд – литературой, экологией, политикой, миром медицины... Она читала, встречалась с людьми – встречалась избирательно. Ей нужны были профессионалы.

Жизнь резко изменилась, и она вдруг обнаружила, что в кругу её общения почти не осталось молодых людей, ровесников. Она предпочитала общество людей пожилых. В стариках были знания, опыт и не было молодой суетливости. Кроме того, многие из них стояли на пороге вечности. Она обнаружила в себе устойчивый интерес к смерти. И совершила серьёзную ошибку. Она испугалась.

В мире стариков она часто бывала одинока. Что-то мешало приблизиться к ним вплотную. Что-то не допускало. Она подумала, что старые люди с ясной памятью обладают тайной, которая ей заказана. Она стала подсматривать. Это было второй ошибкой, но поняла она это не сразу.

А сначала – сначала она совершила ошибку третью, и эта ошибка резко приблизила её к тайне тех, кто всё чаще думал о вечном.

Третьей ошибкой была любовь. Она позволила старику любить её. Она ответила на эту любовь. Не веря ему в главном. Она не отказала ему в способности всю его жизнь подчинить любви, но не поверила, что он сумеет это сделать.

Он не сумел. Он испугался и предал её. А она, не простив того, что они не вместе (о, она вообще никому ничего не прощала!), не ушла. Она подменила чувство восхищённое на чувство страдающее – и стала несчастна. И узнала, что несчастливому человеку почти невозможно совмещать разные реальности, приходится балансировать.

И она всё чаще стала срываться в крик, слёзы, суету быта. Он же потерял возможность переступить порог. Любовь должна была спасти его, но этого не случилось. Он потерял то, что уже почти держало его в ладонях. Время сначала отступило, а потом засустилось вокруг него. Его время уходило, и они оба чувствовали это.

Острее всех это чувствовала его жена. И ей было страшнее, чем им.

Эгоизм зрелости холоден, в отличие от молодого и горячего. Холоден и потому не менее опасен. Эгоизм приближает человека к самому себе. А значит, к Богу.

Но холодно ли, горячо не означает ближе. Означает присутствие гордыни. Ближе можно только смиренно. Смиренный эгоизм есть не что иное как откровение.

Она опять испугалась. Страх измучил её. Душа металась и искала покаяния. Она не могла покаяться.



Для этого нужно бесстрашие. Она мучилась. Ей стало казаться, что все оставили её. И любовь. И Бог. И она с ужасом всё чаще думала о смерти.

Из книжного развала, из развала домашнего скарба, из дома уходила прочь. Обнаружила, что в одних носках. Вернулась, но тапочек не нашла. Так и пошла туда, к ржавому кораблю с мёртвым винтом, что покачивался за волнорезом железным островом. Прямо перед ней скала стояла с ровным прямоугольником двери, припорошенная песком. Обошла скалу и нырнула. Море тёплое, плыть метров триста.

Когда добралась до корабля, темнеть начало. Оказалось, в его тень выплыла. Проплыл мужчина, сказал: «Осторожнее, к винту и обплывай», – и отогнал раздувшуюся тушу, потом ещё не одну, чтоб ей было легче. Легче почти не стало – только что не сама рукой толкала эти раздутые туши. Кажется, даже вода была жирная. Ужаснулась: таких кур не бывает. Тут же поняла: венгерские бройлеры, огромные, как коровы. Винт корабля или винт мясорубки, – подумала, обплывая.

Со стороны открытой воды корабль был высветлён заходящим солнцем, а вода чистая, искристая. По спущенному канату поднялась на корму. Навстречу шли дети.

Значит, выплыла. На железный остров. Значит, ещё поживу – с этими людьми вместе. А хорошо бы войти в ту дверь...

Отсюда, с корабля, скала едва различалась в сумерках. Мужчина молча стал рядом и знакомым жестом поправил очки. Она узнала мужа. «Ты здесь зачем?» – подумала, холодея. Он накинул на неё сухую ткань и промолчал. Но ей стало тепло.

Когда подошли дети, в стройном и узком узнала сына. «Нет, нет!» – всё в ней закричало, и она поняла, что не нет, а да.

Послаблений ей не будет – даже в этом искусственном мире временного передыха.

Она взяла себя в руки и тут же придумала, как облегчить всем положение. Не признавать родных. Она видела и то, что никто не узнает никого. Только в ней присутствует отстранённость, а окружающие всего-навсего персонажи сна. «Да, это сон такой» – придумывала она дальше, и такова была сила её убеждённости, что странная реальность обернулась сном.

Надо суметь проснуться... Она оглянулась, отошла ещё подальше от мужа и сына, легла на железо и накрылась с головой тканью.

Проснулась от того, что её везли. Везли её накрытую с головой – не бережно, и говорили о рассаде. Какая рассада, причем здесь садовая рассада? При медсестрах была рассада, и везли они её по длинному больничному коридору, белому. А почему они меня с головой, мне же душно!..

Не было ей душно. Она вздохнула – «да я мёртвая?». Приподнялась и произнесла отчётливо:

– В морг!

Медсестрички вскрикнули, и всё исчезло.

«Что может быть абсурднее» – думал водитель, не тормозя перед жёлтым светом. Светофор сморгнул жёлтое, и автомобиль, сминая краешек красного, полетел по кривой... В сторону монастыря.

Она сидела рядом и смотрела на стеклянный шарик. Сколов от падений на нём стало больше. Со стороны самого большого он был похож на кратер Везувия. Она сосредоточенно напряглась – и...

По склону поднимались двое. Один в лакированных штиблетах, в белом костюме с золотыми капитанскими шевронами, второй с любопытным фотоаппаратом и цветным пакетом в руке. На кромке вулкана он поднял несколько камней и сложил их в полиэтиленовый пакет.

– Жене покажу, она в таких вещах понимает.

Возвратившись домой, он рассказывал:

– Четыреста метров идёшь по рыжим камням вверх; пыль и солнце. Но интересно – Везувий! А у самого кратера будочка, и будьте любезны за посмотреть выложить четыре тысячи лир. И выложили. Я там, на Везувии, подумал: спуститься бы вниз, внутрь вулкана. А в это время извержение началось. И ты погиб. Красиво! Да, красиво. Я эстет, красиво для меня – главное... И ты бы всем рассказывала, что муж погиб при извержении Везувия, находясь в кратере! Красиво, чёрт побери...

Она ответила, что предпочла бы его бессмысленно-красивому концу погибнуть в автомобиле, когда он будет лететь на красный свет, а ребёнок дорогу на велосипеде переезжает, а она руль у водителя перехватывает – и машина вмазывается в забор, в столб, в дерево... Но не в ребёнка. Да, ответила, когда к эстетике добавить этический момент, красота становится содержательной. Смысл привнесён. Чисто по-человечески...

– Нет, – возразил муж. – Это изуверство какое-то. Красота спокойно помещена в самое себя и в вечность, смерть красива и огненна, а у тебя – столб, тормоза визжат, стекла битые, крови много... Нет, не нравится мне ни твой этический момент, ни красный свет светофора, ни разбитый автомобиль.

– А спасённый мальчик с велосипедом нравится?



Она задумчиво смотрела на шарик. Машина вовремя остановилась, и она увидела, как в шарике вспыхнули золотые купола. Колокола ударили в смычки, и она вошла в музыку, высветлившую её напряжённую фигуру, и взгляд тёмных глаз стал светлым, а душа – прозрачной.

Она пошла по дороге к храму – и весь путь, приведший её сюда, стоял перед внутренним взором, весь путь от смерти и до крещения. И только истории с мальчиком и велосипедом недоставало, чтобы – она погладила шарик, он стал более гладким, – чтобы сгладить последний скол на нём. Надо вспомнить, поняла она, надо вспомнить этот последний кошмар, этот ужас, который пережила накануне крещения. И она почувствовала, как наполняется абсолютной гладкостью круглый прозрачный шарик на ладони.

Она погладила мальчика по стриженной голове и подумала: «Он потеряется сегодня». Вслух сказала: – Не уезжай далеко. Будь осторожен.

Когда обедали, мама мальчика ещё ничего не почувствовала. А она смотрела на него и мучилась, что ничего невозможно сделать, и молча, в себе, умоляла быть осторожнее. А почему, собственно, это нужно было? Почему – осторожнее?

Потому что в предстоящей тяжёлой истории был замешан мальчик с велосипедом.

...Когда-то в её счастливом детстве случилось огорчение. На чужом велосипеде она ехала, прицепившись крюком к грузовику; перед поворотом надо было успеть отцепиться. Она успела, и, когда грузовик умчался, она, всё ещё по инерции планируя, не вовремя оглянулась и зацепилась взглядом за женщину. Спланировала в кювет, а женщина вечером пришла к родителям.

– Никогда мы не купим тебе велосипеда, и не проси, – хрипло сказала мама. – Я знаю, в твоей жизни случится плохая история из-за этой штуки...

Прошли годы.

Вчера она с папой мальчика ездила в маленький белый городок, и купили они в подарок мальчику на день рождения велосипед. Покупая, она вспомнила хриплое пророчество мамы.

Обед закончился. Мальчик на новеньком велосипеде уехал кататься.

К вечеру мама мальчика что-то почувствовала. Она вышла на крыльцо, покричала:

– Веня! Венечка!

И, вернувшись в дом, проронила растерянно:

– Темнеет...

В десять часов она сказала родителям мальчика:

– Надо звонить в Белгород.

– Не надо, – ответила Венечкина мать. – Не надо волновать людей даром. Поищем здесь. – И сообщила в милицию.

Тогда она, по секрету от матери, по междугородному автомату попыталась дозвониться в Белгород.

«Они не могут не знать, где мальчик, я знаю, что они уже знают...».

Но телефон молчал, связи не было.

Она вернулась к родителям, мучаясь из-за невозможности их успокоить. Она точно знала, что в Белгороде беспокоятся из-за их переживаний. Но телефон не соединился, и ей не на кого было опереть своё знание. Как жаль, что знание всегда опирается на опыт. Они ни за что не поверят мне, пока не убедятся сами...

В час ночи поиски пришлось прекратить. Непролазная южная ночь заглядывала к ним в окно и колола висок. Боль разрасталась. За её спиной молча молилась мать Венечки. А отец дежурил по санаторию, в котором мало кто спал спокойно в эту ночь..

Их квартира находилась на территории санатория, раскинувшего домики вдоль лимана. За лиманом была двухсотметровая в ширину песчаная коса. Дальше – море. От берега до косы через лиман тянулся километровый мост. Когда налетали штормовые ветры, мост гудел; она дважды уходила в глубину темноты на мосту – слушать шторм.

В эту бессонную ночь штормило, и гудение моста долетало до комнаты, в которой молилась мать.

Родители мальчика были врачами. Она любила этих людей. Они откликнулись, когда с ней случилась беда, и забрали её к себе. У них была надежда, что смогут помочь, и лечили её упорно.

Только не говорите о двух вещах, просила она. Она просила не говорить с ней о конце света, которого ждали многие вокруг. И не говорить о Боге.

В конце света она не верила. О Боге предпочитала молчать.

Когда рассвело, мать сказала, что надо искать над лиманом. Она знала, что искать там не надо, но засомневалась, и поэтому пошли в сторону лимана. Минут через тридцать она почувствовала, что они уходят. «Откуда уходят?» – подумала и поняла, что не приближаются к мальчику.

– Надо возвращаться, – сказала она, не глядя на мать Венечки. – Меня тошнит, нам надо возвращаться.

И тут мать сорвалась, закричала на неё:



– Тебя тошнит! А мы тебя как родную, это всё из-за тебя, всё ты виновата...

«В чём я виновата, – думала она, глядя на ясный лиман, на утро, обещающее ясный день. – Да, я виновата. Моя мама провидела эту историю с велосипедом. И это я покупала Венечке его. Значит, беда должна была случиться...».

Её приподняло над землей, грудная клетка расширилась, вдох по объёму был больше, чем ей отпустила природа. Она покраснела, побагровела, завибрировала.

– Что... что с тобой?

– Меня тошнит. Я как мембрана, – отвечала она через силу. – Меня приподнимает над землей и выгибает, как мембрану в телефонной трубке, звуком.

Отец мальчика схватил её руку, считая пульс. Пульс частил.

– Что ещё за звук?

– Он идёт со стороны Затоки, – сказала она вдруг. – Он уже близко. Пора возвращаться.

Они вошли в административный корпус, и первые, кто им встретился, были бабушка с внуком. Бабушка смотрела встревоженно, а внук и был Венечка.

Мать проверила сына взглядом и спросила:

– Мама, вы знали вчера в десять часов, что с Венечкой всё в порядке? Он уже был у вас?

– Мы знали, нам уже сообщили из линейной милиции.

И тогда мать произнесла напряжённо и отвернувшись от всех:

– Скажи, что делать дальше.

Она ответила, что бабушке надо возвращаться в Белгород. А Венечке – забрать велосипед из того места, где он его спрятал.

– Я утопил его! Далеко. Не помню. В камышах...

– Я знаю, – ответила она. – Мы поедем на автобусе.

В автобусе сердце болело так, как будто его проткнули шилом и теперь сквозь дырочку тянули дратву. Как будто пьют из сердца сапог, как будто сердце из твёрдой глянцевой кожи, как будто хромовое сердце, – крутилась, слепой придонной рыбой тыкалась мысль в висок. Как будто...

А мать с отцом в автобусе сидели рядом. Бабушка – перед ними. Мальчик сидел один на свободном заднем сиденье, будто всеми оставленный: напёлся – и оставили за ненадобностью. Бедный Венечка, и чемодан на него не свалится?

Один-единственный чемодан на весь автобус лежал над Венечкиной головой. Она услышала вскрик, потом смех, и по автобусу покатались оранжевые шары.

– Я думаю, отчего чемодан тяжёлый? А это апельсины в нём! Как шарахнет меня, и они как посыплются! – возбуждённо рассказывал Венечка.

Ну вот, и чемодан свалился. Теперь надо искать Венечкин поворот...

– Нам выходить! – закричал мальчик. – По-моему, здесь.

– Дальше, – произнесла она.

И поехали дальше.

Венечка ещё дважды кричал: «Здесь!». Но она молча махала рукой. И только за Шабо сказала: «Стоп». Вышли вчетвером, помахав бабушке. Подошли к болоту. Венечка пальцем показал:

– Здесь утопил, чтобы не украл.

Она отца послала в камыши, а про себя вдруг заругалась:

«Пёсы бы тебя побрали, чёртов ребёнок!».

Пришли «пёсы», набросились, одиннадцать штук, на них, окружив лающей стаей. И когда отец поставил на дорогу велосипед, собаки враз исчезли. Впереди была одиннадцатикилометровая, ровная, как стрела, дорога. По псу на километр, подумала.

Был день воскресенья.

– Я хотел на корабле в Турцию уплыть, – рассказывал Венечка, – на крыше высотного дома выращивать настурции. Для бизнеса. А потом бы я вызов прислал маме с папой. Чтобы дом купили в Константинополе. И машину. Не получилось, – вздохнул. – И клинику для них не открыть теперь.

Шли по дороге, и никто не мешал им быть наедине со своими мыслями.

Она вздрогнула: мать ударила отца хворостиной. Что она говорила, слышно не было. Хворостина сломалась, и небо переломило ясность по центру, сразу под солнцем. Она смотрела, как в изломе, словно в расколотившемся яйце, вызрел чёрный петух и крыльями чёрными захлопал. Тотчас другие налетели, и родилась дождь. Первые капли закипели на асфальте.

Почувствовала, что кто-то подходит к мальчику. И постаралась стать так, чтобы Венечка, оглянувшись, не увидел подходящего.

– Садись на велосипед.



Слова тянулись медленно, как разогретый рахат-лукум. Подташнивало, словно пересела сладкого.

Когда Венечка поехал догонять родителей, она решила оглянуться.

Он подходил – высокий, в полосатой пижаме. Кудрявый. Волосы светлые. Глаза (только белки видны) закачены под лоб, как в обмороке. Правая рука через живот в левом кармане... «Как сумасшедший с бритвою в руке...». Она закричала; он стал отдаляться, будто на резинке оттягивали, будто за хвост дернули. А в руке уже держал туфли – чёрные мужские туфли. Сам в пижаме, босой и туфли в руке. Так и отдалялся – спиной, на неё оставив закаченные зенки.

Венечкин отец на крик прибежал. Она спросила:

– Есть тут кто, кроме нас?

– Пижамный; он что?

– Он подходил.

– И что?

– Мне хочется подойти к нему и руками потрогать. Руки сквозь пройдут, я думаю. Это что, галлюцинация?

– Одна на двоих?

– А что?

– Не думай, идём.

Он молчался, она знала, потому что чётки в руке скользили всё быстрее.

Оглянулась. Тот, в пижаме, показал пальцем на отца Венечки и покачал головой. Ткнул в неё пальцем и махнул рукой в сторону Белгорода. Она переспросила жестом. И опять он велел ей идти на Белгород.

И тогда отец Венечки взял её крепко за локоть.

– Не смотри на него.

– Нельзя?

– Не надо.

– А ребёнок его видит?

– Не уверен. Нет, маловероятно.

– Ты знаешь, – сказала она, – сейчас грузовик приедет и увезёт нас в санаторий.

Минут через десять к перекрёстку подъехал грузовик. И увёз их в санаторий.

Её с Венечкой посадили в кабину. Последнее, что она увидела, – как тот, в полосатой пижаме и с туфлями в руке, развернулся и пошёл по пахоте к обрыву. За обрывом ничего не было, кроме моря. Он шёл прямо на обрыв.

«Он шёл прямо на обрыв», – говорила она Венечкиной матери. Мальчик всё ещё спал. Они же проснулись и вспоминая шаг за шагом события прошедших суток.

Между её раскладушкой и кроватью матери была узкая полоска пространства, совпадавшая с просветом незадвинутых штор окна. В этот просвет заглядывала глубокая ночь.

Она сказала:

– Камень уже летит в окно.

Она сказала, и камень, пробив аккуратную дырку, упал на пол. Между раскладушкой и кроватью.

Мать поднялась и начала креститься, крестить окно, углы, её...

Сердце болело невыносимее, чем все эти проклятые сутки. И вдруг её приподняло с подушки, грудь опять развернуло вдохом – большим, чем ей был необходим, начались рвотные позывы, она свесилась с раскладушки, и вырвался из неё крик, выдернул иглу из сердца, что-то шлепнуло, чмокнуло (будто послед роженицы, – подумала она, успела подумать) – и серая тень, зашуршав, шмыгнула под раскладушку.

Мать над ней речитативом зачастила молитву, святой водой окропила её, комнату. Кисточка чётков раскачивалась в руке, как побелочная кисть; зашипели брызги, попав на раскалённую лампочку, и лампочка взорвалась.

В это же время она освобождение поднялась с раскладушки и сказала громко:

– Свободна! И совсем тихо:

– Я крещусь.

А мать закричала:

– Ты сама, сама сказала это! Не забудь, что ты сказала сама. Не отступись от своих слов...

Светало.

Оказалось, не так это просто – креститься.

...С утра она была в странном состоянии: словно поезд, мчащийся под откос. И нужно было рвануть тормоз, но не когда под откос – ведь поезд от рывка упадёт шеей на рельсы, по инерции будет ещё лететь и неминуемо сломает голову. Зачем же тогда стоп-кран дёргать? И из себя не выпрыгнуть – она ощущала



себя и поездом, и пассажиром одновременно. Страшный кентавр на новый манер. И кто придумал меня такую?

Стоя в очереди за соком, она чувствовала, как всё новый и новый уголь забрасывается в топку и жаром несёт от раскалившегося поршня, цилиндра, шестерёнок, колеса, – всё в ней состоит из лязгающего металла и пахнет мазутом, солидолом, маслом машинным, потом мужским...

Стоп! Пломба сорванного стоп-крана полетела под ноги очереди. Продавец вручила трёхлитровую бутылку из рук в руки. Она, сказав «Простите» и, невпопад, «Спасибо», из рук в руки передала бутылку стоящему за ней в очереди: «Подержите!». И побежала – из магазина, из-под откоса, – понеслась, и заколотилась в дверь на замке, а когда ключ, всегда на гвозде висевший, сняла и, в скважину с трудом попав, дверь открыла, – тут же ощутила, как трещат позвонки на ломающейся шее...

Он, Венечкин отец, душил жену на аккуратно убранной супружеской кровати. Лицо он потерял, и она увидела знакомые, уже закаченные под лоб белёсые зенки. Пена на губах.

«Надо под основание черепа подложить свою ладонь, – подумала она, – чтобы противопоставить его силе»; и она представила противостояние силы пальцев и силы ладони – и оказалась в горах, между полированной стеной и бездной.

Поперёк дороги была стена кирпичной кладки. И сзади была стена кирпичной кладки, но с обоями и с картинкой на гвозде. Картинка не обычная, всё на ней живое. И море с покачивающимися кораблями, и две мартышки на окне с глазами старого Менделя перед смертью, мартышки с каторжанской цепью на лапах... Она не хотела быть такой – изнутри комнаты смотреть глазами мартышек и Менделя Крика на покачивающиеся корабли в бухте. Она хотела дальше, за бухту и корабли. И она прошла сквозь кирпичную стену.

Оказалась в комнате, где никто никого... Все чай пили. И жена говорила муху:

– Мы не можем крестить её в Белгороде: отец Фёдор с партбилетом, а его староста сводку по субботам в КГБ передаёт в обязательном порядке. Она историк, ей паспортные данные хранить в себе надо, а не старосте дарить для галочки.

А он отвечал:

– К отцу Василию повезём, он прогрессивный, он без паспорта покрестит...

– Нет, – возражала ему жена, – к отцу Василию нельзя, он с иностранцами работает, а значит, опять сводки и КГБ; к отцу Михаилу лучше, у него детей одиннадцать, ему уже ничего не опасно...

Не страшно, поправила она в себе. Не страшно, что детей столько. Но почему, как пёсов, одиннадцать – надо двенадцать, двенадцать лучше, чтобы как апостолов...

– Вот и будешь двенадцатой. Он тебя и окрестит, девочка.

– Кто, кто сказал? Это вы?

– Нет, это не мы, – отвечали муж с женою. – Это не мы, но отец Михаил. Это он сможет – покрестить тебя без паспорта и сводки старостовой.

И они приехали к отцу Михаилу в церковь Святой Троицы. Обошли церковь – чистенькую, беленькую, с Иоанном Крестителем, выпешдшим навстречу с блюдом, с собственной головой на блюде серебряном.

– Ой... – только и произнесла она, обнаружив, что все ушли обедать, что никого в церкви, кроме Иоанна Крестителя с блюдом, и дверь заперта. Пошла вдоль стеночки в иконах, в золоте и свечках, шуршащих сухим пламенем, пахнущих лугом, пчёлами, солнечным праздником. Остановилась перед Божьей Матерью и сказала:

– Видишь, как я растеряна и боюсь того, кто с блюдом, но без головы? Видишь, я боюсь, что дверь закрыта, что все обедать ушли, а про то забыли, зачем я здесь... Смотри, Божья Мать, во мне, кроме Страха, есть ли что? Мне изнутри страха не видно, посмотри, что там, если не изнутри обезьянок, прикованных цепью на окошке, взглянуть, а из просторов берега и моря, – прочны ли кольца в стене? Закричат ли обезьянки, как Мендель Крик перед смертью?

А Мать Божья ладонь на затылок её опустила и посмотрела в глаза – долго. И пришли те, кто двери отпирает, и крест на голове её выстригли, и «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие...» произнесли.

И сказал отец Михаил голубиным голосом:

– Нет тебе крестного отца, кроме священника; найдёшь духовника и наставника сама, и звать его как меня – Михаилом. А икона, что ты разговаривала, Божьей Матери, чудотворная будет. И что с Крестителем в церкви тебя забыли – счастье твоё, ибо запертым в церкви оказаться – это не каждому выпадает. Пока же иди, живи, а я за тебя, Зоя, молиться буду – как за детей своих, коих одиннадцать душ у меня.

– Было, – сказала она. – А теперь двенадцать, как апостолов.

Отец Михаил посмотрел на неё и кулачком в лоб стукнул:

– Гордыня, Зоя, гордыня! Молись, и милостив к тебе Господь будет...



Господь милостив. Он простоволос и бос и пот кровавый знает. Потому в сердце понимание, что всему там место есть. И сомнения он принимает, и блуд, и другой какой грех. Всё в себя принимает, и собою очищает от скверны, и в мир возвращает белоснежным...

Не то что я – из-под языка великана в страхе выкатываюсь, чтобы не рассосал, как валидол в капсуле.

Он ладонь надо мною раскрыл, я тепло, её ощущаю. И нет во мне неверия, но и смирения нет. Ибо что смирению учит? Чему – смирение?

О Михаил, где-то стоит с мечом огненным Архангел с именем этим, и в страхе я смотрю на мягкое раздвоенное жало меча его. Во мне много страха, и преодолеваю я его изо дня в день в муке и обмирании душевном. Но тепла ладонь над головой, и вера сильнее с каждым утром.

Господи! Смилуйся над неверностью моёй, прости невежеству моему и научи – не знаю, как сказать-то неговоримое! – научи тому, что сердцем знается вне слов – сутью; и словам научи, совпадающим с истиной, и добру научи, без корысти, и смирению перед силой, что не страхом полнит, а кулак в ладонь разворачивает от живота...

Тесно мне в пространстве тела, тесно в капсуле у мира под языком...

И она с удивлением прислушалась к своему телу – то пело тело, то холодело... Руки и ноги. Что у меня с нею общего? Руки и ноги общие. То больно им, то слишком холодно, то ещё как... Выпорхнуть, отделиться от неё! Свободы хочу, простора...

Не оставь меня. Господи, на пути моём к Тебе, через все скорби людские проходящую, через дома сквозные, коридоры в засовах, сквозь слёзы страха, боли и сомнений, как сквозь надежду, к свету Твоему продающуюся, как через стену – к облаку высокому!..

И тут увидела она луч зелёный. То идолы сквозь пространство взглядом лазерным отыскали её и в глаза взглянули впервые. И она пошла по лучу. И глаз ни отвести, ни закрыть не сумела больше.

...А мёртвые ни сраму не имут, ни глаз опустить не могут. Они сплошная наша голая совесть, и потому их... закапывают. А они живые, живые они.

«ОКОЁМ»

ПУШКИН СПАСАЕТ ОТ АМНЕЗИИ

На самом излёте осени 2019 года в Республике Молдова прошёл Шестой Международный фестиваль русской литературы «Пушкинская горка» – единственный, кстати, в стране. В разные годы гостями фестиваля были поэты и прозаики из России, Республики Беларусь, Украины и Болгарии, неизменно увозившие с собой особое очарование моей Молдовы, и, смею заметить, некое лёгкое потрясение от того, как преданно почитают на нашей земле думающие люди Александра Сергеевича. Называю, кроме нынешних гостей, их известные имена: Игорь Михайлов – прозаик, заместитель главного редактора журнала «Юность», Виктор Кирюшин – поэт, секретарь правления СП России, Владислав Артёмов – главный редактор знаменитого журнала «Москва», Станислав Минаков – известный русский поэт, прозаик и эссеист, переводчик, публицист, Надя Попова – поэт и переводчик, главный редактор литературной газеты СП Болгарии в Софии, Владимир Фёдоров – поэт, драматург, главный редактор «Общественно-литературной газеты», Сашо Серафимов (поэт, Болгария), Нина Орлова-Маркграф – поэт, прозаик, член СП России; Евгений Шишкин – прозаик, драматург, заведующий отделом прозы журнала «Наш современник», Николай Стародымов – подполковник запаса, военный журналист, главный редактор журнала «Боевое братство», Олег Зайцев – поэт, журналист, издатель, председатель Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», Юрий Юрченко – поэт, драматург, актёр (Париж-Москва) и другие. Каждый из наших гостей – уникален, и я благодарю Бога за встречу с ними, за то, что приезжали в Молдавию на нашу заветную Горку, за чувство удивительной духовной общности и родства – по русскому языку и общему поэтическому истоку Пушкину!

Сегодня дежурная, захватанная и, к несчастью, часто обесцененная школьной муштрой и официозным бряцаньем любовь к Пушкину сменилась для одних – новым яростным желанием «сбросить Поэта с корабля современности», другим же посчастливилось осознать уникальность и значимость человека, создавшего русский литературный язык необычайной красоты, впервые заставившего звучать его в полную силу. «Милость к падшим призывать» ныне не актуально, однако, что бы ни придумывали ненавистники Пушкина и разномастные местечковые дантесы, а ничего не могут поделать со всё более очевидной – с бегом столетий – современностью и нерушимой гармонией его произведений.

Вот и мчится наш литературный кишинёвский год между двух дат – даты рождения А.С. и даты его ухода. Мы ведь счастливы! У нас, кроме уникального кишинёвского Дома-музея поэта на знаменитом старинном городском пятачке «Пушкинская горка» («Colina Puşchin»), ещё есть волшебное село Долна с восстановленной после перестроечной разрухи усадьбой помещика Ралли, где гостил молодой поэт, в окрестностях которого встретил цыганский табор, с которым ушёл кочевать, влюбившись в Земфиру...

Когда-то сюда приезжали солидные официальные писательские делегации со всего СССР, когда-то дорогих гостей на самом, что ни на есть, правительственном уровне опекали и «утощали» красотами Молдавии. По заведённой в те времена традиции, многоавтбусная колонна до совсем недавнего времени вывозила 6 июня и горожан – преданных почитателей «к Пушкину» – люди ездили семьями и компаниями, проводили весь день в окрестностях усадьбы, устраивались на травке под могучими орехами, отдыхали, закусывали, пели. А параллельно шёл концерт – выступали фольклорные группы из разных районов, местные жители, обрядившись «цыганами», школьники и барды, чтецы из народа и профессиональные актёры – с утра и часов до пяти вечера. Игорь Михайлов, впервые оказавшись на фестивале в 2014 году и ещё заставший это удивительное «смешение муз», национальностей, разноязыкой поэтической речи, тогда, поражённый, воскликнул: «Да тут у вас просто Кустурица какой-то!»

Официального же регулярного фестиваля у русских писателей не было никогда. И, может быть, самое чудесное из того, что я придумала в этой жизни, – он, наш фестиваль «Пушкинская горка!» Хочу акцентировать особое внимание на именах людей, благодаря которым фестиваль появился на молдавской



земле и с каждым годом набирает новую высоту; на именах людей, благодаря доброй воле и участию которых и ныне он стал ярчайшим событием культурной жизни Молдавии.

Спасибо РЦНК, его руководителям – «крёстному отцу» фестиваля – Валентину Евгеньевичу Рыбицкому и сегодняшнему его доброму гению – Михаилу Владимировичу Давыдову, горячо поддержавшим идею фестиваля. Хочу выразить самую горячую признательность Чрезвычайному и полномочному послу РФ в РМ господину Олегу Владимировичу Васнецову за неизменное деятельное внимание к проблемам русских писателей Молдовы.

Спасибо Людмиле Алексеевне Лащёновой – бессменному председателю Русской общины РМ, неизменно подставляющей фестивалю верное плечо, помогающей в пропаганде «Пушкинской горки» и в организации перемещений фестиваля в регионы республики!

Спасибо Анне Евгеньевне Бабин – директору Белорусского культурного центра в Республике Молдова, уже дважды бравшей на себя проведение Второго вечера фестиваля: на самом высоком уровне организовавшей его оформление, выступление гостей, хозяев фестиваля и членов Белорусской общины. И возможность приезда и пребывания в Кишинёве Валентины Поликаниной – замечательной поэтессы из Минска – заслуга Анна Евгеньевна. Не могу не отметить, что «Пушкинскую горку» неизменно поддерживает и посещает Наталья Чичук – супруга посла Республики Беларусь в РМ, а в 2018 году и сам Сергей Николаевич Чичук встречал и приветствовал наших гостей в переполненном зале Белорусского культурного центра.

Низкий поклон башкану Гагаузии Ирине Фёдоровне Влах, горячо одобрившей наше предложение о проведении в Комрате, столице Гагаузии, третьего, заключительного дня и закрытия фестиваля! В его подготовке, по поручению Ирины Фёдоровны, самое активное участие приняло Главное управление культуры АТО Гагаузии, Ирина Анатольевна Константинова – директор Научно-исследовательского центра имени М. Маруневич, радушно и тепло принявшая гостей фестиваля – сначала в Аллее славы Комрата, а затем – в Центральной картинной галерее, где состоялась однодневная передвижная выставка Товарищества русских художников «М-АРТ» и наш музыкально-поэтический вечер на пяти (!) языках – русском, молдавском, белорусском, украинском и даже французском, благодаря участию в фестивале актёра и блестящего чтеца из Франции Ивана Головина!

Спасибо замечательным гагаузским лиценстам и поэтам, представившим произведения Пушкина и свои собственные – и на русском, и на гагаузском!

Наш друг и многолетний партнёр – Дом-музей А.С. Пушкина в Кишинёве с филиалом в селе Долна – поклон Тебе и пожелание добрых перемен, долгой светоносной жизни на благо нашей страны! Верю, что будет так! Новый директор Михаил Лупашко, в декабре утверждённый Корнелием Поповичем, главой Министерства образования, культуры и исследований РМ, уверена, сделает всё для процветания этого удивительного музея, ставшего поистине культовым, намоленным центром притяжения русского мира Молдавии. Честь и хвала музеографу Дома-музея Марине Подлесной, великолепно проведившей все эти годы экскурсии для наших гостей!

Впервые в 2019 году «Пушкинскую горку» активно поддержало Молодёжное творческое объединение «Студия «Автор» (Дмитров – Тирасполь), руководитель которой Павел Сущко – инициатор и куратор фестиваля в Приднестровье «Авторские мосты «Мэрцишора», из России координировал и спонсировал участие в фестивале тираспольского молодёжного поэтического «десанта» – Алексея Захарчука и Дианы Федорович, ставшей победительницей Турнира поэтов! Спасибо, друзья дорогие!

В Шестом международном фестивале русской литературы в Молдове в этом году, к нашей радости, самое активное участие принял кишинёвский лицей им. А.С. Пушкина, отметивший не так давно своё 70-летие. Выражаем горячую благодарность директору Оксане Васильевне Абрамовой и преподавателю, члену правления АРП РМ Ольге Назаренко за прекрасную организацию лиценстов для участия в Турнире молодых поэтов и чтецов, традиционно прошедшем в рамках фестиваля в Доме-музее А.С. Пушкина и завершившемся в стенах лицея.

Особая благодарность мастерам Товарищества русских художников РМ «М-АРТ» – Аркадию Антосюку, Юрию Лащевскому, его создателю и председателю Сергею Сулину, а также Викторине Рокачук за поддержку и живописное, графическое неподражаемое обрамление «Пушкинской горки». Это уже второе наше совместное проведение фестиваля. В прошлом году яркую передвижную выставку Мартовцев наш фестиваль представлял в Бендерах (Приднестровье).

Благодарю моих дорогих коллег и друзей по Ассоциации, независимых русских литераторов Республики Молдова и музыкантов – без их деятельного участия в работе фестиваля я никогда не смогла бы воплотить мечту в жизнь! Шестую «Пушкинскую горку» украсили поэзией, прозой, участием в мастер-классах и музыкальными произведениями Наталья Новохатняя, Александр Левицкий, Татьяна Некрасова, Татьяна Волошина-Орлова, Татьяна Шадрина, Сергей Пагын, Наталья Барабанщикова, Диана Жалбэ, Тамара Артемьева, Руслан Михалаки, Татьяна Захарова-Опря, Борис Амамбаев, Алексей Дигоре,

Анастасия и Тамара Гусаровы, их ученики – воспитанники лицея им. С.В. Рахманинова Катя Кожокарь и Октавиан Пташник!

А наши приднестровские друзья, примчавшиеся на «Пушкинскую горку» в Комрат! Представители Союза писателей Приднестровья, приехавшие из Тирасполя, Бендер, Слободзеи, Первомайска для участия в фестивале – Татьяна Зубкова, Муза Гончарова, Нина Коваленко, Оксана Сергеева, Натали Самоний! – спасибо за удивительное чувство братства и дружества, за девиз, ни разу не преданный: «Русские своих не бросают!».

И, конечно, самые искренние благодарность и восхищение щедрому и бескорыстному спонсору фестиваля, попросившему себя не называть, – человеку, хорошо понимающему важность и необходимость подобного действия для сохранения на земле Молдовы русского языка, для популяризации русской классической и современной литературы, для защиты и развития русской литературы в Молдове, как составляющей части культурной сокровищницы нашей страны – без его помощи в этом году «Пушкинская горка» не состоялась бы, что в юбилейный год Александра Сергеевича было бы огромной несправедливостью. А в этом году на самом краешке осени фестиваль прошёл уже в шестой раз, и его свет и тепло долго будут освещать зимние сумерки и согревать душу.

Что принёс нынешний фестиваль? Кроме очевидной радости общения, встреч со старыми друзьями и знакомств с новыми сильными, самобытными авторами? Кроме блестящих мастер-классов, проведённых известными писателями и поэтами Светланой Василенко, Алексеем Ахматовым и Алексеем Полуботой? Кроме «ожного сияния в русском поле» – душевной встречи руководителей двух уникальных русских литературных объединений региона – О. Рудягиной и Сергея Главацкого – поэта и подвижника, столь деликатного и тонкого, сколь и бескомпромиссного в вопросах защиты русской литературы, – обсуждения планов продолжения сотрудничества Ассоциации русских писателей Республики Молдова с Южнорусским Союзом Писателей и обмена материалами между двумя дружественными «толстяками» «Южным сиянием» и «Русским полем»? Кроме открытия нашими гостями для себя страны Молдова с многонациональным гостеприимным народом, великолепной кухней и дивным вином? Чем же навсегда одарила нас шестая по счёту «Пушкинская горка», кроме надежд на продолжение разговора о самом главном?!

Фестиваль снова дал нам чувство единения в сегодняшнем противоречивом мире, разлетающемся на осколки; чувство удивительного родства – «по Пушкину», когда в очередной раз подтвердилось: для нас, таких разных, живущих ныне в не зависимых друг от друга странах, поэзия Пушкина служит неизменным паролем самоидентификации – верности Слову, добру, служению отчизне, справедливости и милосердию – где бы мы ни находились, в какие временные провалы бы ни попадали. Повторюсь, Пушкин спасает от амнезии. В самом деле! Из века в век Поэт протягивает нам верную руку, и мы вспоминаем, узнаём самих себя – в горней стране пушкинской лучезарной поэзии – кем бы мы по происхождению, национальности и убеждениям ни были – «белые» ли, «красные», «пролетарии» или «голубая кровь». Вдумайтесь! Дважды за век пережил великий народ страшную трагедию – утрату государства. Рухнули все возможные связи, но произведения Александра Сергеевича, стоит только взять в руки заветный том, возвращают нам память о прошлом, дают путеводную нить к самим себе. Не потому ли с таким трепетом воспринимались и гостями, и хозяевами фестиваля взволнованно звучащие в исполнении «племени младого, незнакомого» – лицеистов Кишинёва, Тирасполя, Комрата и Копчака знакомые с детства строки!

Итак, прощай, «Пушкинская горка» – 2019! Да здравствует «Пушкинская горка» – 2020!

*Олеся Рудягина, мастер литературы Республики Молдова,
председатель Ассоциации русских писателей РМ,
главный редактор журнала «Русское поле»*



ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА

Кишинёв

БЕГЛЕЦ НА БЕЛОМ ПОЛЕ

ВОЛЬНОЕ

до времени, душа моя, прощай!
лети себе и ни о чём не помни.
теперь мы – камни, а судьба – праща,
и вследа летят прицельно копыя молний.

душа моя, счастливого пути!
лети себе и ни о чём не думай,
тогда плохое нам не повредит,
а доброе – хороший штурман.

и, наконец, душа моя, прости.
лети себе и ничего не бойся,
а встретимся – нас боженька срастит,
как землю с небом сращивает осень.

а если нет – нам будет всё равно,
душа моя, нам и сейчас почти что
легко – и ты прощаешься со мной,
а я не слышу.

ОКТЯБРЬСКОЕ

рассмотрела осени лицо,
там такое самообладанье,
словно смерть не точит червецом,
а целует солнечными ртами,

золотит, румянит, придаёт
новый смысл, а старый провисает
паутины шёлковым бельём,
ивы спутанными волосами.

и теперь, невнятный человек,
знаю приблизительно и грубо,
что в её осенней голове –
ветер, листья, солнечные губы.

КУДА ОТ ЭТОГО

зачем ты, сссобака, мне снишься
и каждую божью ночь,
мигая фонарной зеницей,
пытаешься сон перевозмочь?
проснусь – ничего же не вспомню,
целебен забвения мёд.
невидан, неслыхан, непонят.
но птица, но лист промелькнёт –

испорченному телефону
никто и ничто не указ,
и вот же – споткнулась и помню
эх, раз
ещё раз
каждый раз

ЛУЧШИЕ ДНИ

любовь моя которой ни следа
а только слух и благорастворенье
для нас не будет страшного суда
недоумения и подозрений

а только сад осенний райский сад
айва и облепиха и шиповник
и ослепительные небеса
неглубоко в них

ДЕКАБРЬСКОЕ

а был бы снег... – когда бы не тепло,
не жалкий жёлтый лист на чёрной ветке,
и не текло тогда бы, а легло
легко, как сон, и остудило веки.

невидимость, неслышимость, туман.
забвение, смирение, а дальше –
стигмат звезды, погасшие дома
и в сонный мир новорождённый мальчик.

НЕ ТОРОПЛЮ, НО

не суетись, не хлопочи лицом,
и будет всё, что будет, необходимо
и в самый раз и вовремя – как сон,
конца не видно.

я буду жить,
по краю жёлтый лист –
ну, сколько там отпущено счастливым? –
и столько лиц навстречу, белых лиц,
крошечный ливень.

НАВЫНОС

догоняют любимых на этом свете,
но всегда опаздывают, поскольку
временные петли, удавки, сети
оставляют следы перемены горькой –

и тогда невзаимно, тогда напрасно
настигать, окликать, отражать смятение.
так не надо, не надо за шапкой красной
от ствола к стволу в безнадежном теле.



и под шапкой шут его знает нынче
кто да что да зачем да с каким приветом
ах любовь навывает и жизнь навывает
и прости что тебе говорю об этом

ОЩУТИМОЕ

дни буднично-неповторимы
так жить и жить бы вместе нам
и ледяные мандарины
разламывать напополам

о главном не сказать конечно
да просто не произнести
не потому что страх и нежность
а потому что низкий стиль

и прошлое непримиримо
и настоящее легко
и будущее мимо мимо
неуловимо под рукой

СМЕРТНОЕ

всё это так по-человечьи
предательски и налегке
что даже воздух обесцвечен
надышанный бог знает кем

чёрт знает кем преображённый
в горючую взрывную смесь
за искрой искра да за что нам
не с нами не сейчас не здесь

НАЧАЛО

впусти туман, подставь ему лицо,
пока он жмёт протянутую руку,
и то, что называется концом –
уже начало, движемся по круту:

какой-то год, но осень всё равно,
и огненные листья холодны, как
багровые закаты над страной,
горящей, нет, не рукописью – книгой.

найти бы эту рукопись и, нет,
не сжечь – перечитать, расставить точки,
и с мёртвой точки двинется сюжет –
беглец на белом поле чёрной ночи.

ПОПРАВИМОЕ

всё поправимо – сказала, – пока мы живы.
похоже, поторопилась, была наивна,
здоровая, беспечна, не знала больших ошибок,
любила стоять под ливнем.

с тех пор умнее не стала, но знаю точно:
мелочи поправимы, когда не просить о большем –
и с божьей помощью мне голубиной почтой
будет записка, что ты в порядке –
теперь уж точно.

непоправимо то, что стерпе... слюбилось
намертво, будто имя в смешную кличку.
люди, не бойтесь жить, даже если в минус,
и умирать не бойтесь, оно привычно.

ОПТИКА

свет становится рассеян,
будто бы со всех сторон
Ирий людям, и растениям,
и животным отворён –

два-три раза в жизни словно
чьи-то, сами не свои:
сложной оптикой изломан
каждый – перед ним стоим,

ясные, как луч, прямые,
разноцветные, как сны...

миг – и сумерки размыли
нас до пятен ледяных,

до привычных невротичных
искажений именных.

СЕРГЕЙ ПАГЫН

Единцы

СТРАШНОЙ ЧАСТИ ТРИПТИХА НЕ БУДЕТ

САД ЗЕМНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ

Босх показал нам современный пляж.
Здесь шум и гам, и окрики мамаш
под чудными грибами и цветами.
Вот юноша, приподнятый волной,
на рыбе восседает надувной,
гребя куда-то тонкими руками.

Вот в шар прозрачный дева забралась,
и в нём бежит и падает, смеясь,
и парни шар вдоль берега толкают.
Правее, у цветущего куста,
на горке детской ноги изо рта
раскрашенного чудища свисают.



У кромки водной вот малец идёт,
и держит мяч, как заповедный плод.
В бассейне круглом веселятся люди...

И верится: огромен и незрим,
в тени блаженной спит Иероним –
и страшной части триптиха не будет.

Мы снимся морю...
Мы уже легки,
почти что безмянны и мгновенны.
И только пламя счастья и тоски
покуда ходит по ветвистым венам.

Мы снимся морю...
Мы уже легки.
И мы почти нигде и ниоткуда...

Лишь на руке привстали волоски
в предчувствии стремительного чуда.

ГРОЗА

Высоко над нами валят лес –
в глубине разросшихся небес
падают огромные деревья.
И трещит прозрачная кора.
И летят куда-то со двора
светлые соломины и перья,

и соцветья липы, и листва...
Носятся по воздуху слова,
словно полегчавшие в значенье:
– Ты бельё сними с верёвки!
– Снял!

Ухаетверху лесоповал.
Падающей веточки свеченье.

ЗИМНИЙ ПРОХОЖИЙ

Он идёт подобно безумной Грете,
позабыв о тлеющей сигарете,
в летних туфлях, в куцых и рваных брюках
между псов, лежащих на тёплых люках.

Вдоль его дороги кричат деревья,
из глубин,
из тёмного из поверья
выползают чудища, все стозевны,
и пылают зданий окрестных стены.

Он глядит вперёд, не отводит взгляда,
ничего не нужно ему от ада.
Ни меча в его руке, ни сковородки –
беломора пачка и четверть водки.



Он идёт широким и твёрдым шагом,
и во мгле скрывается за оврагом.
И опять становится тихо в мире,
но теперь он тоньше,
теперь он шире,
и теперь страшнее он и чудесней...

Человек во тьме идёт, поёт песню.

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

Поминовенье.
Ветреный погост.
Трепещет день как светлая тряпица.
Грунтовой тьме,
весне, пошедшей в рост,
дано сейчас взаимно просочиться.

И если можно зрением иным
проникнуть в мир, увидишь: у рябины
стоит умерший рядышком с живым,
одной слезы Господней – половины.

Вновь к зиме Господь на землю сыплет
иней сияющую соль.
Скоро снег начнётся неусыпный,
и людскую успокоит боль.

А пока лишь музыка над всеми,
и под нею в зыбкой тишине
словом ты вычерпываешь время,
и мерцает вечное на дне.

ЛЕЖУ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ

Я не знаю, когда я умру,
и куда после смерти пойду.
Но листва тополей на ветру,
словно светлая рябь на пруду.

Сверху в лодочке кто-то плывёт,
бесконечно живой и родной.
И веслом пресный воздух гребёт,
не касаясь травы надо мной.

Ты говоришь – и смерти нет...
Есть осень, ветер, табурет
у мокрого порога.
Ещё есть тыква-голова,
в тазу опавшая листва
и капля-недотрога,



что на верёвке бельевой
висит, горит сама собой...
И шерсть дрожит овечья,
репьём уловлена сухим,
и надо всем домашний дым
беззвучной длится речью.

Оса на тёплой глиняной стене,
ореха лист, слетающий беззвучно...
К всеобщей подготовлен белизне,
осенний мир является поштучно.

И помнишь ты ещё наперечёт
и тыквину на лавочке, и грушу,
дымок костра, разлуки горький рот,
во сне твоём неясном промелькнувший.
И щуришься, и плачешь на свету,
и ничего о будущем не знаешь,
но словно впрок ты сада пустоту
слезою безголосой наполняешь.

Т.Н.

Свет, замедляясь, создаёт версту –
лесок и поле...
С бесполезным тщаньем
стремишься ты заполнить пустоту,
в которой бездна неба и прощанья,
своей душой, летящею с листвою
и отданной пространству на поруки,
но и она – не свет, не вещество,
а музыка печали и разлуки.

Зима в провинции огромна,
у края города, когда
в давно некрашенные окна
глазеет жадно высота.

Ещё не время снежной манны,
и рот чернеет пустоты.
Не затмевает свет фонарный
мерцанья близкого звезды

А утром – иней, птичья склока
среди сияющих ветвей.
Горят шипы чертополоха,
став за ночь толще и длинней.

И он как буквица – оттуда,
из книги стародавних зим...
И бытия земного чудо
дыханьем полнится твоим.

ТАТЬЯНА ВОЛОШИНА-ОРЛОВА

Кишинёв

В РАЮ БЫЛО ТЕСНО

АДАМ

Мужа у неё не было. А сын родился. Почти чудо, если бы не сумма, которую пришлось оставить в дорогой клинике. Пока ходила беременной, назвала сына Адам – в честь прадеда, как обещала матери, а потом выбрала садик, школу и даже присмотрела подходящий университет. Решила, что сыну будет лучше стать инженером, как его дед. Вполне достойная мужская специальность: и себя обеспечит, и её, когда выйдет на пенсию.

Адам родился тридцать первого декабря. Неправильное выбрал время. Все нормальные люди Новый Год празднуют, а у неё роды. Зря целый день у плиты простояла. Только накрыла на стол – начались схватки. Перед гостями неудобно.

Она думала, сын выйдет похожим на неё – светловолосым, с правильными чертами лица и греческим носом. Мальчик получился курносый, лысым и чернобровым. Только глаза оказались такие же, как у неё – зелёные. Волосы, конечно, чуть позже отросли, но тёмные и своенравные.

Адам долго и упрямо не признавал горшок, отказывался говорить и часто болел, несмотря на то, что она закаляла его и пичкала полезной едой. Когда Адаму исполнилось четыре года, она купила ему велосипед. Думала, обрадуется, как положено детям, а он – в рёв. Насильно посадила, так он брыкался, упал, ударился о бордюр и разбил подбородок. Позже Адам не проявил интереса и к конструктору, зато потянулся в магазине к яркому плюшевому мишке. «С ним что-то не так!» – решила его обеспокоенная создательница и, желая помочь сыну, повезла его в психиатрическую клинику... Хорошо, врач попался порядочный – лечить не стал.

Учёба в школе давалась Адаму с трудом. Особенно математика и стихи, которые он учил, вдохновлённый ремнём и криками. Стали возникать проблемы с именем – Адама дразнили «мадам» и часто интересовались, кто он по национальности. В восемнадцать лет мальчик ушёл из дома. Адам поступил учиться на повара и наконец-то сменил ненавистное имя. Жизнь, потраченная на сотворение сына по её образу и подобию, оказалась прожита зря.

ЕВА

Она жила будто в раю. Не нужно было думать о хлебе насущном. Знай только придумывай разные блюда из манны небесной, ополаскивай лotosовые лепестки фарфоровых тарелок, слушай пение ангелов в современной обработке из колонок компьютера. А потом пошёл этот дождь. Нужно было просто остаться дома. Никуда не ходить. Но в раю было душно. В раю было тесно, она уже давно знала, что он мал ей, как старое платье. И она вышла из рая. На улицу. А там – дождь размывал город, дороги, дома, людей, превращая в единый поток глины. Когда-то глину звали Адам.

Адам налетел на неё там, где раньше был пешеходный переход, а теперь неслась серо-коричневая грязево-дождевая жижа. Они оба захлестнули её, и она ощутила беспомощность.

– Привет! – сказала она своему старинному другу.

– Привет! – ответил Адам. И посмотрел на неё так, будто бы она стояла перед ним, едва прикрытая фиговым листом, словно скульптура.

Она и была скульптура, обмотанная белым мокрым сарафаном. Дождь усилился, стал похожим на душ, под которым они спустя полчаса уже стояли и целовали друг друга, и поцелуи катились крупными каплями по лицу, по глазам, скользили по шее, капали на грудь, ласкали ноги и убегали, убегали вниз, куда все реки текут. Мир потерял форму, были только руки, которые лепили единое тело из двух. А потом вышло солнце. Она проснулась утром, а дождя не было. И мятая постель смотрелась, как белая потрескавшаяся грязь. Солнце нестерпимо жгло отчаянием потерянного рая. Адам снова стал городом, дорогами и домами с чужим и уютным раем. «Камо грядеши?» – спрашивала себя Ева, изгнанная на землю. А внутри её чрева гончарный круг времени поднимал стенки будущего сосуда жизни.



ЗАЙЧИК

– Зайчик, давай замнём!

Она и замыла как фантик. А потом ещё раз и снова. Так повторялось с первым, со вторым и с третьим. Потом они всё равно бросали её.

Сегодня утром она ела конфеты, с ненавистью кидая скомканные фантики в мусорное ведро, жалела себя и смотрела на белую линию на запястье. В травмпункте обещали, что шрам рассосётся. Но вот остался – тонкий, будто серебряная цепочка. До этого бывший подарил настоящую, золотую. Чего, дура, полезла со своими упрёками?! Знала же – у него крутой нрав.

Они познакомилась в клубе. Он – телеведущий, весёлый и громкий, не отходил от неё целый вечер. Девчонки завидовали. Зайчик радовалась – такой защитит, если надо, и, конечно, влюбилась. Завертелось, закружилось. Прожили вместе пять лет. Всякое бывало, а у кого не бывает? Он говорил, что она его пушистый зайчик и ночами добросовестно любил. В другое время он со скучающим видом сидел спиной к ней за компьютером. Она пыталась шутить, но от навязчивых мыслей, что ему скучно с ней, шутки получались либо несмешные, либо пошловатые. Пошловатым он ухмылялся: «У моего зайчика в голове щекоатливый пушок». И вправду, она была похожа на зайчика: невысокого роста, пухленькая, с пушистой чёлкой на весь лоб. Движения суетливые, но мягкие.

Развернув последнюю конфету в виде мишки, Зайчик на мгновение задумалась: что гуманнее: откусить голову или туловище? Вспомнила, как бывший скомкал и выкинул «Дружбу» – картинку, вернее, репродукцию картины Чюрлёниса. Её подарил коллега – просто так, без умысла. Человек по доброте душевной отдал то, что она выпросила. Но бывший решил – это чей-то «подкат» – подарочек нового ухажёра. Устроил скандал. Правда, она никогда не рассказывала, что любит живопись. Неловко было говорить с ним о таких вещах.

Конфеты закончились. На работу идти не хотелось. Вечером ждала ещё одна головная боль – корпоратив.

.....

Эмилю, возможно, в силу того что он наполовину литовец, нравился Чюрлёнис. Собственно, они и начали общаться потому, что «цокая» по виртуальным фотоальбомам друзей в социальной сети, она наткнулась на его альбомы с картинами необычного литовского художника. В детстве, с мамой, когда та работала нянечкой в Каунасе, она побывала в музее Микалоюса Чюрлёниса. Его картины вызвали у неё странные ощущения. Они сладко и мучительно напоминали о чём-то, чего и не было, но всё же было, хотя бы во сне. А Эмиль знал о Чюрлёнисе гораздо больше, чем она, и не только о нём. Рассказал, что полюбившуюся им обоим картину художник посвятил своей верной подруге, которая много помогала ему и несколько раз спасала от гибели. Картина называлась «Дружба», изображена была на ней королева с закрытыми глазами, держащая в руках светящийся шар. Свет от него будто выходил из картины и заполнял всё вокруг.

У Эмиля были тонкие аристократические черты. Его лицо могло бы показаться острым и даже жестоким, если бы не мечтательность. Она делала его беззащитным. Эмиль ходил по воскресеньям в католическую церковь и пел в хоре. Обещал сводить Зайчика на их рождественский концерт. Он много читал. А ещё оказалось, у них было похожее чувство юмора и не приходилось выдумывать темы для общения. Он часто вырuchал её с работой, подкармливал бананами и булочками.

В коллективе к Эмилю относились насмешливо и немного настороженно. Он не был компанейским. Некоторым даже казалось, что он смотрит на всех свысока. Необщительный, молчаливый, этот литовец был просто застенчив. Как с таким на людях показаться? Все и её чураться начнут. Зайчик болтала с Эмилем после работы, когда офис пустел. С ней он становился весёлым, разговорчивым и смешливым. Они всё чаще и чаще «случайно» задерживались на работе и говорили о необычных вещах, например, о картинах или о снах. Зайчику с Эмилем было уютно, как с подругой, которая была у неё в детстве в Каунасе.

Когда телеведущий бросил её, Эмиль помог поменять замок на дверях (чтоб спокойнее было), принёс с базара продукты и купил конфет – для утешения. А потом, перед уходом, неожиданно предложил вместе пойти на корпоратив. Вот уж не вовремя! Зайчик расстроилась и на работе решительно подошла к Эмилю, чтобы объяснить, но ступевалась, зачем-то перешла на фальшиво-заигрывающий тон. В это время её окликнули: «Зайчик, ты с нами?». Она мило улыбнулась, пообещала скоро вернуться и убежала обедать.

Обедали в столовой кожевенного завода. Ребята острили, угощали картошкой фри и сухариками с беконом. Она макала картошку в кетчуп и думала: хорошо быть своей! В этой фирме она работала уже год. Она вообще очень удивилась вначале, что её взяли сюда, а бывший был уверен, это потому, что менеджер положил на неё глаз. Оказалось, всем нравилась её работа.

«Зайчик, а ты...». «Зайчик, держи...». «Зайчик, видела этот приколы?». Она смеялась, чувствуя себя необыкновенно привлекательной. Вообще-то ей льстило, что Эмиль влюбился в неё. Она даже на мгновение



представила их парой. Наверное, с ним она никогда бы не чувствовала себя нелюбимой и непонятой.

После обеда навалилась работа. Эмиль тоже был занят. Проходя мимо, она видела только его светлую ангельскую макушку. Вечером Зайчик не выдержала. Незаметно ускользнула и, чтобы избежать объяснений, выключила телефон. Сам поймёт. Нужно было успеть помыть голову, уложить волосы, накраситься...

На корпоративе Зайчик появилась вместе с компанией весёлых коллег. Вечер проходил в баре а ля таверна. Когда она вошла, тяжёлый дубовый стол был уже заставлен красными, жёлтыми, зелёно-синими осколками недопитых жидкостей. Многие из ребят пришли со своими жёнами и подругами. Она даже не знала, что у некоторых таковые есть. Эмиля не было. Он появился позже, один, радостно улыбнулся, увидев Зайчика. Она испугалась, что подсядет к ней, и отвернулась. Почему-то не хотелось, чтобы все видели его интерес к ней, даже дружеский. Она занервничала, но Эмиль отодвинул свободный стул за соседним столом.

Уже два часа кряду Зайчик пила пиво в компании шумных, временно одиноких коллег. У одного жена была в отъезде, девушка другого болела. Желая обострить вкусовые ощущения очередного бокала, они предложили выпить на брудершафт. Она покосилась на беседующего с кем-то Эмиля. Не отказалась.

Вечер набирал обороты, увлекая в шум, пляски и хороводы. Зайчик танцевала, потом пила и снова танцевала. Её обнимали за плечи, она чувствовала, что сигаретный дым пропитывает волосы, одежду и кожу. Зайчик будто превратилась в сигару, которую медленно и с наслаждением выкуривало пространство. Потянулась за маслиной на сыре, но замерла. В середине зала девушек обтанцовывали двое неизвестных. У стойки бара в засос целовались менеджер с бухгалтером. На спор. Оторвавшись друг от друга, девушки засмеялись – кто-то сунул им в карманы маленькие рулончики. «Деньги!» – догадалась она и почувствовала на своей щеке мужскую ладонь. Где-то вдалеке одна из целовавшихся девушек, как ни в чем не бывало, продолжала светскую беседу. Внутри стало горячо, тревожно и сладко. Глаза закрылись. Рука, погладив лицо, отвела назад волосы и коснулась шен. «Зайчик...». Внезапно ей стало противно и она вспомнила об Эмиле. Открыв глаза, посмотрела в его сторону, но там уже сидел другой человек. В баре зашумели сильнее. Кто-то придумал забаву. Добровольца усаживали за стол, на одну руку сыпали соль, а в другую давали стопку с текилой. После того как бедняга, втянув носом соль, глотал текилу, его хватили за голову и выжимали сок лайма прямо в глаза. Весь этот идиотизм назвали посвящением в дизайнеры.

Все смеялись, вопили, одна жертва сменяла другую. В зале появился Эмиль. Ребята окружили его и, еле сдерживая смех, стали уговаривать пройти боевое крещение. Он отыскал глазами её, вопросительно взглянул. Она вызывающе-насмешливо подняла бровь, мол, слабо? Он согласился. Сел за стол. Привычным жестом коснулся тонким пальцем века. Подставил руку. Она вдруг вспомнила, что он носит линзы. У него были какие-то серьёзные проблемы со зрением.

Пытаясь вырваться из объятий, она вскочила. Поздно. Шея Эмиля по-гусиному вытянулась, его голову запрокинули назад. Он что-то закричал, выругался и, прижимая руки к глазам, побежал в уборную.

«Какое же я г-но!» – неожиданно громко крикнула захмелевшая Зайчик, чувствуя, что по щекам текут слёзы, будто это ей только что брызнули в глаза лаймовым соком.

«Ты чего бушует, зайчик?» – пространство обняло, прижало её к разгорячённым мужским свитерам и рубашкам. В опасной близости от её полноватых, горячих от слёз губ оказались губы, пахнущие мятной жвачкой и пивом. Она ускользнула от них. Тогда губы нашли её шею. Будто тёплая улитка поползла по коже, оставляя влажный след. Стало зябко. Зайчик нащупала чью-то руку, подбиравшуюся к её груди, и вцепилась в неё, то ли прижимая к себе, то ли удерживая. Но рука просочилась сквозь её пальцы. Из невидимых щелей заструились сквозняки, она почувствовала, как превращается в песок и осыпается в черноту со светящейся точкой. Точка увеличивалась, чернота преображалась, в ней возникали странные прозрачные существа; они летели к огромному шару света, который держала в руках она сама. Шар был тёплым, тяжёлым, колючим... И тут она поняла, что это голова. Зайчик попыталась оттолкнуть её, но не вышло. Тогда она начала кричать и звать Эмиля. Он всегда помогал. Он ангел. Единственный её друг.

Эмиль услышал и поднял голову, не переставая торопливо и жадно изучать её тело холодными тонкими пальцами. Вместо глаз у него светились и мигали две красно-синие лампочки в такт играющей музыке. Это сон – с облегчением подумала Зайчик и рассмеялась, проваливаясь сквозь кровать в пустоту.

.....

Эмиль думал о ней постоянно. Стоя перед зеркалом в ванной, с ненавистью оглядывал своё тощее тело и цыплячью шею, придумывал сцены, где спасает её. Мечтал, что она позвонит ему однажды ночью и попросит помочь. Но она не звонила, а между делом на работе вычерпывала из него лодочками улыбок всё, что ей было нужно. Это она называла дружбой. А потом случился корпоратив. Он пригласил её пойти с ним. Но она тут же исчезла и оказалась там с другими... «друзьями». Они невзначай трогали её руками и взглядами, а она смеялась с ними и над ним. Он дождался, когда она захмелеет, поймал её в коридоре, пока это не сделала кто-то другой, вызвал такси и запихнул в машину. Её волосы пахли табаком и ещё чем-то абсолютно омерзительным. Он представил, как грубо придавит её к старому скрипучему дивану,



как отомстит за все насмешки коварных дочерей Евы... Такие, как она, любят пошлость и грубость, хотя притворяются зайчиками. Машина тронулась, Зайчик привалилась к нему на плечо и прижалась, будто маленький пушистый зверёк. Он вздрогнул, с ужасом отгоняя от себя опасную сладость всех этих ядовитых мыслей. Он так долго мечтал спасти её. Неужели не сможет? Хотя бы от самого себя...

.....

Настал новый день. Скомкав блестящий праздничный фантик, она неловко бросила его в мусорное ведро. Мимо. Её подташнивало от конфетной сладости и слёз, но она ела и ела шоколадные конфеты, почти не чувствуя их вкус, и никак не могла остановиться.

МИРЯНА

Я возвращался после Всенощной. Нёс лампадку с благодатным огнём. Влажные тени и звуки, пропитанные дождём, дома и деревья крепко сплетались в единую воздушно-корневую систему ночного города. Когда впереди показалась человеческая фигурка, я напрягся, пальцы стиснули горячее круглое пузо лампадки – ночные встречи в таких районах сулили хорошую порцию адреналина, даже в пасхальную ночь. Вскоре фонарь осветил неизвестного и я увидел белую синтепоновую куртку с блестящим поясом, светло-русые мокрые волосы, не очень аккуратно прижатые золотистым обручем. Женщина... нет, девушка шла неуверенно, то и дело останавливаясь. Между пальцами и лампадкой с облегчением проскользнул воздух. Девушка, заметив меня, пошла навстречу. В двух шагах резко остановилась – замерла. Заблудилась, промелькнуло в моей голове. Она спокойно сказала:

– Простите, можно вам задать вопрос?

Я кивнул.

– Как вы считаете, это нормально бросить свою девушку в праздник, одну, ночью на улице?

Я с подозрением посмотрел ей в лицо. Вроде трезвая. На вид лет двадцать пять. У неё был низкий, влажный голос.

– Мы посорились. Может, не стоило уходить. Он был поначалу милым. Угостил пивом. Простите, что задерживаю, вы несёте огонь. Я тоже хотела в церковь сегодня зайти. Но мой парень пригласил в бар. Бывший муж... тот вообще никуда не звал, а мог. Вы простите. Я, конечно, немного пьяна. Но мой парень с его друзьями надрались. Они позволили себе смеяться над женщиной. Может, я слишком нежная, вы как думаете?

Она закашлялась. Подняла голову. Нащупав мой, как мне думалось, ободряющий взгляд, продолжила.

– Но я рот, когда нужно, могу заткнуть – приходилось. В школе Егерь гнобил – утиногубый мудила. Я болела много, но училась хорошо. А он, гнида, дразнился. Так я сказала ему тогда, чтобы заткнул свою «крякалку».

Её стало слегка трясти то ли от холода, то ли от нервного возбуждения. Прикрыв пламя свечи от кипящих в пространстве сквозняков, я предложил проводить её до дома.

Она с удивлением глянула на меня, кивнула и мы пошли, лавируя между лужами.

– У меня дочь есть. Ей девять. Только она сейчас не со мной. Бывший муж отсудил. Суд решил... в общем, не могу я подходить к дочери ближе, чем на пятнадцать метров. Вы думаете, это нормально?

Не зная, что ответить, я спросил, работает ли она.

– Сейчас вот уволили. Но я рада. У меня всё-таки неполное высшее. Думаете, легко работать в пиццерии вместе с малолетками из сёл? Мне уже тридцать семь.

Заметив моё удивление, она усмехнулась.

– Да, ЭТО во мне и привлекает мужиков. Вот только скоты все. У бывшего мужа в городе своя сеть ломбардов. Там за грамм золота по сто тридцать пять берут. И Lexus серый. До свадьбы он меня в ресторан возил – приличный, там коктейли от сотки. Правда, заказывал только десерт – жмотился, наверное. Я потом всегда старалась поесть перед свиданием, чтобы желудок не болел от сладкого.

Она приостановилась, поправила на голове золотисто-перламутровый обруч.

– У Вас обруч как нимб, – неловко пошутил я, желая отвлечь её.

– Вы так думаете? Обруч заграничный, не фуфло китайское. Вот, думаю, верну дочку, и будем его вместе носить. Она любит цапки модные. Не думаю, что папаша сильно раскошеляется на всякие побрякушки. Фирменный обруч у нас двести, а то и триста стоит.

Она вздохнула, сняла обруч, стала зачесывать спутанные волосы назад.

– Я вам скажу: олигархи сегодняшние скупердяи и души в них нет. Дочь вот так забрать! Мой парень другой. Не миллионер, но есть два ларька на «птичке», он телефонами торгует. Когда мы с ним познакомились, я рассказала про дочку. Он помочь обещал, адвоката нанять. А когда у меня Samsung украли,

он взамен Nokia подогнал. Правда, с глюками. Как думаете, это нормально дарить своей девушке телефон поломанный?

Она остановилась у подъезда хрущёвской пятиэтажки, откуда несло кошачьей мочой и сыростью. Снова перехватила взлохмаченные волосы обручем. Они увязали во влажном и чёрном, липком, как дёготь, пространстве.

– А сегодня... Я достала сигарету. Они все, конечно, уже пьяные были, чтоб он сторел, бар этот. Так вот, закурить хотела, огня попросила, а этот гад зажигалку низко так держит. Наклонилась, он мне и говорит: «Что ты, как последняя шалава, тут нагибашься?». Его дружки заржали, хотя я-то замечала: они ощупывают меня взглядами, когда он не видит. Я рот ему закрыла. Сказала, чтоб за языком следил и за слова свои отвечал. С дочкой помочь обещал и что...? А он завёлся, послал меня и дочку мою. Такое не прощают. Вышла из этого грёбаного бара. Стою, плакать хочется. А потом вас увидела. Вы простите меня. Думала, он выйдет за мной. Не вышел. Вы считаете это нормальным? Хотя совсем пьяный был. Или мне всё-таки бросить его?

Она резко замолчала и несколько минут стояла, покусывая губу, и не отводила взгляд от моей лампадки. Потом подняла на меня глаза, поблагодарила за то, что проводил, выслушал, хотела уйти, но я остановил её. Не знаю почему. Может, хотелось реабилитировать в её глазах весь наш мужской род.

– Не моё дело, – сказал я ей, подбирая слова, – не знаю даже ваше имя. Но если хотите моё мнение, уходите от него, найдите работу и заберите дочь. Вы сожалели, что не были в церкви? Возьмите лампадку, зажгите от неё дома свечи. Я подожду.

Она занервничала и почему-то разозлилась.

– А вас дома не ждут?

Я вложил ей в руки лампадку.

– Жена привыкла. А вам нужнее.

– Привыкла? И часто вы так гуляете с незнакомыми женщинами? Нравится в рыцаря играть?

В её тоне были разочарование и сарказм.

– Я люблю иногда побыть в одиночестве, подумать. А дома маленький ребёнок. Тяжело.

– Да, женщины ко всему привыкают, – сказала она, думая о своём. А я вот не привыкла, бросила муженька и без дочки осталась.

– Так что? – хмуро спросил я, указывая на лампадку.

– Хорошо. Раз предлагаете. Спасибо! Я быстро. – Голос её немного потеплел. – Меня, кстати, Миряной зовут.

Она взяла лампадку и вошла в подъезд. Я облокотился на железную конструкцию для выбивания ковров и запрокинул голову. Ветки деревьев слепо копошились, увязая во тьме. Мне подумалось, что это недоношенные души людей, слабые, скрюченные, тщетно пытаются выбраться из-под каменных плит города. Но есть ли смысл в том, что я стою сейчас здесь и жду незнакомую женщину, вместо того чтобы поскорее вернуться к близким.

Миряна осторожно поднималась по лестнице, освещая путь лампадкой. В лестничных пролётах царил тьма. Отключили свет, что ли? Мысли вертелись вокруг её недавнего собеседника. Странный парень. На вид рыцарь на белом коне. А вместо того, чтобы с женой дома сидеть, выслушивал и проводил девушку до дома и герой. Завернув на последний пролёт, Миряна вздрогнула. На мобильный пришла смс. Она достала телефон. Десять пропущенных от бывшего мужа. Наверное, звонил, когда она в баре была, а там шумно. Открыла смс. «Где ты шляешься. Твоя дочь заболела. У неё ОРВИ. Приезжай срочно». Она попыталась дозвониться до мужа, но телефон глючил и звонки не шли, а может быть, на счет просто закончились деньги.

ОРВИ... Название болезни звучало страшно. Ноги стали ватными. Она села, поставила лампадку на пол. Достала из кармана пачку сигарет, с трудом выковыряла одну, зажала между губ, подняла с пола лампадку, потянулась к ней с сигаретой, но неудачно. Кончик её ткнулся в фитиль и погасил его.

– Вот я дура, дура... – зарыдала Миряна, стукнув кулаком по стене. Потом схватила лампадку и побежала вниз по лестнице.

Увидев Миряну, я подался навстречу, но, заметив потухшую лампадку, раздосадованно выдохнул.

– Я-а слу.. чайно погасила её. Про...стите меня, Бога ради! – прерывисто заговорила Миряна. – Прощу... Можно я позвоню с вашего телефона.

– Что случилось?

– У дочки... страшное что-то. Болезнь какая-то ОВРИ и ОРИВИ. Муж написал.

– ОРВИ, может быть? – улыбнулся я. – Это не страшно – простуда, острое респираторное...

– Правда?

Миряна, судорожно набиравшая номер мужа, замерла и подняла на меня глаза.

– Боже, как хорошо! То есть плохо... Но...



Она наконец-то дозвонилась. Из трубки доносился мужской крик.

Чернота между ветвями деревьев рассыбалась, сквозь них дул предрассветный ветер. Казалось, что сквозняк шевелит что-то очень маленькое и горячее в груди, отчего щекотно и больно.

– Я пойду. Надо переодеться. И к мужу поеду.

– Вернётся к нему?

– У него моя дочь.

Поплотнее запахнув куртку, Миряна развернулась и пошла к подъезду. Я проводил её взглядом. Мои руки согревали тело остывшей лампадки.

НАТАЛЬЯ НОВОХАТНЯЯ

Кишинёв

КОРАБЕЛЬНЫЕ СНЫ

Паутина дорог, перекрёстки, витрины, дома...
 Лабиринт Минотавра, где гибнут всё больше от страха.
 Но чему ты смеёшься, душа моя, лёгкая птаха,
 Только солнце румяный свой лик кажет из-за холма?

Виноградной лозой обовьются дороги-пути,
 И помчатся машины, и пыль всколыхнут вековую.
 Минотавра черты в каждом встречном прохожем почуяв,
 Ты дрожишь, моя птаха, ты шепчешь беззвучно «прости».

Отразятся в глазах безобразные пляски теней,
 А победные крики всё чаще похожи на стоны.
 Ты ведь слышала, правда? Не плачь, моя птаха, не стой.
 И не надо про мифы, забудь это имя – Тесей!

И не то что пропали герои, но в каждом из них
 Эта пыль, эта боль, этот голод неутолимый.
 Сжав покрепче клубок, проскользнуть незамеченной мимо.
 Пусть другие допишут тобой неоконченный стих.

Но скрипит на зубах, как знаменье, знакомая пыль.
 Но тоскует на карте забытая гроздь винограда.
 И сквозь годы почудится голос: «Вернись, Ариадна...».
 Ариадна, вернись! – отзовутся листвою холмы.

С тонкорунною нитью тянуться, как прежде, на свет.
 Ариадна, Тесей, Минотавр – отраженье тронится.
 Ах, душа моя, птаха, опять нам с тобою не спится,
 И на пальцах гадать, отчего приподнился рассвет.

Я слышу всё. Как по утрам трава
 Сквозь влажный чернозём растёт наружу.
 Как дышит ветер – хриплый, он простужен,
 Как у берёзы гнётся голова.



Мне всё подвластно. Болтовню цветов
Переведу с искусством полиглота.
Но душу гложет тайная забота:
Я человечьих не приемлю слов.

Они вонзятся, как ножи, остры,
А я стою, ребёнок беззащитный.
Слезами набежавшими размыты
Древесные иероглифы коры...

Старательно выводит в небесах
Крылами голубь новое посланье.
Мне близки все законы мирозданья,
Лишь человечьи вызывают страх.

И я, извечной мудрости полна,
Пред ними трепещу, теряя разум,
Свои умения забывая разом,
Сбегаю, как от берега волна.

УЛИЧНЫЙ ЖОНГЛЁР

На нём одном задерживала взгляд
Та улица, устав от долгой скуки.
Стоял он, плохо выбрит и помят,
Полубезумный бог в линялых брюках.

Недоумение у этих и у тех:
Мол, не пройти, и что вообще такое.
А кто-то рассмеялся – звонкий смех
Колбори ярким взвился над толпою.

Но что ему насмешник или друг,
Стоял он, ничего не замечая.
Как древний Шива, был он многорук,
И упоённо управлял мячами.

А может, то летели не мячи –
Планеты по невидимой орбите?
Случайный зритель, ты почти кричишь:
«Пожалуйста, вы их не уроните!».

Бровь удивлённо дёрнулась вверх:
Да, вроде, самому бы не хотелось.
А уличные гомон, говор, смех
Текли вокруг и сквозь худое тело.

За снежинкой снежинка, за словом строка...
Как пустынно в Михайловском этой зимой.
«Даже смерти сюда не добраться никак», –
Бормотал, удивляясь тому, что живой.

Бормотал и про кружку, мол, няня, неси,
Выпьем с горя... Нет кружки? Сойдёт и стакан.
Что ты крестишься, старая? На небеси
Нас не видно. Снег накрепко мир спеленал.

... На морозном стекле не узоры – дома!
Петербург, не считай его прожитых дней.
Всё смешает рукою холодной зима,
И любовь, и строка – всё останется в ней.

Но ещё не сейчас. И скользило перо,
И скрипело, как сани – гони, брат-ямщик!
По судьбе, как по снежному полю, несло.
И следы – те же главы из книг.

Знаешь, в глубине моей квартиры
Между шкафом и скрипучей дверью
Прижилась звезда. Сидит тихонько.
Будто бы испуганный мышонок.
Лишь ночами в темноте безглазой,
Светится улыбкой виноватой:
Мол, светить должна я, вы поймите...
Спросишь, как попала? Я не знаю.
Август-то богат на звездопады.
Та нырнёт в объятия полыни,
Та заглянет в зеркала-озёра,
А она... ну что же, так случилось.

Но когда смотрю я на свеченье,
Почему-то обмирает сердце,
И ужасно делается жалко,
Разобраться бы ещё, кого...

Уснёшь – и кровать обернётся гондолой.
Кричат с высоты беспокойные чайки.
В январской Венеции стыло и голо,
здесь волны, как странники, в двери стучатся
всё громче, всё выше. И тонешь, как в море,
в бредущих сквозь время сырых анфиладах.
Спасение будет внезапным и скорым:
на башне часы объявили пощаду.
И вот ты в порту. Пересчитывать мачты,
как будто касаться рукой горизонта.
Что прошлое – море услужливо прячет
в подводных глубинах былые невзгоды.
Как в каменном кружеве длани каналов,
палаццо сверкают, что кольца на пальцах.
А горсть медяков... ты их все разбросала.
Венеция, мне бы навеки остаться!
Солёною влагой пропитаны стены,
знакомы с прощаньями не понаслышке.
Сливаясь с рассветом, напев гондольера
звучит всё печальней, всё тише.



Мой доктор в заботе, то ставит диагноз: ангина,
 то пишет рецепты один хитроумней другого,
 вербует в адепты целительной силы малины
 и чуть ли не шёпотом славит то самое слово,
 которое первым... О милый доверчивый лекарь!
 Совсем как ребёнок, что тянет всё в рот без разбора.
 А я задыхаюсь в однажды назначенной клетке,
 что телом зовётся, и с небом не то чтобы спорю,
 но... вот угасаю. Я вяну, как вянет фиалка.
 Той, бедной, то жарко, то зябко, то сухо, то влажно.
 Но кто от цветов ожидает особой отваги,
 их любят и всё, только это действительно важно.
 Их любят... Закат окатил законные дали,
 холмы, облака – одни и вторые без счёта.
 Как жить, милый доктор? Опять ничего не сказали,
 всё хмурили лоб и баланс подводили на счётах.

Это июль – по-пёсьи так жарко дышит,
 Словно почуял съестное в моей ладони.
 Взгляд потемневший из миски черешен-вишен.
 Тополь под окнами так безупречно скроен,

Как и мужчина, что тенью бродит по свету.
 Тени, они всегда послушней под вечер,
 Жмутся, как дети, к их породившим предметам.
 Хочешь, проверим, растут ли от встречи к встрече?

Тополь молчит. Узор на древесных пальцах
 Витиеват бывает, бывает скучен,
 Но не случайно замерли ветви-пальцы –
 Облако вьёт гнездо на его макушке.

Глянем однажды – стайкой белою в небо...
 Может, июль головы всем морочит?
 Жарко, так жарко. Неслышно коснулось нёба
 Вместе с глотком воды моё одиночество.

корабельные сны все пропитаны йодом
 корабельные сны это сны про свободу
 песни чаек заведомо с привкусом соли
 зазвучат, растревожат до боли

развлечений в порту только ром да девицы
 то ли дело с волной синеокой резвиться
 но канаты крепки, и пьяны все матросы
 сверху небо, всё в оспинах звёздных

и молчит, и пульсирует синею кровью
 то пугает иных прохуdivшейся кровлей
 отвлекая вниманье изменчивым ветром,
 на вопросы готовит ответы



ты корабль в порту, ожидающий рейса
не ропщи понапрасну, терпи и надейся
где-то ждут тебя рыб разноцветные стайки
и кричат оголтелые чайки

только, чур! – не вратать в эту землю боками,
не браться со скуки с земными богами
кто повенчан однажды с морскою волною,
на земле не находит покоя

корабельные сны все пропитаны йодом

ДИАНА ФЕДОРОВИЧ

Тирасполь

ВДОЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА

ВИННАЯ ВИНА

Я вновь и снова виноват.
Мне нет прощенья. Есть прощанье.
Вгрызаюсь в кислый виноград,
Как Ева – в яблоко познания.
По венам медный сок течёт,
Он как слова. А я как повесть.
И мёд из виноградин пьёт
Оса, похожая на совесть.
Запретный плод и чувств союз –
И ос кормить теперь уж нечем.
У мёда нынче горький вкус.
Я пью вино с виной весь вечер.

ПЕСНЯ-СУХОЦВЕТ

Вдоль позвоночника вьётся и стелется
Песен тугая лоза.
Мне не поётся и в Бога не верится,
Я доверяюсь глазам.
Сердце опугано тесными путами –
Скукой, как мир, молодой.
Песни засохли. Засохли, как будто мы
Их не полили водой.
Песни, цветущие вдоль позвоночника,
Пахли корицей, вином...
Струны порвались. В глубинах источника
Сухо, как в горле моём.
Может, когда-нибудь, тёмными сутками,
В Бога поверю опять.
Новые струны под пальцами чуткими
Вспомнят, как надо играть.
Вдоль позвоночника снова застелется
Светлый, оживший сонет.
И расцветёт, хоть мне в это не верится,
Песня моя сухоцвет.

ЗВОНАРЬ

Многоэтажки и тёмные окна.
 Сумрак рассветный. Погасший фонарь.
 В небе гремит что-то гневно и скорбно –
 Это бьёт в колокол страшный звонарь.
 Он, колченогий, горбатый, безумный,
 Бьёт, разбивает небесный металл.
 Весь небосвод, что дождливо-безлунный –
 Весь небосвод этой ночью рыдал.
 Яркость витражная блеск потеряла,
 Мир стал до боли, до ужаса сер.
 И отражаются в стеклах оскалы
 Злобных горгулий и мрачных химер.
 Утром проснусь, выпью кофе остывший,
 В окна смотрю с кривизной на губах.
 Многоэтажек холодные крыши
 Будто исчезли в густых облаках.
 Не удивляюсь. Подумаешь, небыль,
 В наших краях не алеет заря.
 Знаю, что скоро обрушится небо
 Под колокольный триумф звонаря.

Я НЕ БУДУ БОЛЬШЕ МОЛОДЫМ

Вспоминай серебряные строки,
 Вспоминай есенинский мотив.
 Нас с тобою позабыли боги,
 Про других совсем не позабыв.

Год летит. За ним второй, и третий,
 Кто простит нам счастье и грехи?
 Мы с тобой давно уже не дети -
 Мы читаем грустные стихи.

И серьёзен я необычайно,
 Зря богам кричали золотым...
 Я скажу тебе такую тайну:
 Я не буду больше молодым.

КАМНИ НЕ ПЛАЧУТ

Хоть время, хоть пламень –
 Но камни не плачут.
 Я верю, ты камень –
 Никак не иначе.
 Ты камень, лежащий
 В пыли, под ракитой.
 Ты камень – уставший
 И всеми забытый.
 Где дремлют гадюки,
 Лежишь молчаливо.
 Возьму тебя в руки,
 Под небом дождливым.
 Ты тёмн и мрачен,
 Царапашь кожу.
 Но камни не плачут,
 А значит, я тоже.



Затянутся раны,
Росою омыты.
За мною – туманы
И сон ядовитый.
За мною – дожди
И подлунные зори.
А там, впереди,
Только небо и море.
Сквозь время и пламень
Увы, все большее
Нести тебя, камень –
Но плакать не смею.
Ведь камни не плачут.
И в почве могильной
Не плачут. А значит,
И я буду сильной.

ЧЁРНЫЕ ЯГОДЫ

Чёрные ягоды, ягоды зимние
С осени прячутся в цепких шипах.
В дальнем овраге да там, под осиною...
Горек их яд на губах.

Чёрные ягоды, ягоды твёрдые,
Птица их сонную гроздь не клюет:
То ли от вкуса становятся мёртвыми,
То ли противен плод...

Чёрные ягоды, ягоды тёмные,
Грозди вздыхают ветрам в унисон.
Бусины смерти обмануты дремою.
Не потревожь их сон.

ЗА ТОБОЙ

В наши двери стучит престарелая осень,
Ты вздыхаешь и смотришь в окно.
За стеклом – ароматы полыни и сосен,
За стеклом непривычно темно.

В эту осень сгорят все цветущие чувства,
Будет жарким каминный огонь...
На туман голубой смотришь тихо и грустно,
И к стеклу прижимаешь ладонь.

Ах, зачем тебе дождь?! И леса, и брусника,
И забытая богом тропа?!
Я сказала, что осень любить – это дико,
Ты сказал, что я просто глупа.

Без раздумий нырнёшь в запах ливня и сосен,
И в холодный туман голубой.
Если вдруг ты уйдёшь в эту странную осень,
Я вздохну
И пойду за тобой.

АЛЁНА ЖУКОВА

КОМА рассказ

Он весь день ждал её звонка. Собственно, сказать, что ждал, было неправильным. Мысль о звонке выпрыгивала из потока других важных и синопичных дел, вонзаясь и пульсируя где-то на краю сознания, и это раздражало, как всё то, что в последнее время происходило между ними. День выдался тяжёлый. Одолевали бесконечные переговоры с боссом и нервозность, возникшая после проведения последней сделки. Идея покупки Бостонской компании и дальнейшая распродажа по частям принадлежала ему, в недавнем времени рядовому брокеру. Полгода назад, проанализировав Бостонские активы и ситуацию на рынке, он вышел с предложением к финансовой верхушке офиса и убедил в потенциальном выигрыше, подкрепив эту идею личной финансовой заинтересованностью. Тогда в покупку он вложил полмиллиона, взятые в банке под залог, а гарантией возврата стал собственный дом. В случае удачного исхода операции его позиция в рейтинге житейских благ значительно улучшалась, а неудача вообще не рассматривалась, так как переступить за её черту он не имел права.

Телефон звонил не переставая. Всякий раз, поднимая трубку, он надеялся услышать её голос, но вместо этого трубка ворчала, взвизгивала и жаловалась голосами обиженных клиентов. Ситуация на рынке складывалась не лучшим образом, и тут не было его просчёта, просто никто не мог предположить, что камень преткновения в политическом споре двух азиатских государств станет камешком, обрушившим лавину мирового финансового кризиса. Но сегодня он думал ещё о том, что её мобильный уже третий день не отвечает. На её домашний он никогда не звонил, как и она ему. За три года их романа они не пошпугались проникнуть в сферу того строго охраняемого пространства, которое называлось семьёй. Да, у каждого из них была семья, у неё муж и дочь, у него жена и три сына. Они оберегали их, спешили к ним и молчали о многом, чего никому не надо было знать, что не должно было вылезти из тесного и узкого пространства их близости.

С первой встречи, когда её представили как журналиста, пишущего для известного бизнес-журнала, он почувствовал странное беспокойство. Хорошо помнит свои вспотевшие руки, как отвёл глаза, чтобы не выдать желание подробнее рассмотреть, скользнуть взглядом по точёной линии шеи к плечам, а оттуда вниз, быстрее, к тёмной впадине, глубокой тени в прорези блузки, вздёрнутой торчащими бугорками. Он тогда не сразу уловил суть вопроса. Помешали её голос и улыбка – они сбили с толку, увели мысль далеко от предмета интервью, и, как она потом говорила, он показался ей косноязычным и достаточно неприветливым субъектом. Перед выходом материала в печать она позвонила, и они договорились встретиться в кафе. Поедая суши и просматривая статью, которая расплывалась перед глазами, он пытался не отвлекаться, соскальзывая взглядом на красивые руки собеседницы. Уже не помнит, чем рассмешил её, но она звонко, по-детски рассмеялась, закинув голову. Тогда, именно тогда ему захотелось погрузить пальцы в тёмную волну её волос, притянуть к себе и попробовать на вкус влажную розовость рта. Поймав её изучающий взгляд, даже не взгляд, а намёк, они столкнулись зрачками, отскочили, но уже повело, протянулось, толкнуло. Не пришлось городить массу пошлых уловок, обобщений. Всё произошло как-то буднично и от этого ещё невероятнее. Всегда или почти всегда, когда он заканчивал встречу ритуальными вопросами о следующем свидании, его не покидала тревога, что следующего раза может не быть – слишком уж они были погружены в каждодневную круговерть их собственных жизней. Всё свободное время, которое чётко не было обозначено, он отдавал детям. Она – стопроцентный профессионал – разрывалась между домом и работой. Встречаться удавалось не часто, но перезванивались каждый день. Иногда разговор состоял из двух-трёх ничего не значащих фраз, но в них заключалась самое главное – запомни, я о тебе думаю, я рядом. Часто встречи срывались, но ещё чаще их срывала с места и бросала друг к другу безумная тоска по касанию тел. Они вшивались, слпшались, не в силах удержаться на уровне игры, медленной раскатки, лёгких ласк. Их пробивала дрожь, перехватывало дыхание. Ему нравилось распахивать её, вылизывая складочки тела. Ей – в бешеном ритме уноситься далеко от всего в непреодолимом желании очутиться на пике удовольствия, не сдерживая в себе орущее и бьющееся в сладких судорогах



дикое животное. Потом, когда наступала пустота, они уходили в разные стороны, туда, где их ждали те, кто составлял смысл жизни, откуда всё виделось по-другому и никак иначе.

Последний месяц принёс охлаждение. У него уже ни на что не хватало душевных сил. Жену и детей отправил на юг Франции к родителям. Началась нервотрепка с продажей акций, и он приковал себя к офису. Несколько раз серьёзно испугался, когда не смог подняться из-за стола. Голова кружилась, темнело в глазах, а сердце обрывалось в желудок. Мысль о ней тоже, вроде тупой иглы, вонзалась в подреберье. Она вела себя странно. Чувствовалось раздражение его временным холостяцким существованием. Однажды, позвонив ближе к ночи, чего никогда не бывало при жене и детях, спросила, хочет ли он прямо сейчас увидеться. Он честно признался, что нет, поскольку ещё на работе, а в шесть утра улетает в Бостон. Последовала реакция, близкая к истерике. Посыпались упрёки, что за неделю одиночества не нашлось для неё времени. Почему она должна узнать о поездке случайно, неужели нельзя было предупредить? А как же их планы провести несколько дней, а главное ночей, в каком-нибудь захолустье? Ему не надо было об этом напоминать, и хотел он не меньше её провалиться в сладкое забытие любовного отдыха, когда всё в радость – долгие часы, проведённые в дороге, не лучший номер в отеле и недожаренный стейк с дешёвым вином. Главное должно было происходить между всем этим: то, что сужает пространство, укорачивает время. Но они до сих пор не попробовали прожить вместе хотя бы сутки. Вначале, когда всё бушевало на поверхности хаотично и радостно, он тянул её в какие-то дали, к морям-океанам, но она отнекивалась и даже неожиданно резко отказалась провести с ним ночь. Как потом выяснилось, это была слабая попытка удержаться в рамках морали со смешным принципом – не сплю, значит, не подменяю, не допускаю, да, изменяю, но не до конца. При этом понимала свою глупость и ханжество, но терзалась от этого не меньше. Помочь ей в душевнеспасительных метаниях он не мог. Они оба были дебютанты. Проживая в семьях второй десяток лет, романов на стороне не заводили и поэтому ещё не чувствовали черту, за которую не стоило переступать. Они медленно подходили к этому опасному рубежу. Ей захотелось с ним заснуть и проснуться, ему – знать о том, как она проживает каждую минуту не связанной с ним жизни. Они уже озвучили запретные слова, уже попались на трусости и захотели вернуться в прежнее состояние игры, но не получилось. Они радовались и страдали, взлетали и падали – они любили.

Телефон не отвечал. Это было на неё не похоже. Она, как журналист-аналитик, понимала всю тяжесть его сегодняшнего положения. Глупая бабья ревность исключалась. Возможное недовольство было понятным. Жаление о том, что рухнули надежды на совместный отдых, тоже допускалось, но всё это не могло быть, на его взгляд, причиной глухого молчания. Он мог позвонить ей на домашний, когда-то раздобыл его при помощи своих связей заодно с адресом. К стыду своему, пару раз попытался шпионить, желая подсмотреть, как выглядят её муж и дочь. Жил он недалеко и частенько, сделав изрядный крюк, проезжал мимо её дома, пытаясь разглядеть в святищихся провалах окон знакомый силуэт. Уже несколько дней ему казалось, что дом выглядит необитаемым. Не выдержав, позвонил в офис журнала, где она работала и попросил соединить с миссис Аннет Бакли. Ему ответили, что её нет на месте, но он может записать сообщение на её личный автоответчик, и она перезвонит. Это было вчера. За это время он оставил ещё по крайней мере три весточки на её мобильный. Аннет не отвечала. Всплеск злости, досады, тоски сменился тревогой, а поверх тревоги разрасталась ядовитая плесень сомнения: а вдруг это конец, что, если это разрыв? Последнее время всё чаще звучали в её словах жалобы на болезненную привязанность к нему, на саморазрушение от необходимости притворяться. Может быть, она просто сорвалась с семьёй куда-нибудь на побережье, успокаивал себя, чтобы не сидеть на привязи возможных свиданий. Скорее всего, это маленькая месть – освобождение. Ты не нашёл времени, теперь ты не найдёшь меня: исчезла, уехала, растворилась. В глубине души он соглашался с тем, что Аннет имела право на такой ход, но жаль, ведь с завтрашнего дня он зарезервировал гостиницу на Островах. Агент уже сообщил номер рейса. Хотелось сделать сюрприз. После поездки в Бостон он неожиданно успокоился относительно дел, хотя объективно причин для оптимизма не было, но интуиция подсказывала, что выход найдётся, не может не найтись.

Ближе к вечеру опять зазвонил телефон. На определителе был незнакомый номер, но показалось, что это каким-то образом связано с ней. Предчувствие не обмануло, но даже после разговора с детективом по имени Мэтт Дикси не хотелось верить, что речь шла о ней. Детектив расследовал несчастный случай, произошедший на 93-й трассе, недалеко от Бостона, два дня назад. Пострадавшая была Аннет Бакли. Её джип потерял управление на крутом повороте и сорвался в овраг. Последний телефон, по которому она попыталась дозвониться перед аварией, был его. Кроме того, уже после произошедшего на этот телефон продолжают поступать сообщения с того же номера. Детектив хотел бы встретиться с мистером Сержем Сагрине и задать пару вопросов. Серж молчал. Детективу показалось, что прервалась связь. Он переспросил:

– Вы меня слышите? Алло, алло...

Серж восстановил дыхание, переждал спазм, сдавивший горло и спросил:

– Жива?

– Находится в коме. Врачи не дают никаких обещаний. Вы её давно знаете? Я имею в виду, каков характер ваших отношений?

В голове у Сержа промелькнуло: «Молчи, терпи, ничего не должно вылезти, иначе скандал». Он очень спокойно объяснил, что знает миссис Бакли как замечательного журналиста, которая уже несколько лет пишет статьи, освещая работу их финансовой Компании. Он действительно часто звонил ей в последнее время, так как ждал материал, который мог бы помочь в работе с инвесторами. Вероятнее всего, она пыталась с ним связаться, чтобы сообщить о своём решении посетить бостонских клиентов. Возможно, именно поэтому она звонила ему по пути в Бостон, зная, что он в это время находится там. Детектив вроде удовлетворился услышанным и попросил разрешения ещё раз позвонить, если возникнут какие-то вопросы. Серж согласился и повесил трубку. Руки дрожали, пробивал озноб. Сейчас он осознал, что не спросил, в какой она больнице, и тут же понял – этого делать было нельзя. Они ведь только профессиональные партнёры, даже не друзья, его волнение и заинтересованность могли показаться подозрительными. Что ещё знает этот Дикси? Что ещё он услышал на автоответчике? Обычно Серж никогда не допускал фамильярности и просто просил перезвонить, но скорее всего тон последних сообщений был далёк от нейтрального. Он ненавидел себя: вместо того чтобы мчаться к ней, зная, что её жизнь висит на волоске, сейчас сосредоточен только на собственной репутации и на одном-единственном желании – не дать сыщику докопаться до сути. Почему Аннет оказалась позавчера в часе езды от этого чёртового Бостона? Неужели решила, что он врёт? Звонила – значит, не собиралась нагрянуть неожиданно. Почему тогда не дала знать раньше? Господи, о чём он думает? Аннет может умереть! Стоп, надо приказать своей секретарше разыскать журналистку, объяснить про аварию и дать задание выяснить у кого угодно – мужа, коллег, где лежит Аннет. Сделать это якобы для того, чтобы отправить от Компании букет в больницу и подписать коллективное пожелание скорейшего выздоровления. Когда будет известен адрес, он найдёт способ, как увидеть её, не вызвав подозрения. Секретарша очень быстро принесла на подпись глупо выглядывшую в этой ситуации открытку с голубым зайцем, лежащим в кровати, под которым серебрилась надпись «Мы надеемся, что вскоре тебе станет лучше». Он сморщился, подписал и напомнил о цветах. Секретарша заверила, что букет вместе с открыткой сейчас же будет послан, а он спросил, далеко ли. Порывшись в бумагах, она назвала адрес клиники.

Госпиталь оказался частным и находился в получасе езды. Подъезжая, он плохо представлял, каким образом, не вызывая лишних вопросов, пройдёт к ней, пропустят ли его вообще. В больничном парке было безлюдно, моросил дождь. Летняя зелень поблекла и уже начинала просвечивать желтизной. На одной из скамеек, втянув голову в плечи, сидел мужчина. По его согнутой спине, приклеенному к ботинкам взгляду не возникало сомнения – у него горе. Он промок. Вода стекала по волосам за воротник. Даже плечи не двигались, казалось, что человек уже не дышит. Серж, проходя мимо по тропинке, ведущей к приемному отделению, замедлил шаг. Мужчина оставался неподвижен. Серж наклонился и задал вопрос – всё ли в порядке и не нужна ли помощь. Ему хотелось удостовериться, что этот несчастный ещё жив, слишком неестественной казалась его окаменелость. Ответа не последовало, как и хоть какого-то движения. Серж опустил на корточки и взглянул в лицо незнакомца. Тут же по спине пробежал неприятный холодок. На него смотрели широко открытые, мутные глаза. Но правильнее сказать – глаза не смотрели, они просто были. А человек с мёртвыми глазами был её муж, теперь он его узнал. Серж быстро вскочил на ноги и захотел отойти подальше, но был остановлен слабым голосом, который, скрипнув, приспел, как испорченный механизм.

– Простите, вы меня о чём-то спросили?

Серж не сразу ответил. Страдание этого человека могло означать то, чего он больше всего боялся: Аннет уже нет ни у кого – ни у мужа, ни у него. Её просто нет в их мире. Протянув Сержу руку, он представился: «Лион Бакли». Серж сжал его мокрую ладонь и назвал своё имя. Он никогда не допускал возможности такого знакомства, считая, что, случись неожиданная встреча, правильным будет каким-то образом его избежать. Теперь все эти условности не имели никакого смысла. Лион, кивнув в сторону клиники, безучастно спросил:

– У вас тут кто? Жена, дети, родители?

Серж ответил, что пришёл проведать друга, испугавшись, что и ему придётся задать этот вопрос, но Лион сам, не дожидаясь, выплеснул комок боли:

– У меня там жена, а ребёнок я потерял два дня назад. Это был мальчик. Они так сказали. Ему было уже почти три месяца. Знаете, мы так хотели иметь ещё детей. У нас взрослая дочь, но как-то не получалось. Аннет... мою жену зовут Аннет... ходила к врачам, безрезультатно. И вот такое счастье, и всё, всё рухнуло. Какая дикость, глупость! Один неправильный поворот – и конец.

Он беззвучно заплакал. Голова опять провалилась в плечи, глаза закрылись. Сержа пробил дрожь, а в горле застрял вопрос: что с Аннет? Мысли путались, сбивались. Он пытался понять, как так случилось, что он ничего не знал о её беременности. Почему она молчала? Сомневалась в том, чей ребёнок, или, наоборот, не сомневалась и пыталась скрыть? Зачем? Хотела родить или не хотела? Может быть, в этом причина истерик последнего времени и странностей, вроде тех, когда холодная отстранённость сменялась бешеной страстью. Бедная моя, хорошая, что мы наделали!



Только сейчас до него дошло, что Лион что-то бормочет, он прислушался:

– Сильная черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, разрыв селезёнки. В сознание после аварии не приходила. Операция шла несколько часов. Сейчас кома. Врачи сделали всё, что могли, а что не смогли, доделает Бог, если захочет.

Лион встал и, шатаясь, пошёл к главному входу в госпиталь. На полпути он повернулся и сказал, что желает его другу скорейшего выздоровления. Серж кивнул и пожелал его жене того же. Сердце сдавило, рука потянулась к груди. Он застыл, боясь пошевеливаться. Согнувшись, просидел пару минут. Боль утихла, но не хватало дыхания. По-рыбы захватив воздух, показалось, что больничный парк поплыл в густом, вязком течении реки. Вода шумела в ушах, била по рёбрам, сбивала с ног. Ещё немного, и он бы упал. Кто-то подхватил его и выдернул из потока.

Он лежал на жёсткой кушетке. Пространство вокруг было зашторено белым. Откуда-то сверху свисала трубочка, приклеенная пластырем к руке. Над ним, склонившись, стояла круглолицая женщина. Она приветливо улыбнулась, отчего её веки сомкнулись, как створки раковины, прикрыв узкую чёрную прорезь азиатских глаз. Сержу не пришлось задавать вопросов. Женщина, по виду медсестра, объяснила случившееся. Потеря сознания, резкий скачок давления, предынфарктное состояние. Нужно побережётся, проверить работу сердца. Никаких перегрузок, нервных стрессов, всё это может быть чревато очень плохими последствиями. Ему повезло, что он в этот момент находился на территории госпиталя, его заметил врач, поэтому удалось быстро и своевременно оказать необходимую помощь. Когда она вышла, Серж прикрыл глаза и постарался восстановить в мозгу тот провал, который случился между скамейкой в парке и больничной койкой. Лёгкий аромат чая коснулся кончика носа и поплыл в сторону окна. Он повернул голову и увидел на прикроватной тумбочке дымящуюся чашку. Показалось, что где-то прошла Аннет, оставив запах бергамота, свежей зелени и лимонных корочек. Он постарался вспомнить её всю, и вдруг пустота опять заполнилась водоворотом. Река подхватила, понесла, не было сил сопротивляться. Погружаясь в мутную глубину, он увидел на дне нечёткие очертания обнаженного женского тела, которое, казалось, растворяется в потоке воды, приобретая прозрачность. Это была Аннет. Она потянулась к нему. Он поплыл навстречу, но быстрым течением его снесло в сторону, не в силах удержаться и, задохнувшись кашлем, вынырнул из забвения.

Возле его кровати стоял строгий неулыбчивый человек. Этот был доктор. Он говорил о таких вещах, которые могли быть известны, только если бы он, например, знал Сержа очень давно и далеко не с лучшей стороны. Доктор отчитывал за вредные привычки питания вроде той, что завтрак сердечника не должен состоять из чашки крепкого кофе и сигареты. Он возмущался количеством еды, которую пациент поглощает в один присест в конце рабочего дня, когда до сна остаётся не более часа. Поинтересовавшись, когда последний раз Серж был на отдыхе или просто прогуливался, ответил за него: «Не помню». Сержу всё время казалось, что он не спрашивает о самом главном, о том, что привело его в госпиталь, поскольку знает это наверняка. Уходя, доктор посоветовал провести эту ночь в больнице, а завтра взять отпуск и всерьёз заняться здоровьем. Ещё он добавил, что не рекомендует сегодня перегружать нервную систему, поэтому лучше, если он отложит посещение своего друга до утра. «Кого он имел в виду?» – пронеслось в голове Сержа, когда за доктором закрылась дверь. Возможно, про друга сказал Лион Бакли. Ведь когда это со мной случилось, он был рядом. Тогда почему этот всевидящий доктор так прищурился и, как змея, прошипел фразу: «Отложить посещение». Отвратительный субъект, неужели он тот, от которого зависит сейчас жизнь Аннет. Показалось, что лёгкий ветерок опять принёс запах чая. Серж повернулся и посмотрел на чашку. Над её поверхностью уже не поднимался тёплый пар, она не дышала.

– Аннет, – прошептал он, – я тут, рядом.

Серж устоялся в потолок, потом перевёл взгляд на бутылочку, из которой в его вену стекала лекарственная жидкость. Он осторожно стал освобождаться от иглы, как опять в палату вошла круглолицая медсестра и что-то добавила в лекарство. Поправив на его руке пластырь, пожелала спокойной ночи и бесшумно удалилась.

Через четверть часа Серж почувствовал странное оцепенение. С трудом отодрав пластырь, вынул из вены иглу. Сердце билось медленно и глухо. Он спустил ноги с кровати, но не сразу нащупал пол, он проваливался и вибрировал. Наконец, найдя точку опоры, сделал первый шаг и медленно пошёл к выходу. В больничном коридоре было светло и пусто. Собственно, тут мало что напоминало больницу, скорее – приличный отель. Её комнату он нашёл довольно быстро, на дверях были таблички с именами и датами поступлений. Он оглянулся по сторонам, никого из персонала не было поблизости. Осторожно приоткрыв дверь, заглянул внутрь. На кровати лежала алебастровая кукла, непохожая на Аннет. Её голова и плечи были скваны гипсовыми повязками. Маска неподвижности обезличила, изменила до неузнаваемости. Он подошёл и, стараясь не смотреть теперь уже в чужое лицо, поднес её холодную ладонь к своим губам. Рука была безжизненной, безвольной, но слабый пульс, как трусливый мышонок, подрагивал под пальцами. Серж сжал её руку. Наверное, если бы она могла что-то чувствовать, то вскрикнула бы от боли. Борясь с желанием вытряхнуть из этого цементного панциря то, что когда-то было вожаделенным

телом, он прилёт рядом и легонько провёл по груди. Сосок ткнулся тугой пуговкой. Серж погладил его, чуть прижал и вдруг под пальцами, поверх рубашки, почувствовал липкое. Сначала испугался, что задел рану и это кровь, но потом, когда и над второй грудью расплылось маленькое пятно, застыл от дикой догадки. Её слабенькая, неживая грудь просочилась несколькими каплями молока, которое уже никому не понадобится. Он зарылся в подушку, рыдая. Когда истерика ослабла, прошептал ей на ухо:

– Родная моя, вернись.

Что-то непонятное произошло вокруг. Застрекотали датчики, запищал сигнал на двери. Лицо Аннет приобрело страдальческое выражение. Серж вскочил и выбежал из комнаты. Когда завернул за угол, услышал, как по коридору протопали шаги, кто-то давал на ходу распоряжения, раздавались возбуждённые голоса. Он заскочил в палату и прыгнул в постель. Шум продолжался недолго, всё стихло. Он хотел было опять выйти из комнаты, но неожиданно на пороге появилась медсестра и, не проронив ни единого звука, вонзила в предплечье иглу. У Сержа в голове зашумело, он провалился в глубокий сон.

Аннет стояла на другом берегу реки. Увидела его, помахала и зашла в воду. Она не плыла, а шла к нему навстречу, всё глубже погружаясь. Вода поднялась, покрыв голову. Он закричал, чтобы она не делала этого, что сейчас доплывёт к ней сам. Но плыть не получалось. Серж точно знал, что умеет это делать, но движения рук не соединялись с ногами, тело провисало, тяжелело и тянуло вниз. Он тонул, как вдруг под ногами нащупал дно. Пошёл вперед. Аннет шла к нему навстречу. Они стояли посреди реки, разливавшейся до горизонта, и жадно целовали друг друга. Когда на секунду разлепились, Аннет торопливо заговорила. Сказала, что у неё очень мало времени, что умоляет простить за всё, за их ребёнка, которого хотела и не сберегла, за глупость, подозрительность, нетерпеливость. Душа её заблудилась, зависла между двух миров, но он может помочь. Что и как надо делать, не знает, но поняла этой ночью, что только Серж способен вернуть её сюда. Сейчас она может свободно приходить в его сны, может видеть немножко вперёд, заглядывая в завтрашний день и поэтому просит завтра быть терпеливым. Сказать секретарше, что уезжает на пару дней, и, самое важное, действительно лучше уехать, а главное – поскорее уйти из этой больницы. Серж хотел спросить, что всё это значит, но не успел. Аннет словно просочилась сквозь пальцы. Густой туман поднимался от воды. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки, даже, собственно, руки. Только казалось, что холодная мокрая простыня закручивается вокруг тела. Он постарался освободиться и проснулся.

Всё тот же туман стоял перед глазами, застилая пространство больничной палаты. Из него вышел доктор и сел рядом.

– Как спалось? – спросил с усмешкой и тут же добавил: – Только не надо врать, у нас везде камеры наблюдения. Весь ваш ночной поход записан на плёнку. Мне важно другое – понять, насколько вы можете воздействовать на неё. То, что она вас почувствовала и рванулась навстречу, – это очевидно. Вопрос, насколько сильно ваше притяжение. Кто вы для неё и она для вас – не спрашиваю, хочу только знать, насколько далеко вы готовы пойти, чтобы её вернуть. Если да, то мы можем кое-что попробовать. Видите ли, любая наука, а медицина тем более, доходит до черты, за которой подразумевается нечто, что объяснить невозможно. На каждом этапе происходит внедрение всё глубже и глубже, но картина не становится яснее. За пределами объяснимого возникают субстанции, поля, частицы, что угодно, которые можно принять за Бога. Простите, если я чем-то оскорблю ваши религиозные чувства, но со временем физики и математики просчитают модель Божественного и докажут Его существование. Меня же сегодня интересует, как вам объяснить, Его трансформации, Его дыхание и энергия в каждом из нас. Назовите это душой, но дайте понять механизмы, удерживающие её в теле и отрывающие потом от него. Так готовы ли вы пойти на эксперимент? Мне нужно не просто ваше согласие, а желание помочь этой женщине, ведь вы пойдёте на риск. Вам, правда, не будет угрожать физическая смерть, я буду контролировать ситуацию, но изменения, которые могут с вами произойти, пока вы будете возвращать душу вашей подруги, могут быть значительными.

Сержу показалось, что он ещё не проснулся и весь этот разговор – продолжение сна. Зазвенел его мобильный. Он посмотрел на номер. Это была секретарша. Серж не хотел брать трубку, но доктор неожиданно попросил ответить на звонок, сказал, что подождёт, и вышел. Секретарша спросила, будет ли он сегодня в офисе. Утром позвонил некто Мэтт Дикси и просил назначить встречу, но она ничего вразумительного не могла ответить. Серж, ещё не понимая, что делает, но чувствуя опасность, исходящую от назойливого детектива, просил простить свою забывчивость и сказал, что забыл предупредить о своём отъезде и уже находится по дороге в аэропорт. Секретарь пожелала счастливого пути, а на вопрос о состоянии дел со вздохом ответила, что пока нет никаких положительных изменений. Похоже, их дела обстоят как нельзя хуже, но вряд ли его присутствие в офисе может как-то на это повлиять. Доктор вошёл, как только закончился разговор. Подслушивал, что ли, подумал Серж.

– Итак, – вопрошающе взглянул на Сержа, – Вы согласны?

– Собственно, я не очень понял суть предлагаемого эксперимента, но, если это может помочь, я сделаю всё, что от меня зависит.



– От вас зависит только одно: согласиться на увлекательное путешествие – перелёт души в мир иной. Обычно оттуда не возвращаются, но вы вернётесь и, если всё пройдёт удачно, найдёте душу вашей подруги, а значит, вернёте ей жизнь. Вы – идеальный вариант для этого. Во-первых, она чувствует ваше присутствие, даже, смею предположить, любит вас, а иначе не произошёл бы рывок сегодняшней ночью, во-вторых, ваша душа вчера уже попробовала упорхнуть, но мы её удержали. Хочу предупредить, наши души испытывают сильное притяжение того мира. Попробовав раз, они стремятся туда опять и опять. В конце концов, там их дом. Мне бы хотелось узнать, что вы помните из той недолгой прогулки по окрестностям потустороннего. Встретились ли вы там с миссис Бакли? Что делали, о чём говорили? Всё это важно, чтобы выбрать правильное направление поиска. Кстати, она вам снится? Если да, то как?

Серж ответил не сразу, стараясь осознать услышанное. В голове вертелось предупреждение Аннет: «Ты должен уехать из больницы как можно раньше». Часы показывали почти полдень. Он посмотрел на доктора и сказал:

– Мне надо сейчас уйти.

– Так вы отказываетесь?

– Нет, я сделаю это, но не сегодня.

Доктор повернулся и пошёл к двери.

– Но учтите, у неё мало времени и сил. Можем не успеть.

– Пойдите, доктор, – крикнул Серж ему вдогонку. – Я завтра вернусь и сделаю всё, что нужно.

Про сны – я видел её в реке. Она стояла посреди воды. Что это?

Доктор повернулся и мрачно произнёс:

– Возвращайтесь побыстрее.

Серж выехал за больничные ворота и помчался в сторону города. Через пятнадцать минут в эти же ворота въехала выдавшая виды «Тойота», из которой вышел крупный пожилой мужчина. Он прошёл к больничному корпусу, на ходу поздоровавшись с медсестрой, и постучался в дверь с табличкой «Доктор Робинс». Ему разрешили войти.

– Привет, Мэтт! Проходи, садись, – пригласил доктор.

Детектив Мэтт Девис, а это был он, расстегнул ворот рубашки и спросил:

– Ну что нового? Как она? Его сегодня не было на работе. Похоже, не в нём дело.

Доктор усмехнулся и бросил на стол больничную карту, в которой были медицинские подробности, связанные с внезапным сердечным приступом, произошедшим на территории больницы с неким мистером Сержем Сагрине.

– Он недавно уехал, но обещал вернуться. В принципе он согласен. Посмотрим. А она-то, она! Я думал, сама выскочит, когда он к ней прикоснулся. Знаешь, он так торопился, словно знал, что вы можете встретиться.

Детектив выглядел озадаченным.

– Слушай, а куда он мог рвануть? – задумался детектив. – Он ведь билеты заказал для двоих, я проверял. Но представь: его финансовые дела настолько паршивы, что он должен просто не отходить от кнопок «кушать» «продать», а планировал романтическое путешествие с ней. Не понимаю.

– Вот это как раз то, что нам нужно, – воодушевлённо заметил доктор. – Это значит, что она ему дороже, чем бизнес. Редкий случай. С нею понятно – женщина. Хотя и полумёртвая, а завелась с пол-оборота, а для мужчины – нетипично.

– Ну ты мне как доктор объясни, почему она на мужа своего не реагирует. Он, этот Бакли, готов не то и душу, и жизнь за неё отдать, а она не отвечает.

– Слушай, Мэтт, а ты сам-то, когда туда ходил за дочкой, что произошло, помнишь? Не тебя она ждала, не твою душу, а того, с кем хотела быть, но ты не дал. Не было бы твоих угроз, что засадишь мальчишку в тюрьму, твоя Кэри не натворила бы глупостей и не лежала бы почти год без движения. Вот и в случае с Аннет Бакли муж является препятствием, а не помощью, хотя, возможно, что она его по-своему любит и, скорее всего, бросать не собиралась, а вот душа давно приросла к душе этого Сагрине и начала отрываться от тела ещё при жизни. Вот и вырвалась, наконец. Ведь как оно происходит, понимаешь? Если душа с телом живут в разных измерениях, то они неизбежно отрываются друг от друга. Ну, например, твоя девочка хотела жить с этим парнем. Да, ты знал, что он конченный наркоман и бандит, что ничего хорошего из этого не выйдет. Когда она попыталась убежать из дому, ты привязал её к кровати, а душу ведь не привяжешь. А дальше случилась неизбежная в этом случае беда. Саморазрушение оболочки. То, что Кэри таблеток наглоталась, был один из миллиона возможных вариантов разрушения тела при разделении с душой. Оно превратилось в дом без хозяина, в пустой, брошенный, никому не нужный дом, а хозяин бросился догонять кого-то и не вернулся. Но мы поможем – найдём и пошлём навстречу ловца. Ты нашёл этого парня? Я слышал – он тоже пытался с собою что-то сотворить.

Мэтт посуrowел и наклонил низко голову. Лысина покрылась испариной, он процедил сквозь зубы:

– Нашел паршивца. Жив, здоров, а если и отправится на тот свет, то обколотившись. Да не думает он о ней, ему доза нужна. Какая душа...



– Приведи его сюда, слышишь. – Доктор начинал раздражаться. – Учти, наркотики не уступают деньгам. Если Кэри окажется для него важнее этой дряни, то наше дело верное. Детектив кивнул, но добавил:

– Сначала попробуй этого финансиста. Вдруг он чего-то там разумеет и расскажет. Может, он и девчонки моей душу выманит. Если не согласится, то я его сам на тот свет отправлю.

– Опять ты ничего не понял, – доктор сочувственно посмотрел на детектива. – Будем надеяться, что завтра он придёт. Аннет в таком состоянии протянет не больше суток, а может, и меньше, сильное угнетение дыхательной системы, кровообращения. Надо успеть, иначе инди-свищи её душу грешную.

Серж, не включая света в квартире, зашторил окна. Позвонил жене, поговорил с детьми. Они хорошо отдыхали, много купались, загорали, объездили побережье, особенно понравилась Корсика. После разговора осталось неприятное ощущение, что он как-то наигранно восторгался тем, что слышал, и на языке всё время вертелось предложение продлить отпуск. В конце концов он спросил, не хотят ли они задержаться на недельку, но все хором закричали, что очень по нему соскучились. Через пять дней он должен был их встретить. Натыкаясь в темноте на мебель, он добрался до кухни и открыл холодильник. Там было не пусто, но противно. С момента отъезда семьи он ни разу не ел дома. Подумал, что надо бы всё выбросить, и откупорил бутылку вина. В шкафу нашёл консервированную кукурузу и чипсы. Вспомнил докторский спич по поводу вредных привычек и налил полный бокал любимого бордо. Путь к компьютеру прошёл, не пролив ни капли, но когда увидел на экране острые углы графиков сегодняшних торгов, сорвавшихся до такой низкой цены, которую он не помнил за двадцать лет, то бокал выпал из его рук. Пробежав дрожащими руками по клавиатуре, он убедился, что сегодня потерял всё, что зарабатывал, строил, покупал, чем гордился и ценил. Надо было что-то предпринимать, подумать о вариантах, проанализировать ситуацию, но мысли путались, а главное, не покидало ощущение, что преследующий его в последнее время рок уже внутри дома и сейчас стоит за спиной. Он резко повернулся – в глубине комнаты зиял чёрный провал двери.

– Хочешь меня достать, да? Всё забрать? Бери, но начини с меня, – заорал в темноту.

Осушив из горлышка бутылку, откупорил другую и завалился на диван...

Аннет села в ногах, обхватила руками подушку. Он хотел встать, но она не дала.

– Ты спишь и видишь меня во сне, – сказала, коснувшись прохладной ладонью его лба. Голос звучал издали, глухо и слабо. Тёмные тени лежали у неё под глазами, щеки втянулись. Её полупрозрачный силуэт почти растворился в сумраке. Он протянул руку, и рука прошла в пустоту.

– Мне плохо без тебя, – прошептал, стараясь взглянуть в её очертания.

– Тебе просто плохо. Я пришла помочь. Помнишь, я сказала, что вижу на день вперёд. Пока только на день, но и этого может оказаться достаточно. Если улечу выше, увижу дальше, но боюсь. Завтра ты сможешь вернуть потерянное и заработать в десять раз больше. Постарайся не упустить ничего из того, что надо сделать. У меня очень мало времени. Запоминай...

Утро прорезалось в щели жалюзи, расплосовав тело спящего Сержа. Он с трудом вытянул затёкшие конечности. Всю ночь провёл, скрючившись на диване, стараясь не потревожить Аннет. Перед тем как открыть глаза, испугался, что забыл сон, а в нём что-то очень важное. Она говорила, о чём? Господи! Он вспомнил мгновенно и ясно. Неужели это может оказаться правдой? Следуя ночным рекомендациям, подошёл к компьютеру и сделал первый ход. Уже через пару часов понял, что Аннет спасла его. Он стоил от восторга. Каждая минута приносила тысячи. Зная наверняка, что сегодня можно ждать от стока, он выигрывал, продавая и покупая. Скоро стало ясно, что можно остановиться. Выигрыша хватало бы пристойно прожить оставшуюся жизнь, но остановиться он не смог.

От компьютера и телефона он отошёл только вечером, после окончания торгов. Счастье тёплым маслом разливалось внутри. Захотелось вкусно поесть, выпить. Он решил позвонить в любимый ресторанчик и заказать ужин, как вдруг сознание царапнуло ощущение потери. Вспомнив разговор с доктором, кинулся к телефону и набрал номер больницы. Ему ответили, что доктора Робинсона не могут позвать, так как он занят и находится сейчас в реанимационном отделении. Серж выскочил из дома.

Закатное солнце пыталось раскрасить уже по-осеннему бесцветные тучи, набухшие свинцовой тяжестью собирающегося дождя. Ливень обрушился, забарабанив остервенело по капотам машин, медленно ползущих в чудовищной пробке. Серж посмотрел на часы и ещё раз набрал доктора. Ответ был тем же – доктор в реанимации. «Сейчас он там, возле неё, – пронеслось в голове. – Он спасает её, он должен спасти. Я помогу, я скоро буду. Как его предупредить?». Опять набрал номер больницы. Ответили не сразу. Серж просительной скороговоркой умолял сообщить доктору, что мистер Сагрине в пути, застрял в пробке, но он будет, обязательно будет. Трубка равнодушно ответила, что постарается передать, и связь прервалась.

Вместо получаса путь растянулся в двухчасовое переползание с улицы на улицу. Когда Серж наконец подъехал к больницы стоянке, к его машине подошла женщина с большим чёрным зонтом. Это оказалась круглолицая медсестра, которая, судя по промокшей одежде, давно его тут караулила. Она попросила следовать за ней и не задавать вопросов. Обогнув торец дома, женщина потянула его за рукав, и



они оказались в довольно тёмном, пахнущем сыростью помещении. Неоновый луч фонарика чиркнул по железной лестнице. – Нам наверх, – определила направление, вскинув голову. Серж пошёл за ней, пытаясь не споткнуться на скользких ступеньках. «Куда и зачем мы идём?» – спрашивал он себя. – Как-то странно ведёт себя вся эта больничная команда. Выживший из ума доктор гоняется за душами, медсестра, похожая на ведьму, завела чёрт знает куда. Предложили какой-то дикий эксперимент. Какие вообще души! Кто их видел? Прикрывают свою беспомощность сказками. Меня, в конце концов, интересует только, жива ли Аннет и что они конкретно могут для этого сделать. Если нужны деньги, ничего не пожалеем, а со всем остальным пусть оставят в покое. Сколько можно идти в этой темноте, прямо какой-то путь в преисподнюю!». Впереди открылся светящийся прямоугольник двери. Они вышли из темноты, и глаза ослепли от лампового солнца. Постепенно Серж стал различать, что находится в галерее зимнего сада. Над маленьким фонтанчиком, заросшим плющом, кружились разноцветные бабочки. Глянцево-яркие цветы переплетались с мясистыми плодами на фоне зелёного лабиринта искусственного ландшафта. Сержа подвели к беседке, где у стеклянного столика сидел доктор. Он выглядел уставшим и потерянным. Перед ним стояли початая бутылка вина и два бокала. Молча налив Сержу, он предложил выпить. Выпить за упокой души Аннет Бакли, которая много любила, а значит, там ей простится то, чего тут не прощают. Серж застыл с бокалом в руке, а доктор продолжил. Он подробно рассказал, как долго они боролись за её жизнь, как она уходила и возвращалась, давала и отнимала надежду. Как неожиданно собрала последние силы, когда в реанимацию зашла сестра и передала, что мистер Сагрине в пути, но не удержалась, отпустила, выронила ниточку, за которую держалась. Теперь она уже далеко, уже не вернуть, опоздали. Серж выпил и, посмотрев в глаза доктору, сухо произнёс:

– Я сожалею о случившемся. Вероятно, вы сделали все, что могли, что было в ваших силах, ведь вы не Господь Бог, хотя вчера вы почти утверждали обратное. Теперь, после ваших бредовых обещаний и предложений, я чувствую себя глупо, как будто из-за меня миссис Бакли отправилась на тот свет. Советую впредь не играть на чувствах людей, которые готовы всё отдать, чтобы их близкие остались живы. Доктор кивнул:

– Вы правы, конечно, я ошибался. Ничего бы не вышло, она поняла это раньше. Теперь послушайтесь моего совета – сегодня вам лучше остаться тут. Во-первых, у меня есть основания полагать, что ваше сердце опять барахлит. Мне не нравятся ваша бледность и синева на губах. Кроме того, вам угрожает реальная опасность, и будет лучше, если вы на время скроетесь. Серж нервно хохотнул:

– Нет, вы, определенно, сумасшедший, и даже опасный сумасшедший. Зачем всё это, от кого и от чего я должен скрываться?

– Поверьте, есть причины.

– Я вам не верю, – отрезал Серж.

– Тогда сестра вас выведет тем же путём, что вы проделали, идя сюда.

– А что, тут нет другого выхода?

– Для вас нет.

Мэтт Девис уже пять часов сидел возле центрального входа, ожидая Сержа. Он находился в больнице с утра, собственно, с утра он его и ждал. Всё было готово для эксперимента ещё до полудня. После обеда состояние Аннет стало ухудшаться, Дэвис нервничал и не понимал, почему бы доктору не поторопить «Ловца», но Робинс не собирался этого делать, объясняя, что никакого давления, только желание и добрая воля. Когда стало ясно, что Аннет уходит, Мэтт, страшно матерясь, поклялся наказать этого парня. Он видел убитых горем мужа и дочь Аннет, и всё время задавал себе вопрос: почему её душа не захотела удержаться ради них? Почему доктор так уверен, что никто из них не смог бы её вернуть? Его дочь Кэри лежала в палате этажом выше. Он каждый день заглядывал в её неподвижное лицо и всякий раз надеялся, что увидит в нем знак возвращения. Иногда казалось, что восковая бледность исчезла, что порозовели губы и на них появилась тень улыбки. Он подолгу разговаривал с ней – так советовал доктор, да и ему самому хотелось. Раньше поговорить не получалось, она проживала свою безумную подростковую жизнь и редко дослушивала до конца то, что говорил отец. Сегодня он рассказал, как не удался эксперимент, но добавил, что всё сработает, если... Если её дружок захочет, а не захочет, то тогда он его точно посадит.

Доктор постукал по спине детектива, выведя того из глубокой задумчивости:

– Всё сидишь, ждёшь? А зачем? Что ты собираешься ему сказать? Он ни в чём не виноват, не в нём дело. Она сама не захотела. Я, наконец, понял это, когда Сагрине опоздал, и даже догадываюсь почему. Скорее всего, она ему помогла отыграться, а потом, может быть, захотела ещё выше взлететь, чтобы дальше увидеть, и там ей открылось нечто, после чего передумала возвращаться. Что это, мы не узнаем. Но ей оттуда виднее. Может, она уже ждёт его там. Знаешь, иногда кажется, человек по всем признакам не жилец, уже не надеешься, и вдруг чудо – а это его душа поднялась высоко и прозрела и увидела, что есть ещё незаконченная работа в этом теле. Помню случай с одним пациентом. Уже ничего не ждали, кроме конца, да и никто его, собственно, тут и не стремился удержать, кроме докторов, разумеется. Человек



был тяжёлый, многим жизнь испортил, а у некоторых отнял, так вот... не тут-то было, вернулся, ещё лет двадцать прожил, а знаешь для чего? Душу свою наизнанку выворачивал, писателем знаменитым стал. Народ его откровения запоем читал, через творчество и заслужил прощение, за тем и вернулся. А этого Сагрине оставь в покое, и бойфренда твоей Кэри тоже. Если душа твоей девочки поймёт для чего, то найдёт дорогу домой.

Среди ночи Серж проснулся от странных звуков. В ушах стоял звонкий смех, лепет, шушуканье и возня. Казалось, что где-то затевается весёлая игра и его вот-вот туда позовут. Очень хотелось встать. Тело и голова были лёгкими от удивительного состояния лопнувшей внутри оболочки. Близко, очень близко зазвенел тонкий девичий голосок. Серж хотел было посмотреть, откуда он доносится, но не смог повернуть головы. А голосок звал, манил. Наконец он ясно расслышал слова: «Ну чего ты застрял! Руку, руку давай!». Он изловчился, потянулся и почувствовал, как невероятная сила оторвала его от кровати и стремительно увлекла за собой. Он летел над землей, среди тысяч, а может, миллионов светящихся пузырьков. Они сталкивались и разлетались, кружились и падали. Он знал, что летит рядом с Аннет. Не видел этого, не чувствовал, но знал. Было хорошо, как никогда раньше. Хорошо, потому что теперь навсегда.

ОЛЬГА СОКОЛОВА

КЛУБ «КЛЕВЕР»

рассказ

1

Сергей задумчиво смотрел в проносящийся за окном электрички Киев-Белгородка пейзаж. До чего же жёсткие неудобные лавочки! Чем же ему заняться в Белгородке? Такси? Сантехника? Рынок? У деда неплохо получалось торговать, может гены передались...

– Сынок, а не позволишь ли пожилой женщине сесть возле окна, а то ходюте туды-сюды все по вагону, – прервала его мысли старушка с большой синей сумкой.

– Конечно, садитесь. Вам помочь сумку передвинуть?

Лето уже вступало в свои права, лица пассажиров были весёлыми, наверно предвкушали скорые отпуска, море, шашлыки. Казалось, и нет никакого кризиса. Попутчики Сергея не думали о курсе доллара, их больше волновало, принялась ли рассада и саженцы в огородах и на дачах.

– Надо переходить на натуральное хозяйство! – гремел бас на сидениях сзади. – Вот у меня всё своё – и курочки, и помидоры-огурцы.

Запищал мобильник. Сергей медленно достал его, вынул сим-карту и вставил новую, из только что распечатанной упаковки, а старую положил в нагрудный карман разноцветной рубашки.

Электричка неслась всё дальше, и он потихоньку начал дремать.

– Товарищ, выходите, конечная!

Бодрый старичок-проводник похлопал его по плечу.

Сергей оглядел вагон – он был пуст – и уверенно шагнул в чистый майский воздух посёлка.

– Такси нужно? Такси, такси! – окружили его бомбилы с нахальными лицами и золотыми зубами.

– Спасибо, я на автобусе.

Таксисты с презрением отвернулись и продолжили свой разговор о политике и пиве.

Сергей легко, по-молодецки схватил свой небольшой багаж – потрёпанную спортивную сумку. Он был сильным, высоким мужчиной, женщины, проходя мимо, украдкой оглядывались на его статное тело и волевое лицо.

Он достал мобильник и набрал номер, записанный в блокноте.

– Здравствуйте, Марина Владимировна, это ваш постоялец. Я сегодня приехал, можно заселяться? Что? Да, на три месяца. Говорите адрес.

Автобуса пришлось ждать долго, стало жарковато. Сергей с интересом разглядывал узкие тенистые улицы незнакомого места.

Марина Владимировна, полная краснолицая женщина, была уже в квартире. Она с осторожностью открыла дверь и оценивающе оглядела нового жильца.

– Вы к нам на отдых или по работе?

– По работе, по работе...

– Паспорт с собой?

– Паспорт? – на секунду на лице Сергея мелькнуло замешательство. – Мне его позже передадут из Киева.

– Нет, без паспорта не могу, извините, много тут всяких пастает, потом недосчитаетесь телевизора или холодильника, один раз даже розетки повыкручивали.

– А такие документы вас устроят? – спросил Сергей и протянул несколько мятых купюр с портретом Григория Сквороды.

– Ладно, – буркнула хозяйка, но я скажу соседу, чтобы за тобой присматривал.

Наконец она ушла, прихватив с собой немалую часть суммы, которая у него была. Он с наслаждением вытянулся на старом диване и осмотрел свои новые хоромы. Квартира была типичный хрущ, с обшарпанным унитазом и закопченной кухней. Ладно, самое главное – есть горячая вода и, в принципе, вышло недорого.

Но времени терять не стоило, и он пошёл в ближайший магазин за продуктами, прихватив оттуда и газету с бесплатными объявлениями.

Тааак, что тут у нас? Требуется рабочие на мясокомбинат. Не то. Упаковщики. Не то. О, крупной торговой сети бытовой техники требуется срочно продавец консультант, зарплата плюс проценты. Сергей набрал номер, на другом конце приятный женский голос попросил подойти в магазин на площади Ленина в три часа дня на собеседование. До собеседования оставалось ещё два с половиной часа. Наскоро отвариивпельменей, он решил погулять в ближайшем парке.

В парке было довольно безлюдно – в разгар рабочего дня мало празднующихся. Он сел на лавочку, открыл бутылочку минералки, почувствовав непреодолимое желание затянуться сигаретой. «Нет, в здоровом теле здоровый дух!» – он, начав пить из бутылки, вдруг задохнулся и закашлялся. Из-за поворота показались две девушки. Они смеялись и отчаянно жестикулировали. Из их диалога он понял, что они прогуляли институт и наслаждаются прекрасным днём. Одна была симпатичная пухленькая брюнетка в рваных джинсах и майке, слишком короткой для такого телосложения. А вторая...

Сергею вдруг вспомнилась поездка его, пятнадцатилетнего, в Санкт-Петербург с одноклассниками. В одном зале Эрмитажа со стен на него смотрели существа не земного, а, скорее, божественного происхождения, кисти Боттичелли. Рыжие длинноволосые дивы задумчиво смотрели куда-то вдаль, изящно склонившись или оборачиваясь на восхищённого зрителя.

Сейчас на него смотрела одна из этих див, только не нарисованная, а живая. Солнце переливалось в её золотистых волосах, а по лицу была россыпь проклятия средневековых женщин – веснушки. Дива с интересом смотрела на Сергея, не понимая, почему он на неё уставился.

– Смотри, псих какой-то, – хихикнула брюнетка и потащила за руку свою огненную подругу, которая всего лишь на долю секунды оглянулась, и исчезла.

Позже, когда пришёл в себя, он отметил, что дива была почти с него ростом, где-то метр восемьдесят, а очертания её лёгкой фигуры были даже тоньше, чем заветные 90-60-90.

Он ещё пару минут посидел в задумчивости и вдруг хлопнул себя по лбу. Собеседование!

Благо площадь Ленина находилась в пятнадцати минутах ходьбы от парка. Он вошёл в приёмную директора слегка запыхавшимся, но не опоздал.

Собеседование заняло десять минут. Похоже, этому магазину действительно нужно было закрыть дыру в кадрах.

Получив распоряжение явиться на работу в восемь утра завтра, Сергей удалился.

Остаток дня он провёл на своём маленьком незастеклённом балкончике, сидя на кривой табуретке и задумчиво потягивая молдавское вино из уродливого стакана постперестроечного дизайнера. Да, это было, конечно не шардоне 1839 года, но вкупе со впечатлениями от первого дня в незнакомом, но милом городе, казалось вполне сносным.

2

Магазин выглядел вполне респектабельно, вдоль стен возвышались батареи холодильников и стиральных машин, компьютеры ласково мигали синими мониторами.

– О, новенький пришёл. Как зовут? – к Сергею подошёл светловолосый верзила с бейджином «Старший продавец».

– Сергей.

– Валерий Михайлович, можно просто Валера. Ладно, Серёга, униформу возьми на складе в конце магазина, бейджик потом дадут. Ты где раньше работал?

– То тут, то там...

– Ясно, кадровички сказали, опыт продаж у тебя есть, так что нянчиться я с тобой не буду, сам разберёшься. Лет тебе сколько?

– Тридцать.

– Почти как мне... давай, иди, твой отдел – мелочь.

Сергей с любопытством разглядывал вверенные ему полки – все эти утюги, бритва, миксеры, тостеры. Особенно его поразил женский эпилятор для ног. Сергей никогда не задумывался, чего стоит богиням красоты их потрясающая внешность. Они просто существовали на радость его мужскому глазу.

Торговля шла бойко: во-первых, была суббота – день хозяйственных закупок, во-вторых клиентками Сергея были, в основном, женщины бальзаковского возраста, и то, как он с ними разговаривал, к вечеру заставило перешептываться весь магазин. Он с самой любезной улыбкой то внимал самой склонной покупательнице, то, едва бросив взгляд на инструкцию, рассыпался терминами перед блондинкой, приводя её в восхищение.

Сергей чувствовал победу на новом для него поприще, ведь всё, что он рассказал на собеседовании о своём блестящем опыте работы, было, мягко говоря, преувеличением, а попросту сказать – враньём.



Перед закрытием магазина Валера выглядел более приветливо, чем с утра. Ещё бы, ведь его премиальные напрямую зависели от того, выполняет ли магазин план.

– Слышь, Серёга, я смотрю, ты нормально справляешься. Я тут подумал – мы с ребятами в клубешник собираемся, ну как клуб, скорее дискотека для студентов, бухло недорогое и девочки туда ходят высший класс. Хошь с нами?

– С удовольствием, как раз думал, чем заняться в субботу вечером.

– Лады, тогда в одиннадцать подъезжай к клубу «Чили», возле входа встретимся.

Клуб был, так сказать, средней паршивости, по киевским меркам, но выглядел более-менее. Взгляд двухметрового охранника чуть дольше задержался на Сергее, чем на остальных, оценивая его ослепительно-белую футболку и простенькие голубые джинсы.

Внутри музыка уже сотрясала стены, и зал был почти полон. По внешнему виду посетителей можно было и впрямь сказать, что это дискотека для студентов: здесь никого не было старше двадцати пяти и у Сергея слегка защемило сердце. Нет, он, конечно, себя старым не считал, но как же давно это было – университет, безумные ночи в общежитии, весёлая жизнь.

Сергей потихоньку отделился от своих новоиспечённых коллег и сел за барную стойку с бокалом тёмного. Оттуда ему удобнее всего было обозревать толпу, особенно женскую её половину. И посмотреть было на что. Конечно, там были и классические крашенные блондинки с нарисованными бровями и неестественно выпяченными губами, одетые в точные копии известных брендов. Они стояли с таким видом, будто только что сошли со страниц Vogue. Купишь такой коктейль, расскажешь о своей поездке в Лондон, намекнув, что такая, как она помогла бы развеять густой северный смог, невзначай покрутишь брелком от дорогой машины (которую за неимением таковой можно одолжить у друга) и она уже едет к тебе домой. Больше трёх раз с ней встречаться не имеет смысла – начинает кланчить деньги.

Были тут и другие – девушки в ультракоротких безвкусных платьях, с килограммом косметики на лице, ведущие себя крайне развязно. Одноразовые подстилки – тут уже достаточно одного только алкоголя, чтобы получить удовольствие в машине.

Но были и другие – простые милые отличницы, застенчиво озирающиеся по сторонам, на взгляд Сергея – самые привлекательные.

Сергей скачающе шарил глазами по пёстрой толпе, как вдруг его взгляд обжёгся обо что-то яркое и золотое.

На другом конце стойки рядом со своей пухленькой подружкой сидела та самая – муза Боттичелли из парка. Она не была похожа ни на кого в этом зале. Сделанные из старых джинсов шорты, кроссовки, совершенно бесформенная футболка – весь наряд. Сергей потихоньку пересел поближе. Муза на мгновение повернула голову, и он увидел, как по щекам струятся чёрные реки туши вперемешку со слезами.

– Бармен, ещё две водки! – проорала подружка музы.

Тот налил, и муза послушно выпила эту гадость на пару со своей подстрекательницей.

– Даша, хватит, я больше не могу.

– Надо помянуть раба Божьего Бориса.

– Да если бы папа сейчас меня увидел, он бы мне уши оторвал. Только нет его больше...

И муза опять зашлась рыданиями, на что злой ангел Дарья потребовала у бармена ещё водки.

Как странно иногда поворачивается жизнь! Ещё вчера этой девушке было море по колено, а сегодня её отца больше нет. Со своим отцом Сергей не общался уже много лет. Отец не мог ему простить, что он не стал поступать в медицинский, а Сергей не мог простить ему вечное подавление. А ведь папе уже шестьдесят пять....

Встряхнув головой, отгоняя непрошенные воспоминания, Сергей услышал разговор на повышенных тонах. Бармен потрясал чеком из кассового аппарата, а Дарья взахлёб ему что-то объясняла. Муза сидела в полной прострации, и, по всей видимости, была в доску пьяна.

Сергей подошёл вплотную.

– Брат, что случилось?

– Я им говорю – вы выпили водки на 360 гривен, а они платит не хотят.

– Да что вы его слушаете, я Хортицу просила, а он Финляндию наливал!

Даша была не трезвее музы, но чувство долга заставляло её стоять прямо и доказывать свою точку зрения.

– Я заплачу.

Сумма была ощутима для человека, у которого зарплата будет только через месяц.

Даша расплылась в улыбке.

– Ой, как приятно, что ещё остались настоящие мужчины. И захлопала ресницами, заставив Сергея закатыть глаза.

– Девочки, вызвать вам такси?

– Да я тут на соседней улице живу, это Яне не помешало бы. Только она обычно пешком ходит, откуда у нас деньги на такси.

- Такая девушка ходит ночью пешком одна?
- Какая такая? Ну да, иногда друзья провожают, иногда одна...
- Я прослежу, чтоб с ней ничего не случилось.
- Окей, вижу вы мужчина приличный, пошла я тогда...

Даша, пошатываясь, направилась к выходу. Яна совсем по-детски шмыгнула носом. Судя по всему, она не очень понимала, что происходит. Сергей сам не понимал, почему вдруг дыхание и пульс участились. Обычная девчонка. Просто отвези её домой и всё. Не в правилах Сергея было пользоваться таким состоянием девушек. В системе его ценностей затащить в постель ничего не соображающее тело было унижительным для самого себя. Он предпочитал, чтобы женщина, какая бы она ни была, отдавала себе полный отчёт в том, что она делает, с кем и почему, и что это просто секс, а не очередная ванильная история.

Сергей взял под локоть Яну и повел её наружу. На удивление, она покорно следовала за ним, бормоча что-то непонятное для него.

На улице она внезапно схватилась за живот и побежала под куст.

В интернете пишут, что если ты держал девушке волосы, пока её рвет, значит ты её любишь. Но Сергей всё равно не успел бы среагировать.

- Есть сигарета? – спросил он у рядом стоящего парня.
- Держи, но у меня только крепкие.

Сергей затаился и закашлялся.

- А можно и мне?

Яна теперь выглядела чуть лучше и рассеянно комкала в руках влажные салфетки. За кустами она успела вытереть с лица тушь, и Сергей вновь поразился её сходству с женщинами, нарисованными пятьсот лет назад.

- Яна, ты понимаешь меня? Я сейчас вызову такси, куда тебе ехать?
- На кладбище.
- Очень смешно.
- А я и не шучу...

Сидя в машине, Сергей в очередной раз пытался добиться внятного адреса, но Яна прислонилась к его плечу и никак не реагировала на вопросы. Её лоб слегка касался его подбородка. Как же отправить её домой? Сергей не понимал, почему злитесь. Впрочем, к таким приключениям он был просто не готов. Обычно он строго дозировал алкоголь, который пила его собеседница, а если она становилась уже изрядно подшофе – вежливо испарялся. Но нужно было что-то решать, и Сергей, скрепя сердце назвал свой адрес.

По дороге Яна тихонько сопела, но вдруг резко вскочила.

- В понедельник защита диплома, мне нужно подготовиться! – и тут же опять обмякла.

Сергей осторожно обнял её рыжую макушку и прижал к себе. Да, весёлая будет ночь!

«Только никому об этом не рассказывай» – думал он, неся лёгкую, как пушинка, ношу в квартиру на руках.

У него в голове возникла неразрешимая дилемма. То, что им придётся спать на одном диване, было ясно. Но раздевать её или оставить как есть, было непонятно. Решив, что не выдержит вида полубожажённой Яны у себя в постели, он положил её у стены в шортах и футболке, и сам лёг, не раздеваясь. На работу надо было к восьми утра.

Бездонное голубое озеро, серые скалы по краям. И он в центре озера – в маленькой лодочке. И ни души вокруг. Вдалеке слышен какой-то нарастающий шум. Он всё ближе и ближе, становится просто оглушительным.

Сергей резко сел на кровати и огляделся. На столике надрывался будильник. Но ему не приснилось. На диване действительно лежит слегка помятая рыжая богиня, удивлённо шурясь на свету.

- Что... Какого... Мужчина, вы кто вообще?

– Сергей.

– Какой Сергей?

– Которого ты видела в парке, когда гуляла с Дашей, а потом в клубе вчера, когда вам не хватило на водку. Я заплатил за вас.

На лице Яны отобразился вселенский ужас.

- А... мы вообще где?

– У меня дома.

В огромных янтарных глазах начали собираться слёзы.

– Не для того, о чём ты подумала, я дрова не эксплуатирую. Ты не в состоянии была сказать свой адрес. Осталось бросить тебя на улице или привезти сюда. Я, надеюсь, ты понимаешь, что второй вариант для тебя был более безопасным. Посмотри внимательно, на тебе твоя одежда, полностью застёгнута.

- Вода есть?

Сергей протопал на кухню и осмотрел свои запасы.

- Сок или молоко подойдёт?

– Угу.



Она медленно пила сок, задумчиво вертя золотой локон. Воцарилось неловкое молчание.

– Яна, мне на работу надо, если хочешь, прими душ и возьми что-то в холодильнике перекусить, будешь уходить, просто захлопни дверь.

Она легонько кивнула. Сергей уже опаздывал. Со скоростью света принял душ и помчался на автобус. Валера явно был с похмелья, сердито бегал и отдавал указания.

– Серёга, ты вчера куда пропал?

– Да так, с девушкой познакомился...

– Красава! Времени не теряешь!

Краска невольно прилила к щекам Сергея. Что это он разволновался, как школьник? Подумаешь, большое дело, ведь и не было ничего! Но почему-то он был даже рад, что ничего не было. И ведь даже не спросил её номер телефона, осёл.

3

Рабочий вторник прошёл спокойно, а потом ещё один, и ещё. У Сергея всё валялось из рук, хотя он старался, чтобы этого никто не заметил. Вечером была инвентаризация до самого вечера, он дико устал. Поднимался по ступенькам своего обшарпанного подъезда, предвкушая, как сейчас провалится в сон. Опять выкрутили лампочку, и он стал светить мобильником, чтоб попасть ключом в замок. Справа шевельнулась какая-то тень. Сергей мгновенно сгруппировался и направил луч света на источник шороха. В углу возле стены сидела муза.

Почему-то он совсем не удивился, словно так и должно быть. Секунду помолчал и отпер дверь.

– Ну, проходи.

Яна резво подскочила и вошла внутрь.

– Что-то случилось?

– Понимаешь, я сегодня защитилась, хотелось с кем-то поделиться. Мама плачет каждый день из-за папы, ей сейчас не до этого.

– А Даша?

– Ой, Дашка – это оторви и выкинь, её каждый год с трудом переводили на следующий курс. С ней только тусоваться хорошо. Ты не подумай, я обычно не пью водку, просто сам понимаешь – папа и вообще...

– Я понимаю.

Сергей разулся, кинул ключи на стол и поставил чайник.

– Только извини, я так устал на работе, что в магазин не заходил, ничего к чаю не купил.

Яна одним движением достала из рюкзака контейнер с блинами. Сергей осторожно откусил и стал медленно жевать.

– Ммм... неплохо, совсем неплохо. Похожи на те, что моя мама делала.

– А почему делала? Перестала?

– Она ушла от нас, когда мне было семь, не знаю, где она сейчас. Меня воспитывал отец.

– А ты сам откуда?

– Из Киева.

– А почему переехал?

– В столице другая жизнь. Волчья. Или ты – или тебя.

– А я вот как учебу закончу, собиралась туда как раз...

Сергей старался слушать очень внимательно, но у него слипались глаза.

– Ой, да ты спишь на ходу, ложись уже.

Ему, конечно, спать хотелось, но одновременно хотелось продлить момент этого уюта до бесконечности.

– А ты можешь со мной посидеть пять минут?

– Да хоть десять!

Сергей прошёл в комнату, быстро разделся и юркнул под одеяло.

Яна зашла, присела рядом, положила руку ему на плечо и стала тихонько раскачивать.

– Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придёт серенький волчок и укусит за бочок...

Сергей открыл глаза, вокруг была темнота. Он лежал под одеялом. Его ноги касались другая, более тонкая. «Не ушла» – удивлённо подумал он и легонько притянул её к себе. Она как будто ждала этого и потянулась к нему губами.

В среду у Сергея был выходной. Парк аттракционов. Тенистые аллеи. Стаи голубей, жадно пожирающих хлебные крошки, которые они им бросали. Мороженое у неё на подбородке. Ветер, на котором развевались золотые волосы. Сто фото на плёночный фотоаппарат. Неужели такими ещё пользуются? Развалившиеся от дождя сандалии. Удивлённые коты, совсем не рады, что их побеспокоили.

На следующий день коллеги как-то странно на него смотрели и хихикали. Возможно, это было из-за того, что у него на лице была дурацкая улыбка до ушей.

Работал он так же хорошо, но едва заканчивался рабочий день, он со всех ног мчался домой, где уже она ждала его, а на плите булькало ароматное нечто. Две чашки, две тарелки, две пары домашних тапочек.

А лето вступило в свои права. И в первый раз за долгое время Сергей чувствовал, что не хочет никуда уезжать, а уж тем более возвращаться в Киев.

Как-то Яна задумчиво спросила:

– А хорошо быть моделью?

– А что?

– Сегодня на улице подошла женщина, сказала она – скаут модельного агентства и может отправить меня работать за границу.

– Ну, это довольно грязный бизнес, много подставных контор, девочек вовлекают в элитную проституцию, алкоголь, наркотики, постоянные диеты. Впрочем, если агентство хорошее, это отличный шанс посмотреть мир и попрактиковать язык.

– Ну, диета мне не страшна, меня и так все пытаются накормить.

Кухня наполнилась звонким смехом.

– Да зачем мне эта граница, я и так язык знаю, руководитель диплома сказала, что моя работа – одна из лучших. Там же тебя не будет. Зачем мне другие города без тебя?

Сергей не нашёл, что ответить.

День зарплаты он ждал с большим нетерпением. Получив деньги в кассе, он стал думать, что подарить Яне. Большим специалистом по части подарков женщинам был его друг Лёха. Но Лёха давно не отвечал на знакомые номера. Сергей зашёл в подсобку магазина и переставил старую симку обратно в телефон.

Телефон затрещивал, как на пожар. Было пятьдесят уведомлений, что Лёха пытался дозвониться. Сергей набрал его и на том конце раздался почти крик.

– Серега, бросай всё нахрен, у нас ЧП, ты должен быть в Киеве.

– Когда?

– Б...ть вчера!

– Понял, сегодня выезжаю.

Сергей задумался. Сегодня мама Яны просила её помочь на даче, значит, она придёт поздно. Успею собраться.

Времени было не так уж и много, он зашёл в ближайший ювелирный, на все оставшиеся деньги купил золотой кулон в виде звезды на тонкой золотой цепочке.

Дома он взял только паспорт. Оставил кулон на столе. Написать записку? А что он напишет? Что это было ошибкой? Прости-прощай? Наконец, на клочке бумаги он вывел: «Моряки находили дорогу домой по звёздам. А моя полярная звезда – это ты». Оставил записку рядом с коробочкой и поехал на вокзал. Уже сидя в автобусе, он ругал себя, ведь таким женщинам не оставляют такие идиотские записки.

4

Сергей вспомнил, что сегодня он отпустил водителя и вести придётся самому. Разыгралась неслабая метель. Его БМВ имел все шансы превратиться в сугроб. Но ежегодная встреча в его джентельменском клубе – это было святое.

Заведение не зря считалось одним из самых элитных. Мрамор, бархат, зеркала, услужливые официанты. Лёха, Виталик и несколько других молодых успешных мужчин уже приехали, ждали только его. За соседними столиками сидели не менее уважаемые посетители, некоторые были с дамами. Которые точно не были жёнами. Сергей машинально поправил серебряный значок клевера в лацкане его смокинга.

– О, Серега приехал, заходи, начинаем.

Виталик, председатель, избранный в прошлом году, поднял бокал.

– Господа, хочу поздравить вас с наступающим новым годом и с очередным заседанием нашего замечательного мужского клуба «Клевер». Как обычно, мы выберем следующего председателя за самую интересную историю и наградим его статуэткой. Алексей, начинай.

– Ну что, в этом году я поехал в Харьковскую область. В какой-то Усть-Задрищенск, даже не помню точного названия. Я понял, что как-то скучно проводил прошлые поездки и решил на этот раз пройти по жесткачу. Устроился работать таксистом и вечером поехал на трассу. Нашёл самую задрипанную девку, один раз с ней – двести гривен всего. Привёз к себе, прочитал ей лекцию о вреде проституции, предложил обследоваться на венерические заболевания. В общем, лечил её, привозил продукты. Запрещал на трассу выходить. Она, по ходу, реально в меня влюбилась. Сказала, что я был послан ей Богом и если брошу её – покончит с собой. Она за меня свечки в церкви ставила!

– А вдруг она и правда того – из окна выпрыгнула или ещё чего?



– Да ну что вы в самом деле, эти шляпки живучие, как кошки, так и стоит, наверно, на трассе опять.
– А можно теперь я! – отозвался другой участник, – у меня круче было. – Я когда в свой Мухосранск приехал, как раз мимо свадьбы проходил, подхожу такой к невесте и говорю – а вы уже расписались? Она – нет ещё, вот сейчас в ЗАГС заходить будем. Я говорю – не выходи за него, я понял, что ты любовь всей моей жизни. И что вы думаете? Бросила букет и сбежала со мной. Ну, потом, понятное дело, я её мариновал два месяца. Думаю, сейчас она вернулась к своему бывшему, если он ей личико не разукрасил.

Сергею стало тесно в смокинге, он машинально стал пытаться ослабить бабочку.

– А ты, Серёга, у тебя что в этом году?

– Ничего.

– Как ничего?

– Я не ездил.

– А ты же в курсе, что если два раза пропускаешь, то тебя лишают членства в клубе?

– Членства... да вы и есть настоящие члены! С жиру беситесь, недоделки.

Костяшки на сжатых кулаках Сергея побелели.

– Слышь, Серега, остынь! Да что на тебя нашло? – Лёха ласково похлопал его по плечу. – Это же всё провинция. Ты же сам знаешь, зачем мы учредили этот клуб. К столичным штучкам без айфона в пакетике не подойти, все только на твой кошелёк смотрят.

– Ну и ешьте свои деньги, купайтесь в них, только не утоните!

Сергей был весь красный от стыда и злости.

Лёха отвёл его в сторону.

– Не устраивай сцен, сейчас девочки придут.

– Какие девочки?

– Мы вызвали.

– Только путан мне сейчас не хватало.

– Да нет, это настоящие модели, они не это самое, просто украшают собой мероприятия. Мода такая новая.

Сергей взял себя в руки и опять сел в кресло. Участники клуба продолжали рассказывать о своих захватывающих провинциальных приключениях.

5

По мраморному полу зацокали каблочки. К их столу шли четыре девушки. Две блондинки, брюнетка и рыжая. Лёха одобрительно цокнул языком.

– А рыжая ух хороша!

Сергей поднял глаза, и глоток виски стал у него поперёк горла. Среди десятков столичных модельных агентств секретарь клуба позвонил именно в это. И приехала именно эта девушка. Янтарные глаза с любопытством оглядывали убранство ресторана. Что-то в ней изменилось. Волосы были убраны в высокую причёску. Тело облегало длинное синее платье. На шее блеснул кулон в виде звезды. Она внимательно оглядела собрание и её глаза недобро блеснули. Лицо приняло непонятное застывшее выражение.

– Садитесь девочки, мы уже закончили.

Сергей поспешно встал, подошёл к Яне и прошептал на ухо:

– Пойдём в холл, поговорим.

Они вышли и встали у колонны. Сергей всё тянул, не решаясь поднять глаза.

– Ах, так вот куда пропал лучший сотрудник магазина бытовой техники!

– Мне нужно многое тебе объяснить.

– Ничего не нужно объяснять, в модельном агентстве нам сказали, куда мы едем и что это за клуб.

– Тогда была попытка рейдерского захвата фирмы, и если бы я не поехал в Киев, то остался бы только с тем, что на мне было надето. Я всё решил и уладил, и можно было вернуться, но я не поехал... я не знаю... я... Я чувствую себя куском дерьма.

– А ты он и есть. Я чуть с ума не сошла, дожидаясь тебя, три дня в квартире просидела. Хотела пойти подать на розыск в милицию, потом поняла, что даже фамилию твою не знаю.

– Прыгун.

– Что?

– Прыгун Сергей Валентинович. Это моё имя.

– Да какая к чёрту разница! Я обзвонила больницы и морги. Была на опознании нескольких трупов. А ты был просто гастролёр, как и все вы тут. Развлечение у вас такое, сельский экстрим для миллионеров.

– А ты не была такой.

– Учитель хороший попался.

Она достала из сумочки тонкие разноцветные сигареты с золотой каёмкой и нервно затянулась. Сергей решительно взял её за руку, она не отняла её.

– Давай уедем куда-нибудь, я продам бизнес и начнём всё заново. Куда-нибудь в англоязычную страну, чтоб твой диплом зря не пропал.

– Поздно, солнышко, я подписала модельный контракт и после нового года еду работать в Лондон. Мне повезло – это одно из лучших агентств. Это поможет мне чего-то добиться в жизни и больше никогда не быть использованной такими, как ты.

Яна достала телефон и позвонила.

– Ребята, я сегодня не могу работать, очень спину прихватило, домой поеду лечиться. Вычитите с меня, что положено.

Потом позвонила в такси и высвободила руку.

– Просто сделай выводы на будущее и постарайся поступать по-другому. Пока, меня такси ждёт.

Морозная ночь приняла Яну в свои объятия. Сергей остался стоять совершенно опустошённый. Ледяной ветер бил в лицо и развевал полы его смокинга. Он опустил голову и зажмурился. Потом потянулся к значку с клевером, отщипил и швырнул в стоящую неподалеку урну. Помедлив пару секунд, достал телефон и набрал номер.

– Привет, пап. Я приеду сейчас, хорошо? Нет, ничего не случилось. Просто... В общем, давай я приеду и поговорим. Нет, просто поговорим. О чём? Обо всём.

6

Сергей брёл по тенистому двору улицы Фрунзе, замедляя шаг. Он не был здесь десять лет, с тех пор, как после скандала с отцом хлопнул дверью и переехал в студенческое общежитие. Деревья, которые он помнил ещё саженцами, теперь возвышались над крышами, покачивая голыми ветвями. Но вот и он, ничем не примечательный пятиэтажный дом, который случайный прохожий бы не отличил среди десятка таких же безликих на этой улице. Но только не Сергей.

Лестница в подъезде всё не кончалась, на четвёртом этаже он развернулся и стал спускаться, потом, чертыхнувшись, пошел опять вверх. У него была какая-то парадоксальная нелюбовь к лестницам, хотя обычно два часа в тренажёрном зале не казались ему чем-то сверхтяжёлым. Какое-то время он мялся перед массивной стальной дверью. Провёл рукой по чёрным завитушкам. Потом порылся в кармане и нашёл связку своих ключей. Один из них был не такой, как остальные – старый, витиеватый, только таким ключом открывался хитрый английский замок. Он вставил ключ и повернул его три раза. Дверь бесшумно отъехала и выпустила в темноту прихожей. Он закрыл дверь и щёлкнул выключателем.

– Заходи, не стой на пороге, я здесь, на кухне, – прозвучал повелительный, хотя и дребезжащий голос. – А ты всё такой же, папа.

Сергей зашёл на кухню. На кухне всё было совершенно таким, как он помнил, только появилась микроволновая печь. Он задержал на ней взгляд.

– Да, с возрастом приходит лень, – сказал седой джентльмен из кресла, подняв внимательные светлые глаза от газеты. – Уже не хочется разогревать себе еду на плите, гораздо удобнее класть контейнеры с готовой едой, что мне привозят, в этот агрегат.

Повисла неловкая пауза. Сергей устало опустился на свободный стул, поставил локоть на столешницу и уткнулся лбом в раскрытую руку.

– Рассказывай, – задрезжал опять голос.

– Я встретил девушку.

– И?

– И из-за своей глупости её потерял. Я заигрался. Я не знаю, что мне делать.

Седой господин отложил газету, достал из жестяной коробочки на столе сигару, зажгёт спичку, подкурил и с наслаждением затянулся.

– Пап, ну ты же сам врач, зачем ты это куришь?

– Послушай-ка вот что, сын, – он стряхнул пепел. – Когда я был примерно твоего возраста, на меня очень много всего свалилось. Совок доживал свои последние дни, начались большие перемены. Мне тогда казалось, что чем больше я буду работать, тем лучше будет моей семье – тебе и твоей матери. Я думал, она поймёт и поддержит меня. И так и было, пока я не начал пропадать в больнице по двое-трое суток, приходя домой, только чтобы переодеться. Однажды я пришёл домой, полки в шкафу, где были её вещи, были пусты, а на столе записка: «Я так больше не могу. У меня появился человек, для которого помимо работы существует ещё что-то. Серёжа у бабушки. Меня не ищи».

– Ты никогда не рассказывал, как мама ушла.

– Я был полностью разгромлен и подавлен. От отчаяния я нырнул в работу с головой и вскоре меня назначили заведующим отделением. Со временем смирился. Но если бы я мог вернуть тот день, город бы на уши поднял. Я же медик, половина ментов мои друзья. А я не стал. Самолюбие выиграло. И я потерял её – свою жену, твою мать.



– Слушая тебя, можно сказать, что мы для тебя всегда были самым важным, но вспомни, ты ругал меня даже за четвёрки, вместо игр в войнушки я сидел над медицинскими справочниками. Ты фактически проклял меня, когда я сказал, что буду учиться на юридическом. Когда я сам поступил на бюджет, без взяток и связей, ты рассмеялся мне в лицо.

– Я хотел обеспечить твоё будущее. Я всегда хотел для тебя всего самого лучшего.

– Но мне-то лучше известно, что для меня «самое лучшее». Как видишь, у меня успешный строительный бизнес, мои многоэтажки разбросаны по всему Киеву.

– Да, это успех, а теперь ты пришёл к старому больному человеку ныть о том, что не можешь вернуть женщину.

Сергей удивлённо оторвал голову от руки и посмотрел на отца. Но вместо надменной мины увидел лукавую улыбку и сеточку морщинок вокруг глаз.

– Ты знаешь, как её найти?

– Да, папа, то есть нет... То есть, могу узнать, как.

– Тогда узнай, а когда узнаешь, сразу звони – есть идея.

7

Ветер колыхал за окном новогоднюю мишуру. «Скоро её снимут...», – подумал Сергей. Он засмотрелся на капельки на стекле и усмехнулся: «Дождь в Лондоне, надо же, как неожиданно!». Но в баре при холле отеля было тепло и уютно, а старый добрый викторианский стиль создавал ту самую «шерлок-холмсовскую» атмосферу. Он хотел забронировать что-то более модное и современное, но остановился на этом скромном варианте, так как отсюда можно было без пробок доехать в аэропорт. Бывало, что Сергей опаздывал на самолёт, наверно, срабатывал эффект «и пусть весь мир подождёт», но к прибытию этого рейса он не хотел бы опоздать ни за что на свете. Он попросил счёт, залпом опрокинул в рот остатки посредственного кофе, небрежным жестом положил на стойку купюру и зашагал к лестнице на второй этаж. «Не верится, что я в отеле без лифта», думал он, отсчитывая ступеньку за ступенькой.

Сергей легонько постучал.

– Открыто! – прозвучал дребезжащий голос.

Сергей зашёл в номер, в кресле-качалке возле кровати отец с очками на глазах внимательно читал газету.

– Я не знал, папа, что за эти десять лет ты успел выучить английский.

– Я попросил доставить мне русскую газету. Её, кстати, выпускает русская диаспора Лондона на добровольно собранные средства.

– В век планшетов и интернета ты всё ещё читаешь бумажные газеты...

– Я не хочу зависеть от вещей, всё содержание которых может исчезнуть, стоит только случиться сбой в электричестве или перевороту в правительстве.

– Да, конечно папа... Я иду к себе в номер, найду за тобой завтра утром в девять, поставь, пожалуйста, будильник.

– Будильник?! Гхм! – голос отца стал резким и каркающим. – В ту минуту, как ты откроешь глаза в своей постели, мой мальчик, я уже буду гладко выбрит. Седой джентльмен гордо вздёрнул подбородок и с головой погрузился в чтение газеты, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Сергей бесшумно закрыл за собой дверь и скрылся в соседнем номере.

8

Сергей исподтишка поглядывал на отца, который шагал рядом по ослепительно чистым плитам пола в аэропорту Хитроу. На старом джентльмене был безупречно скроенный костюм из английской шерсти и классическое зимнее пальто. У Сергея закралось подозрение, что отец не привёз эти дорогие вещи с собой из Киева, а купил всё здесь по случаю. Отец шёл широким уверенным шагом, расправив обычно сутулую спину, сложив руки зади в замок. «Хотелось бы мне иметь его уверенность», – подумал Сергей, и неприятный липкий холодок пробежал у него по спине, он не представлял, как он встретит Яну, что ей скажет... – К чёрту эти мысли», – одёрнул себя Сергей и постарался не отставать от отца, который развил поистине реактивную скорость.

До прилёта самолёта Киев-Лондон оставалось двадцать пять минут. Рыжая девушка тщетно пыталась разглядеть сквозь облака живописные лондонские крыши, и, уж конечно, не видела подготовленную на земле засаду из двух мужчин, седого и тёмно-русого...

В зале прибытия людей было много. Есть какая-то магия в ожидании близких, которые вот-вот выйдут из автоматических ворот. Если в такси Сергей ещё сохранял спокойствие, то в этой пёстрой толпе начал чувствовать настоящую панику. Он украдкой взглянул на отца. Тот стоял, по-прежнему заложив руки за спину, и спокойно смотрел прямо перед собой. Прямо тихоокеанский лайнер у причала.

От беспокойных мыслей его отвлекла громкая арабская речь слева от него. Он невольно повернулся к источнику шума, который шёл от восточной пары. Мужчина отчаянно жестикулировал и громко кричал в лицо женщине, по всей видимости, жене, которая как будто старалась стать невидимой или спрятаться. Рядом с ними стояли два пацанёнка, лет пяти-шести, которые смотрели на них, растерянно хлопая ресницами. Мужчина стал ходить взад и вперёд, задевая руками других встречающих, его голос становился всё более угрожающим, люди вокруг стали оглядываться и шептаться. В момент, когда мужчина повернулся спиной к жене, она внезапно прервала молчание и что-то тихо сказала. Это возымело вонистину термоядерный эффект. Её муж резко развернулся, замолчав, его лицо было перекошено от ярости. Внезапным движением он одним прыжком подскочил к жене и наотмашь ударил её по лицу. Толпа встречающих изумлённо зашумела, кто-то крикнул: «Police! Call the police!».

Впоследствии Сергей плохо помнил, что произошло. В какой-то момент он обнаружил себя на полу, сцепившимся с этим арабом. Они катались по полу, Сергей пытался высвободить руки, но его противник словно обвил его собой, сдавливая всё сильнее. Пол и потолок сменяли друг друга с огромной скоростью. «Такой мелкий, а руки как железные...», – совершенно некстати подумал вдруг Сергей. Краем уха он слышал какой-то гул и в нём пронзительный женский крик на непонятном ему языке. Вдруг эту какофонию звуков прорезал резкий свист, чьи-то сильные руки оторвали его от сыпавшего проклятиями араба и мир снова принял свои привычные очертания.

Сергей тяжело дышал, оглядываясь по сторонам. Напротив него двое полицейских держали под руки араба, который, словно по мановению волшебной палочки успокоился и выглядел невиннее библейского агнца. Оглядевшись, Сергей увидел, что слева и справа от него тоже два человека в форме, аккуратно, но в то же время крепко, придерживают его за руки.

– Сэр, предъявите ваш паспорт, – обратился к нему один из полицейских и отпустил его левую руку.

– Отпустите меня, пожалуйста, этот мужчина ударил женщину. Может, она и его жена, но это не даёт ему право так себя вести, – на ломанном английском ответил ему Сергей.

– Сэр, паспорт.

– Он на меня напасть как зверь! Он меня бить! Видеть, у меня кровь! – воскликнул внезапно араб испуганным голосом. По его виску действительно стекала струйка крови.

Сергей стал неловко шарить левой рукой по карманам. Найдя, наконец, паспорт, он протянул его офицеру и продолжил:

– Сейчас приземляется самолет, на котором должен прилететь очень важный для меня человек...

Офицер молча листал паспорт. Отыскав страницу с британской визой и внимательно её осмотрев, он сложил паспорт и перевёл взгляд на Сергея.

– Сэр, вы совершили нападение на человека в общественном месте. Вы должны проехать с нами в участок.

– Но вы не понимаете... Сергей в панике оглянулся по сторонам, к ним направлялся его отец. Он, наверно, впервые в жизни выглядел растерянным. Он подошёл к Сергею и полицейским, хотел что-то сказать и остановился. К сожалению, все его годы жизни и весь его опыт не могли помочь в этот момент его природному красноречию, ведь седой джентльмен едва говорил по-английски. Он замер в какой-то неловкой позе, переводя взгляд с одного полицейского на другого, и Сергей испытал жгучий стыд за то, что заставил отца в этом участвовать. Но где-то в глубине души было смутное чувство, что если бы ситуация повторилась, он поступил бы так же...

Пульс постепенно приходил в норму, и дыхание становилось ровным. Он ощутил, как офицер тянет его за рукав. Его глаза встретились с глазами отца. Они оба понимали, что поправить всё здесь, не отходя от зоны прибытия, невозможно.

Сергей вдруг почувствовал, что очень устал. На волне задора он искал в Киеве людей, знающих дату и время рейса, обдумывал в сотый раз, что скажет Яне, спорил с таксистом, который поехал в Хитроу по пробкам. Почему он вообще полез в драку с этим агрессивным арабом? Может, просто это было проще, чем встретиться лицом к лицу с ней?

– Так куда идти? – спросил Сергей полицейского.

– Что здесь происходит? – вместо ответа повисло в тишине, которая внезапно воцарилась вокруг



живописной картины из двух иностранных хулиганов, четырёх полицейских и одного пожилого джентльмена в хорошем костюме.

Девушка в зоне прибытия возле автоматических ворот. Очень тонкая и высокая девушка с огромным чемоданом. Не сразу понятно, что её волосы цвета огня, они заплетены во французскую косу. Лицо девушки серьёзное и немного удивлённое. Она оставляет чемодан и направляется к полицейским.

Подойдя ближе, она повторяет вопрос по-английски, улыбаясь при этом самой любезной улыбкой из всех возможных. Один из офицеров представляется и говорит, что украинский гражданин нарушил общественное спокойствие, устроив драку. И этот эпизод усугубляется тем, что пострадавший имеет статус беженца. Всё это время Сергей смотрел куда-то в пол, не поднимая глаз.

– Сережа, расскажи теперь ты, что случилось. Только во всех подробностях. Кстати, что ты здесь делаешь? Ладно, это потом, рассказывай про драку.

– Я стоял здесь и ждал, когда прилетит твой самолёт. Эти мужчина и женщина стояли рядом, вместе со своими детьми и всё время ругались, в какой-то момент муж стал кричать на жену очень громко, а потом ударил её. Что-то щёлкнуло у меня в голове, я плохо помню, что произошло потом, очнувшись, когда нас уже разнимали полицейские.

Яна помедлила пару мгновений, выражение её глаз было абсолютно непроницаемо, было понятно, что её острый ум совершает в этот момент очень быстрые и важные операции. Она обернулась и медленно взглянула на араба, которого уже отпустили полицейские, потом стала оглядываться вокруг.

– Где жена этого человека? – спросила Яна снова по-английски полицейских. Один протянул руку указывающим жестом на скамейки чуть поодаль, но Яна ничего не видела за крупным мужчиной, закрывавшим обзор. Яна выглянула из-за его плеча и на скамейке увидела женщину восточной внешности в хиджабе. Она сидела между двумя мальчиками, держа их за плечи, и пристально следила за тем, что происходит.

– Офицер, вы можете дать мне пять минут? Пожалуйста, только пять минут и ни секундой больше. Человек, которого вы задержали – это не просто человек, это... очень важный для меня человек, – с лёгким усилием сказала Яна. Сергей изумлённо уставился на неё, но он чувствовал, что сейчас нужно помалкивать. Офицер, поморщившись, кивнул и посмотрел на часы. Яна обошла Сергея и направилась к арабской женщине.

– Ассалам алейкум, сестра! – обратилась по-арабски Яна к женщине, когда подошла поближе. Женщина, не сводившая глаз с мужа и стоящих возле него полицейских, медленно повернула голову к Яне и встала. Ей было лет тридцать, сухая и хрупкая, её голова доходила Яне до подбородка.

– Позволь с тобой поговорить. Полицейские дали мне пять минут, – всё так же по-арабски продолжила Яна. Сергей ошеломлённо уставился на них.

– Слушаю тебя, – голос женщины был тихим, какой бывает у людей, которым всё время приходится говорить не то, что они думают. Её большие печальные глаза с любопытством разглядывали странную девушку европейской внешности, которая спокойно говорила на её языке.

– Как тебя зовут?

– Мейсара.

– А меня Яна.

– А что означает твоё имя?

– Данная Богом.

– Хорошее имя. Много счастья тебе принесёт.

– Мейсара, я хочу тебя кое о чём попросить.

– Я знаю, о чём. Ты любишь того красивого молодого мужчину и не хочешь, чтобы его забрала полиция.

– Ты же знаешь, что он не виноват.

– Страдания получают не только виновные. Мактуб – так предначертано.

– Послушай, Мейсара, – Яна перевела взгляд на двух ребят, с любопытством наблюдающих за мамой и рыжеволосой девушкой. – У тебя два сына. А ты думала, что будет, если у тебя родится дочь? Она полюбит, выйдет замуж, и однажды её муж разозлится, неважно, по делу или просто так, и публично ударит её. Хотела бы ты, чтобы человека, который за неё заступится, посадили в тюрьму?

Лицо женщины стало суровым. Она посмотрела в сторону, словно в пустоту. Какое-то время они обе молчали. Яна взяла её за руку. Мейсара расправила плечи, словно приняла решение, и держа Яну за руку, подошла к мужу, который настороженно смотрел в их сторону, пытаясь понять, о чём разговор.

– Вахид, скажи полицейским, что это всё неприятная случайность.

– Ты что, будешь меня учить, женщина, что говорить?! – его лицо опять искажилось от гнева. Полицейские слегка развернулись, готовые в любой момент вмешаться, хоть и не понимали ни слова.

– Если тебя вызовут давать показания, то они могут узнать, что наши иммиграционные документы не настоящие.

На лице Вахида отразился испуг.

- Ты что говоришь, Мейсара! Вдруг кто-то услышит.
- Здесь никто не понимает арабский, кроме неё. – Женщина кивнула на Яну.
- И ты сказала это при ней?!
- Это не важно. Про документы полиция узнает сама.

На лице араба вздулись желваки, видно было, что он едва может совладать с яростью. Помедлив, он повернулся к полицейским и сказал на ломанном английском:

- Господа, у меня нет никаких претензий к этому человеку, – он кивнул на Сергея. Тот ничего не принимал и хранил молчание.
- Вы уверены, что не хотите давать против него показания?
- Уверен. Мы хотим найти моего дядю, который должен был сейчас прилететь и пойти домой, моя жена и дети устали.
- Хорошо, вы свободны.

Вахид сделал знак головой следовать за ним, и арабская семья скрылась из виду.

– Вы свободны тоже, хотя мне придётся выписать вам штраф за нарушение спокойствия в общественном месте, – офицер выписал квитанцию и отдал Сергею вместе с паспортом.

Толпа вокруг заметно поредела, встречающие уже разошлись вместе с теми, кого они ждали, а зеваки потеряли к ним интерес. Теперь они стояли втроем – Яна, Сергей и его отец. Жар адреналина в крови потихоньку гас, и в воздухе повисла неловкая пауза. Когда неприятности с полицией были позади, снова на передний план вышла причина, почему они все здесь оказались.

– Мне жаль эту женщину, – нарушила молчание Яна. Никто не заслуживает такой жизни. Сергей кивнул и подошёл совсем близко к ней. Теперь они могли чувствовать дыхание друг друга.

– Идиотская ситуация. Я летел сюда, надеясь, что буду выглядеть эдаким романтиком, и это даст мне пару очков в нашем разговоре. В итоге – это ты меня спасаешь от полиции, и я готов провалиться сквозь землю от стыда.

– Собственно, ты за женщину заступился. Разве это повод стыдиться?

– Да... Но не так я себе все это представлял... Я хотел не с полицией беседовать, а с тобой.

– Мы вроде бы уже поговорили? Там, на ступенях ресторана, где проходило собрание вашего джентльменского клуба.

– Я не всё сказал. Выслушай меня, пожалуйста. Ты же всё равно ничего не теряешь.

– Слушаю.

– Яна, я всего добился в жизни сам. Я пахал как проклятый со второго курса. От мальчика на побегушках дошёл до своего строительного бизнеса. Ни на один миг я не имел права расслабиться. Конкуренты только и ждали моей ошибки. Подсылали ко мне своих шестёрок выведывать план развития. Куда бы в Киеве я не пошёл, милые девушки модельной внешности «случайно» со мной знакомятся, а потом на экране телефона какой-нибудь красотки я вижу сообщение от подружки: «Ну что, он кланулся?». Я стал презирать женщин. Теперь я понимаю, как ошибался. Свет на Киеве и нашей тусовке клином не сошёлся. Я просто сам хотел видеть акул вокруг себя. В нашем клубе ребята так или иначе прошли через нечто подобное. Наш клуб – это мрак. Ты знаешь, я сейчас всё это говорю и понимаю, как это жалко и бессмысленно выглядит. Я зря приехал, ты заслуживаешь кого-то лучше меня, прости. Наверно, если бы я общался с моим отцом, то он бы мне давно открыл на всё глаза, но я не видел его десять лет. О Господи, я же вас не признаю! – Сергей хлопнул себя по лбу и обернулся, ища глазами отца, который деликатно отошёл в сторону, когда Сергей начал говорить. – Яна, это мой папа, Валентин Семенович.

– Очень приятно! – Яна протянула свою хрупкую ручку, и седой джентльмен галантно её поцеловал. – Очень рад. Не люблю совать нос не в своё дело, но я отец этого оболтуса и не могу сейчас оставаться в стороне. В нашей семье в своё время сложилась сложная ситуация. Моя жена ушла и оставила нас с Серёжей, не важно сейчас, по какой причине. Я сам воспитывал его. И, наверно, в каком-то смысле перегнул палку. Мне очень не хватало моей жены не только как супруги, но и как матери моего сына. Я думаю, что последние десять лет мой сын жил мне назло, как сирота при живых родителях. Если бы можно было всё вернуть, я бы никогда не довел ситуацию до такого, что моей жене захотелось бы бросить нас, а Серёже уйти из дома. И в течение этих десяти лет, что он прожил без меня, я смог бы смотреть на него, его работу, его любовь и взросление. Но этого не было. Я сам всё испортил в далёком 1993 году, когда ушла Ольга. Но я осознал это слишком поздно и теперь уже ничего не вернуть. Моя жизнь уже на закате, чтобы не говорили про «активное долголетие», кровь шестидесятилетнего старика не будет бежать по венам, гонимая сильным молодым сердцем, и уже слишком заметны морщины на моих щеках. Но вы с Серёжей молоды, и вы любите друг друга. Не перебивай, девочка, я видел, как тебя трясло, когда ты разговаривала с той арабской женщиной. Вы стоите сейчас здесь, и ничто не мешает вам быть вместе. Ни другие мужчины и женщины, ни время, ни расстояние. И если вы сейчас разойдётесь в разные стороны, то больших дураков не видел этот аэропорт.



Три пары обуви выстукивали по зеркальному полу аэропорта Хитроу: две пары мужских ботинок внушительного размера, а между ними изящные женские сапожки на каблучках.

– Ответь мне только на один вопрос. Нет, я, конечно, вне себя от радости, что всё так закончилось. Но, чёрт побери, как так получилось, что ты знаешь арабский?

Яна расхохоталась так, что на них стали оглядываться люди.

– Серёжка! Ну ты даёшь!

– Нет, правда, откуда?

– Не могу поверить, что ты не знаешь. У каждого лингвиста на факультете есть второй обязательный иностранный язык на выбор.

– И ты...

– И я выбрала арабский.

– Как по-арабски будет «любимая»?

– Хабиби.

– А «уродина»?

– Серёга, иди к чёрту!

Седой джентльмен отстал от парочки, пытаясь застегнуть своё кашемировое пальто. Почему-то ему это никак не удавалось, так что рослый шатен и тонкая рыжеволосая девушка ушли далеко вперёд. Тот, кто в этот момент видел пожилого господина, мог бы заметить весьма хитрую улыбку на его обычно суровом лице.

ВАСИЛИЙ КИСИЛЬ

ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ «АСКЕЗА АЛЬБЕРА КАМЮ НА ПЛАТО ВЕЛЛАВ»

ВЫНУЖДЕННЫЙ ИСХОД: ОРАН – «ПАНЕЛЬЕ»

Оран напоминал вычурно обрамлённую картину, содержание полотна которой не вызывало никакого интереса у Альбера Камю. Полной противоположностью для него был Алжир, где бедные рамы картины содержали живописное полотно: нежность матери, юношескую безмятежность, не затронутую болезнью радость тела, приветливые улыбки девушек.

Позади была недолгая жизнь в Париже. Затем, из-за оккупации столицы Франции, – Клермон-Ферран и Лион.

В Лионе он сочетался браком с Франсиной Фор и оттуда с женой вернулся в Оран.

Оказавшись под крышей чужой семьи, хотя и ставшей в связи с женитьбой близкой, Камю отнюдь не испытывал радости жизни. Чтобы растопить тоску, он писал письма своим бывшим возлюбленным в город Алжир. Подчас они навещали его здесь и только бередили душу. На этой почве иногда возникали размолвки с женой.

Частные уроки приносили мизерный доход, и положение Камю в семье его жены становилось невыносимым. В довершение всего начинала доминировать жаркая влажная погода, что для поражённых туберкулёзом лёгких было губительно. Местный доктор посоветовал уехать на время в континентальную Францию – в горную местность с сухим климатом. Как раз у Франсины начинались летние каникулы (она преподавала математику в школе), и можно было совместно провести время отдыха в тех краях. Благо на плато Веллав, в четырёх километрах от Шамбон-сюр-Линьона, мать мужа тети Франсины, Сара Эттли, содержала на заброшенной ферме пансионат «Панелье». Местные фермеры регулярно снабжали пансионат мясом, маслом, молоком, сыром, картошкой, что по тем военным временам было невероятной роскошью.

20 августа 1942 года Альбер Камю, волею судьбы оказавшись на плато Веллав, соприкоснулся с новыми символами: гербом вишистской Франции (две переплетенные буквы E и F – аббревиатура слов L'État Français (Французская Республика – вместо прежней Третьей Республики) и личным флагом генерала Анри Петена, где красовалась обоюдоострая секира, приходившая в движение от порывов ветра.

Хотя эта часть Франции формально придерживалась нейтралитета и не была оккупирована гитлеровцами, но немецкий *ordnung* проявлялся и здесь. Жизнь в таких условиях воспринималась крайне болезненно.

В октябре жена Камю вернулась на работу в Оран, а он решил ещё на некоторое время задержаться в «Панелье» – до окончания курса лечения.

8 ноября 1942 года войска США и Великобритании высадились в Северной Африке – в ответ Германия оккупировала остальную часть Франции. Камю оказался в западне: вернуться в Оран он уже не смог. (...)

ТОСКЛИВЫЕ ДНИ В «ПАНЕЛЬЕ»

Приближалась осень. Потянулись тоскливые дни. Одиночество и тягостное отделение от привычного мира воспринималось как аскеза. Тревога окутывала душу, хотя вокруг божественно пели птицы, сонно колыхалась высокая пожухлая трава, шелестели многокрасочные листья деревьев, вносящие хоть какое-то разнообразие в этот безликий пейзаж.

Здесьняя тишина сблизжала горестную землю и лазоревое небо, часто затянутое серыми тучами. Альбер Камю уже испытывал подобное состояние души, когда бродил в юные годы среди навеки застывших руин Джемилы и Типасы. Но там, сквозь нагромождение камней, просвечивались духовные напластования античного мира – нет-нет, да и попадались на глаза останки задумчивых ионических колонн или подёрнутые белесой поволокой глаза мифических существ. Происходило чудесное соприкосновение с утраченным раем гармонии и красоты. И было совершенно невозможно понять, почему души людей античного мира охватывал метафизический ужас перед неведомой судьбой, и отчего их не утешали даже



светлые предсказания мифического Тересия, побывавшего как в облике мужчины, так и женщины?

Греки сочиняли мифы: о Прометее, Сизифе и Асклепии, восставших против богов; о Немесиде – богине меры и справедливости, Афродите – богине любви. Когда страх перед богами ослаб, появились первые философы. Впрочем, не исключено, что именно мыслители способствовали исчезновению тревожных эмоций.

Ничего нет вечного на земле – от величественных храмов остались лишь молчаливые камни и изуродованные христианскими фанатиками статуи философов, горестно вззирающие на утраченный мир. Да и беспощадное время оставило на лицах мудрецов шрамы, искавшие их истинный лик.

Перед взором писателя ярко всплыл образ картины Дж. Кирико «Загадка оракула». Кирпичная стена. Справа от неё, за задёрнутой ширмой, возвышается только голова человеческой фигуры, напоминающая античную беломраморную статую. Возникает вопрос: «Почему вся фигура не замурована? Почему создатель оставил сверху ширмы возможность для созерцания какой-то ограниченной части мира, от которой человек отделен? Зато оракул, словно неведомый жрец, спокойно взирает на раскинувшийся у подножья горы город, на сливающееся с небом море. Не абсурд ли это – держать вопрошающего человека в неведении?».

Философское эссе Камю «Миф о Сизифе» было закончено и ожидало своей очереди в издательстве «Галлимар». В этом произведении Камю со всей страстью души описал земную участь человека, обречённого на постоянное ощущение абсурда.

Камю отчётливо понимал, что его труд о Сизифе выразил традицию, присущую ранним древнегреческим философам, писавшим свои сочинения под одним и тем же названием «О природе». Один из самых загадочных философов того времени, Гераклит, бесстрастно утверждал: «Природа любит скрываться». Да, она действительно не желает предстать нагой перед человеком – в силу своей стыдливости или нелюбви к нему.

В одиночестве осознавать абсурд своего положения в мире намного тяжелее, чем в толпе, да и одиночное сознание неестественно для человека. В каждом из нас теплится чувство сострадания как к себе, так и к ближнему.

Сизиф осознает, что толкает камень в одиночку и неизвестно, хватит ли у него силы воли, чтобы не слоиться на этом тяжком пути и не впасть в отчаяние от своей злосчастной судьбы. Несомненно, он облегчил бы свою судьбу, если бы и другие его собратья уяснили себе тяжесть своих камней. Но, к сожалению, многие из них не замечают своей печальной участи и предаются забавам. Как заставить их увидеть истинную сущность своего бытия? Наслать на них ещё какую-нибудь невзгоду – чуму, холеру? Размышления такого рода не покидали Камю.

Так исподволь вызревали замыслы новых произведений: романа «Чума», пьесы «Недоразумение» и философского эссе «Бунтующий человек». (...)

ЛЮБОВЬ-МГНОВЕНИЕ, ЛЮБОВЬ-МУЧЕНИЕ, ЛЮБОВЬ-ЗАБВЕНИЕ

В тревожную жизнь Камю внезапно ворвалась ещё одна ипостась земного и небесного бытия. Он вдруг написал письмо своей бывшей возлюбленной Бланш Бален, которая проживала тогда в тёплой и омрачённой войной Ницце.

Письмо её застало в те суровые дни, когда она с упоением читала «Миф о Сизифе» Камю, о чём делала записи в дневнике. Первая запись была такой: «Восхитительная, но трудная книга, великолепный текст». Конечно, такое произведение не было рассчитано на женский эмоциональный ум. Тем не менее судьба возлюбленного, автора книги, испытывающего тоску и нужду в заброшенном пансионе «Панель», заставляла её хоть чем-то помочь своему Другу (она писала это слово в дневнике с большой буквы), надеясь хотя бы порадовать его своим положительным отзывом о книге. Однако, по мере чтения, несмотря на мужественные усилия по преодолению трудностей текста, она всё больше смущалась: становилось заметно, что идея абсурда там доведена до крайних пределов. Уже с первых страниц шокировала фраза: «Есть лишь одна по-настоящему серьёзная философская проблема – проблема самоубийства». Однако текст затягивал внутрь себя всё глубже.

На память приходили алжирские беседы с Камю – уже тогда проблема самоубийства была их предметом. Бланш вспомнила, как в один из декабрьских дней 1937 года, в ясную алжирскую ночь, пронизанную лунным светом, она сказала Камю, что этот вопрос был темой её лицейской научной работы, когда она училась в Ханое, где нес военную службу её отец. В ответ Камю лихорадочно привёл пример Кириллова из «Бесов» Достоевского – этот персонаж действительно совершил самоубийство. Пример этот особенно врезался в память Бланш и долго «висел» в её сознании.

Она напряжённо вникала в философскую аргументацию, сопоставляла жизненные примеры, приведённые в книге. Поражал своей непосредственностью необычный симбиоз логики и страсти автора.

Закончив чтение, Бланш взялась за перо с намерением ответить на письмо друга. Она отметила, что

образы актёра, Дон Жуана и завоевателя не убедили её в их «абсурдности». Ведь «вечная повторяемость» их действий – следствие профессионального призвания. Поэтому их нужно рассматривать, вне всякого сомнения, как «людей страсти», а не как «абсурдных героев». И если их жизнь изначально могла не иметь смысла, то страсть придавала его. С момента своего появления страсть и любовь становятся «силами», устраняющими абсурд. Печально, писала Бланш, что автор отказался от такого пути разрешения проблемы абсурда и не принял во внимание, что повторяемость не является причиной абсурда, ибо его герои вместо одинокой абсурдной жизни выбирают много вариантов её – только и всего. Упомянутое вначале книги самоубийство, в том числе и «философское», то есть уход в туманную метафизику или религию, также не есть решение проблемы – оно лишь устраняет её, но не разрешает. Если следовать логике автора, то неизбежно приходишь к «естественному» безразлично, которое и демонстрирует в «Постороннем» один из героев этого романа, Мерсо. Можно согласиться с автором, продолжила Бланш, что надо отказаться от «убежищ»: утешения, религии, «разума», упорствующего в своей единственной «истине». Но нельзя принять отрицание всех ценностей. Нельзя игнорировать мужество, холодную решимость жить в безнадёжности. Сизиф, понимая бесплодность своих действий, не боится начинать всё сначала и поистине вызывает у нас восхищение.

Такой неординарный отзыв о своём философском эссе привёл Камю в замешательство: он не знал, как на него реагировать. Ни от кого из интеллектуалов, читавших это произведение, он не слышал ничего подобного: они либо уходили в свои туманные ассоциации или замечали только частности и за деревьями не видели леса. Даже его наставник Жан Гренье не внёс существенных коррективов в этот труд. Камю всегда магнетически тянуло к женщинам, он интуитивно чувствовал нестандартность их мышления – не случайно греческие философы окружали себя гетерами.

В алжирский период жизни Бланш была прекрасной собеседницей Камю – она писала стихи, чем очень его воодушевляла.

Он взял чистый лист бумаги и галантно, как истый француз, написал: «Ваше последнее письмо было очень милым и заставило думать о Вас». Затем подчеркнул, что абсурд он рассматривал только как исходный пункт и вовсе не был намерен создавать «систему абсурда». Он лишь хотел «освободить место для любви». Далее написал, что услышал поэтический напев своей возлюбленной, соединяющий видение «ничто» и «страсть к физическому миру», и что в её жизни видит борьбу этих двух инстинктов. Невзначай извещил, что в «Панелье» гостила костюмер его алжирского театра Мари Витон, и заключил своё послание словами: «Я хотел бы встретиться с Вами». Это предложение застало Бланш врасплох.

Переписка продолжилась. Бланш с восторгом занесла в дневник: «Я возродилась к жизни!». Теперь ей казалось, что все эти рассуждения Камю об абсурде, безразличии не поглотили его полностью – оставалась надежда на дальнейшее развитие и изменение его личности. Он же писал о возвышении «в духе и жизни» – что под этим подразумевалось, она не сразу поняла в то катастрофическое время. Тогда ещё не было на слуху слово «Сопротивление».

Камю обратился к ней с просьбой подыскать в Приморских Альпах врача, умеющего делать пневмоторакс – специальную процедуру по лечению туберкулёза. Бланш с энтузиазмом взялась за это дело.

В очередном письме она сообщила, что, возможно, ей удастся договориться в Торенке, расположенном примерно в 50 километрах северо-западнее Ниццы.

Состояние духа Бланш изменилось. Она запоем читала «О любви» Стендаля, роман Мопассана «Милый друг», «Дневник» Кэтрин Мэнсфилд и «Письма» Марии Башкирцевой.

Напоминание Камю о Гренье всколыхнуло её интерес к его философии, и она с восторгом написала Камю: «Если угодно, увлечение Абсолютом – это всё! Смертельное очарование, идущее от далёких пространств, от воображаемого мира – в иные времена было знание об Абсолюте и одержимость им».

Фраза Жана Гренье, которую она прочла, «Делай выбор – живи согласно своей природе» вначале воспламенила её, но затем привела к сомнению: но ведь это противоречит тому, что написал Камю о её любви к физическому миру. В действительности же, она предполагала, что в её жизни не будет необходимости осуществлять выбор, но случилось так, что «стремясь взять многое, я потеряла всё», – записала она в дневнике.

Камю сообщил Бланш, что решил остаться в «Панелье», попросил выслать ему недавнее её фото, привёл свои размышления о «великой книге» Гренье «Выбор» и завершил письмо не вполне ясной для Бланш мыслью: «Мы можем испытывать тоску по высшей жизни – одиночество это или безумие?».

Бланш была сконфужена этими словами друга, фото ему выслала и книгу «Выбор» Гренье купила.

Чтение этого произведения не принесло особого прозрения – автор видел только два вида выбора: или отречение, или безумие. Истоки мыслей Камю стали понятными.

В очередном письме Камю извещил о том, что пишет новый роман под заглавием «Чума» – разыгрывающиеся события происходят в Оране, который принёс ему идею «ада»; характеры персонажей списаны с людей, встреченных им в повседневной жизни. Но в сравнении с «Посторонним» в романе присутствует любовь, многозначительно отметил Камю.



Слова о том, что раньше он поступал слепо, а теперь готов начать всё сначала, озадачили Бланш – это касалось их личных отношений или его творчества?

Её друг жаловался, что «ветер гоняет снег, и край становится всё более пустынным и диким». Единственное, что утешает его, это работа над новой пьесой «Недоразумение» – «пишу целые сцены с большой радостью». Похвально отозвался о стихах Бланш: «Ваше творчество не анемично, оно в достаточной мере наполнено жизнью». Сегодня, писал он, надо отбросить все традиции и творить в «естественном ритме».

Бланш понимала, что любовь её друга вовсе не претендует на вечность – по его словам, это «чувство высокое, но проявляющееся только на человеческом уровне», и «не длится долго». Тем не менее Бланш оживили его слова: «Давайте создадим пространство для любви». При этом он не преминул упрекнуть, что она видит любовь только с точки зрения вечности, тогда как речь идёт об «обнажении момента и интенсивном проявлении невыразимого».

Бланш показалось, что в следующем письме Камю делает шаг назад: «Мне хотелось бы знать, кого Вы называете идеалистами? Вы всегда говорите об этом с некоторым пренебрежением, однако я часто чувствую себя ближе к ним, чем к Вам – и это тревожит меня». Бланш в растерянности открыла дневник и дрожащей рукой записала: «Я не понимаю его враждебности к чувству, страсти, энтузиазму, великодушию – ведь они идут рядом с истиной».

Дни напролёт она размышляла сама с собой: почему он так настаивает на различении между любовью земной и любовью абсолютной? Ей казалось, что любовь может продолжаться и после смерти – разве это не доказательство вечной любви?

Снова Камю жалуется, что устал от тех краев и испытывает чувство фатальной обречённости. Хочет видеть ликующее солнце – поэтому планирует посетить юг Франции, где он мог бы встретиться с Бланш. Он мечтает об Арле, Ле-Бо-де-Провансе. Особый восторг у него вызывает Сен-Реми-де Прованс – любимое местечко Ван Гога. Или Ницца, Сен-Максимин. Письмо заключает словами: «Однако я хотел быть уверен, что и Вы желаете этой встречи».

Спор Камю с Бланш о любви продолжается. В каждом письме поднимается вопрос о встрече, и каждый раз она откладывается.

Предложено новое место встречи: Валанс или Авиньон. Он просит Бланш написать о море, с которым давно разлучен.

Бланш желает этой встречи, но вместе с тем она внушает ей страх – после многих лет разлуки эта встреча может оказаться провальной – ведь раньше они были очень близки друг другу.

Она склонилась над чистой страницей дневника и отчаянно записала: «Прошлое не исчезает – оно придаёт вес настоящему и окружает его тонким ароматом» – затем решила трезво взвесить все «за» и «против».

В состоянии душевного надрыва разразилась стихами:

*Во мрачной душе и постылой земной тишине
Аж до самого донца,
Казалось, откуда: нашлось там оконце,
Куда пробиваются вспышки от солнца,
Что вызовут откликом вспышку во мне?
Всё тот же пейзаж, тот же вид
Деревьев и веток с большими плодами,
И врытыми в почву надёжно корнями,
Вот только в душе, как пурпурное пламя,
Щемлящее чувство горит.
Какой переливчатый блеск озарил,
Под стать бриллиантам далёкого моря,
Их фрукты. И смело с их горечью споря,
Навек отвергая унынье и горе,
Их сладостью жизни налил.
Но я с того леса пока не пробилась,
И солнца луча острей
Затуталось в дебрях и остановилось.
Но озеро яркое в душу вселилось
И плещется в центре её.*

(Перевод А. Скрябина)

Камю ответил: «Мне бы очень хотелось увидеть озеро яркое, излучающее свет в Вашем прекрасном стихотворении».

Бланш негаданно ощутила себя «абсурдным существом» в духе мировоззрения Камю, о чём ему и написала. Он без обиняков ей ответил, что действительно это так, но «к счастью, Вы воздвигаете храмы, Вы надеетесь на розы и гордо храните своё доверие».

После этого письма он пригласил Бланш в «Панелье», но она решительно отказалась. Тогда он указал другой город – Валанс – но это возможно только после его кратковременной поездки в Париж.

Бланш вспоминала: «Июньское утро. Железнодорожная станция Валанса. Мы узнаём друг друга. Осторожный поцелуй. Он произносит первые слова: “Вы не изменились!”. Я в ответ: “Вы тоже”. На мне серый костюм, большая шляпа. Он – тощий, одет в серо-зелёный костюм. У меня ощущение, что мы попали в заколдованный мир».

Они шли по улице, держась за руки, не замечая встречных немецких солдат, – что было явным признаком счастья.

Камю забронировал две комнаты в отеле. Оставив там вещи, они направились в ресторан. Им предложили смесь яблок, бобов и ещё чего-то, что было в скудном ресторанном меню в то военное время.

Камю обратился к Бланш: «Вспоминаете ли Вы иногда те дни и ночи, когда нам было весело, и всё казалось прекрасным вокруг нас?». Она ответила: «Да, тогда я была счастлива с Вами».

Гуляли по городу. В книжном магазине, купив для Бланш книжонку Кьеркегора с заглавием «In vino veritas» (первая часть книги «Стадии жизненного пути»), Камю произнес: «In vino veritas – здесь речь идёт не только о вине».

Через толщу времени вновь прорвалась глубокая страсть, любовь. Они ощутили радость быть вместе.

На второй день была прогулка в парке. Остановившись перед цветущими магнолиями, Бланш заметила: «Это – восточные цветы». «Как Вы оценили мой роман “Посторонний”?» – неожиданно спросил Камю. Бланш не замедлила с ответом: «Хотя я нехорошо и отозвалась об этой книге, но восхищена ею. Этот персонаж... понимаете, первое впечатление...».

Оставив парк, они восхищались рекой – широкой и могучей Роной.

Вечером был лучший ресторан города. На третий день они уехали в другой город – Вьен.

Поиски свободных номеров в гостиницах не увенчались успехом – все были забиты немецкими солдатами. В одном из отелей им дали адрес частной квартиры. Комнату им сдала высокая, худая и костлявая женщина, вся в чёрном.

Погодя заглянули в кафе, где пили суррогатный кофе. Камю с грустью воскликнул: «Видишь, дорогая, абсурд имеет свою цену!».

Вечером вернулись в сдавшую им комнату. Было ощущение, что они находились «вне мира, вне времени». Предстояла «волшебная ночь на заднем плане бытия», как потом запишет в свой дневник Бланш. Утром на восходе солнца покинули город – Бланш села на поезд, идущий до Сен-Рамбер-д'Альби. Почти одновременно произнесли: «До свидания!». Поезд тронулся.

По возвращении домой Бланш надолго завладело двойственное чувство: как радостное, так и мучительное. По мере бега дней ей всё больше казалось, что эта встреча была «выдумкой».

Однажды она записала в дневнике: «Мы не можем жить в этой дикой реальности, в чувственности без любви».

Ледяное одиночество подкрадывалось к её сердцу. Наконец решила написать письмо: «Извините, что приходится писать о вещах в какой-то мере ужасных для меня и для Вас. Я пишу о них потому, что так думаю, хотя и не в силах поверить в это! Я хотела бы узнать и ещё раз услышать тишайший голос, который вернёт мне возможность быть рядом с Вами, с Вами. Я хотела бы спросить Ваше сердце, есть ли в нём место для меня?».

В ответ Камю холодновато заметил, что не знает, какой тон подыскать для их взаимоотношений: преисполненный радости или сожаления? Как бы там ни было, в его душе теплится радость, и он не может забыть запах роз Валанса. Розы розами, думала Бланш, но хотелось бы знать – с каким чувством он расстался с ней.

«Нет, Бланш, люди для меня – не мёртвые объекты. Они лишь вечное искушение», – писал Камю. Бланш взорвалась и решительно ответила: «Это Ваша правда, но не моя».

Камю пытался сгладить противоречия: «Я Вас понимаю. Но Вы не хотите понять меня. Я хочу говорить с Вами только о моей верности Вам и высказывать свои суждения, к которым Вы всегда прислушивались».

Далее он пространно писал о людях, равных ему, которые подвигают его к радостям жизни, даже если в будущем этих радостей не ожидается; о Бланш, которая ему желанна, «но не та, которой она является, ибо всё начинается здесь и сейчас».

Мысли друга всегда впечатляли её своей ясностью и откровенностью, но на этот раз они были лишены прозрачности. Бланш чувствовала, что хотя их будущие отношения казались «тёмными и тревожными», тем не менее сохранялся шанс на новую встречу.

Её тронуло даже такое туманное выражение из его письма: «Я желаю, чтобы Вы оставили Вашу жизнь, которую Вы ведёте, и вернулись на путь, привычный для людей этого мира».



Камю мечтал о возвращении в Алжир. И Бланш была бы рада такому повороту событий. Она призналась себе, что приветствовала бы воссоединение Камю с его семьёй: «Это стало бы естественным завершением великой драмы, в которую мы были вовлечены». Однако закрадывалась в душу и другая мысль: в таком случае она теряла все шансы на новую встречу.

Неожиданно Камю предложил свидание в городке Фер, расположенном в 37 километрах севернее Сент-Этьена. Бланш позвонила ему и предложила свой вариант: Сент-Этьен. Но Камю только что вернулся оттуда и не хотел ещё раз туда возвращаться.

Однако обстоятельства сложились так, что они встретились в Сент-Этьене, который был не так очарователен, как Валанс. Он представлял собой большой промышленный город. Но сияющее июльское солнце и лазурное небо 1943 года навяло Бланш мысль о городе «голубом и золотом». Они без каких-либо проблем сняли комнату в отеле «Белая лошадь». Белизна номера напоминала больничную палату.

Они свободно гуляли по улицам, переполненным военными, машинами, танками. Иногда встречались знакомые Камю алжирцы. Он говорил Бланш, что здесь обрёл новых друзей. Оживлённо и с восторгом рассказывал об отце-доминиканце Раймоне Брюкберже – Бланш показало, что её друг обратился в новую религию, не требующую молитв. Камю также рассказывал о поэте Франсисе Понже, книгу которого «Голос вещей» рекомендовал почитать. Говорил о новом друге в Лионе – поэте Рене Лейно, участвовавшим в движении Сопротивления. Бланш напомнила Камю о совершаемых нацистами массовых арестах. Он заметил: «Это так. Именно поэтому мы должны бороться». Бланш заподозрила, что и сам Камю уже был вовлечён в движение Сопротивления. Вспомнили о Мальро, живущем с юной Жозеттой Клотти.

Бланш попросила Камю присесть на каменную скамью. Он удивился, но согласился. Она щёлкнула затвором фотоаппарата (это фото Камю с сигаретой во рту и смеющимися глазами – единственное фото периода 1943 года).

По мере продвижения по городу они везде наталкивались на немецких солдат, и невольно закрадывалось чувство тревоги.

На следующий день Камю посетил врача и явился в гостиничный номер словно помолодевшим. Эротические чувства окутали их. В голове Бланш мелькнула мысль: «Удовольствие – это вызов судьбе». Днём она читала Камю свои стихи, он – выдержки из своего романа «Чума».

Камю как-то отстранённо сказал, что его пребывание в «Панелье» скоро закончится: есть план получить работу в парижском издательстве «Галлимар». Неожиданно он проникновенно взглянул в глаза Бланш и предложил ей место секретаря в его издательском офисе. Эта идея показалась Бланш чистой химерой, и она искренне отказалась, мотивируя тем, что не имеет навыков в машинописи. Он не настаивал, но, видимо, был разочарован отказом.

Утром они уже были на станции и готовились сесть на разные поезда: Бланш – на Лион, Камю – на Шамбон-сюр-Линьон. Почти в один голос они произнесли: «До свидания!» и пообещали писать друг другу.

На станции в Лионе Бланш купила книгу Жозетты Клотти «Зелёное время» – Камю советовал её прочитать.

Из этой поездки Бланш сделала вывод: «Её друг пребывает в глубокой печали».

Камю прислал Бланш книгу Эльзы Триоле «Белая лошадь». «Не было ли это намёком на одноимённый отель в Сент-Этьене?» – подумала она.

Опечаленное состояние Камю она объяснила себе так: перед ним стоял выбор: вернуться в Алжир или уехать в Париж? Кроме того, всё его существо пребывало в состоянии противоречия: тело требовало движения, но не позволяла болезнь. За этим неизбежно следовал упадок духа, и Камю поднимал его писательством, которое вынуждало его к многочасовому сидению за письменным столом. Подсознательно он рвался к театральной деятельности, надеясь обрести там симбиоз духа и тела.

В первых числах августа Бланш получила от Камю письмо, которое подтвердило её раздумья: он писал, что «неразумно» проехал на велосипеде по пути к горному озеру пятьдесят километров и затем плывал в нём – холодное озеро располагалось на высоте 1200 метров над уровнем моря.

Бланш склонилась над дневником. Скупая слеза упала на страницу. Она ещё раз перечитала свою запись: «Бессилие любви – вот что я чувствую сейчас [...]. Наша любовь никогда не бывает простым подарком для нас, скорее она – дар, данный нам свыше. Это всегда только мы (я) и не более того. Мы не можем быть тем, кем нас желает видеть другой человек, и мы не можем дать ему что-то иное, кроме того, кем мы являемся. Но в конечном счёте этот дар может вызывать требование к другому. Такая любовь – богатство для того, кто её даёт; вот почему её надо принимать непритязательно. Любовь вызывает мучение, если мы не в силах подняться над ней, остановиться и решительно от неё отказаться. Он должен забыть нашу любовь. Чтобы не претендовать на другого, и не ограничивать его свободу. Забыть себя – это любовь. Ничего не требуй – давай только то, о чём тебя просят. Это самоотречение, покорность? Нет – это любовь смиренная, а не гордая».

Бланш переехала в городок департамента Дром, где прошло её детство до шестилетнего возраста.

16 сентября получила письмо от Камю из Сент-Максимиана. В обычной своей манере он писал, что нашёл там «свет в тиши монастыря». И намекал на возможный тайный отъезд в Алжир.

Бланш читала «In vino veritas» Кьеркегора, размышляла о нигилизме Ницше и Мальро.

Камю писал, что закончил работу над пьесой «Недоразумение» и собирается отправить её в издательство. Хвалил стихи Бланш. Одна фраза из письма Камю очаровала её: «Кто подарит мне монастырь без бога, дом тишины и забвения?». Она подумала: «Ведь это и моя собственная мечта» – и записала в дневник: «Мой Друг, оставаясь верным миру, иногда испытывает искушение отвернуться от него».

В ответном письме Бланш жаловалась своему другу на «метафизическую» тревогу, завладевшую ею.

20 октября 1943 года Камю известил, что получил работу в Париже. Он будет проездом в Лионе, где они могли бы встретиться на квартире у одного из его друзей: «Не думаю, что Ваше путешествие из Сен-Рамбера до Лиона – чрезвычайно сложное. Должно быть только желание». Но желания у Бланш не было. Она размышляла – ехать в Лион, зачем? Она больше не хотела страдать. Встреча не состоялась.

Бланш вернулась из Дрома в Ниццу. Город напомнил ей сцены из «Чумы» Камю.

Из Парижа она получила письмо от Камю, в котором он писал: «Жизнь – неразумна, это правда. Но, в конце концов, и мы – так же». Он приглашал её в Париж и надеялся, что ответ будет утвердительным.

7 января 1944 года Камю писал: «Я больше себе не принадлежу». Он жаловался на усталость – хотел вернуться на юг и провести там год в праздности.

Письма от Камю, преисполненные трагического оптимизма, стали приходить все реже. В одном из них он пригласил Бланш на премьеру своего спектакля «Недоразумение».

Письмо от 24 мая 1944 года было последним.

Бланш ещё раз перечитала «Бракосочетания» Камю и записала в дневник: «Истина – как вечность в мгновении. Вот почему сейчас, как и прежде, я не могу поверить в земную ценность времени или привыкнуть к ней».

Переписка возобновилась только в январе 1945 года. И до конца 1959 года Бланш получала от Камю письма и его книги с дарственной надписью. Как она отмечала в дневнике, эта переписка оживляла её душу и тело, придавала жизни смысл. В общей сложности она получила от Камю 89 писем.

Бланш считала, что любовные отношения с Камю были самым значимым событием в её жизни.

Прожила она долгую одинокую жизнь и ушла из мира с надеждой на вечную любовь.

«ЛИТМУЗЕЙ»

От редакции. В нынешнем номере «Южного Сияния» рубрика «ЛитМузей» приурочена к 140-летию со дня рождения Владимира Жаботинского.

МИХАИЛ ВАЙСКОПФ

ЗАМЫСЕЛ ИУДЫ об интертекстуальном слое в романе Владимира Жаботинского «Самсон Назорей»

Хотя *Самсон Назорей* и не относится к неоспоримым художественным удачам Жаботинского, роман этот поражает сложностью семантической конструкции и широтой своего историко-литературного фона. Например, когда Смадар просит Самсона одеть её в «платье из поцелуев», она явно выказывает знакомство с пьесой Метерлинка «Синяя птица», где именно такое платье носит олицетворённая Материнская Любовь. А тот заезжий египтянин, который с ужасом и восхищением рассказывает о последнем подвиге Самсона, сокрушившего филистимлянский храм, достаточно начитан в Пушкине, чтобы включить в своё повествование почти открытые реминисценции из «Пира во время чумы». Египтянин задаётся риторическим вопросом: «Почему так величава смерть, и ещё в большей степени – битва <...>? Почему так прекрасно землетрясение, разрушающее города, почему каждый из нас испытал бы при этом <...> высокое восхищение ума <...>?». Перед нами вариация на тему: «Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъярённом океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы. Всё, всё, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Незыблемы наслажденья – Бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог».

Как подтверждают новейшие исследования, в изобилии представлены у Жаботинского и различные еврейские, в том числе, талмудические мотивы. Их обсуждение выходит за рамки моей статьи, но на некоторых подробностях стоит задержаться. Можно допустить, что для других авторов его книга явилась не только одним из источников, но и своего рода передаточным звеном, прямо или косвенно связавшим их творчество с иудаистской традицией. Мне уже приходилось указывать на отголоски *Самсона* в романе Булгакова *Мастер и Маргарита*. Речь шла о жалобе Иешуа Га-Ноцри на исторического мистификатора и лжесвидетеля Левия Матфея (позднее Пётр Криксунов дополнил это наблюдение рядом других аналогий): «Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И всё из-за того, что он неверно записывал за мной. <...> Ходит, ходит он, с козлиным пергаментом, и непрерывно пищет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил».

У Жаботинского некий левит Махбонай неустанно записывает на козьей шкуре всю жизнь Самсона, «от чудесного рождения и до самого конца», – но делает это на свой, сказочный лад, всячески искажая реальные события. Именно в таком, мистифицированном виде биографии героя суждено будет стать библейской историей, закрепиться навеки: «То, что я записал, – говорит он Самсону, – то и останется правдой <...> То, что я записал, никогда не умрёт». Жаботинский упорно возвращается к этой теме библейского лжесвидетельства и деформированной истины, подчеркивая, что левит Махбонай действительно «записал это событие на козьей шкуре, но по-своему, и его рассказ, а не то, что было, останется в памяти поколений».

Между тем у самого Жаботинского мысль о подобной фиксации истории как невообразимом её искажении восходит, на мой взгляд, к одному из хасидских преданий, снискавших широкую популярность

как раз в первой половине 20-х гг. Привожу соответствующую историю в передаче М. Бубера, хотя автор *Самсона* мог знать её и по знаменитому жизнеописанию «Шивхей Бешп» либо по другим изложениям той же притчи:

Один ученик тайно записывал все поучения, которые он слышал от Бааль Шема. Однажды Бааль Шем увидел, что по его дому ходит демон с книгой в руках. Рабби спросил его: «Что это за книга у тебя?» – «Это книга, – отвечал демон, – которую ты сочинил». Так Бааль Шем узнал, что один из его учеников тайно записывает всё, что он говорит. Он собрал всех учеников и спросил: «Кто из вас записывает то, чему я вас учу?». Ученик, ведший записи, признался и отдал их учителю. Бааль Шем долго изучал их страницу за страницей, а потом сказал: «Во всём этом нет ни единого сказанного мной слова».

По сообщению Л.Ф. Кациса, найденные им газетно-журнальные публикации 1900-х гг., включённые ныне в Собрание сочинений Жаботинского, подтвердили мой давний вывод о пристальном внимании последнего к Мережковскому и Ницше. (Идеологическое влияние Ницше на Жаботинского обстоятельно, но в совершенно иной связи, рассматривали Давид Охана и Яков Голомб). Говоря о Мережковском, важно подчеркнуть симптоматичную деталь: само название известной поэмы Жаботинского о Шарлотте Корде – «Бедная Шарлотта», – опубликованной в конце 1904 года, подсказано тем же словосочетанием, несколькими месяцами ранее промелькнувшим у Мережковского в завершающем томе трилогии об Антихристе – романе *Пётр и Алексей*, точнее – в цитируемом там дневнике фрейлины Арнгейм. Правда, там это обозначение прикреплялось совсем к другому лицу – злосчастной супруге русского царевича Алексея: «Бедная Шарлотта! – Её высочество <...> сама просила, чтоб я её называла так, – бедная Шарлотта!».

Что касается *Самсона*, то, вдобавок к ранее отмеченному нами следу, оставленному первой книгой трилогии (*Отверженный*, или *Юлиан Отступник*), в нём так же ощутимо воздействие *Петра и Алексея* – романа не менее авторитетного и не менее популярного. Достаточно сказать, что одним из прототипов богатыря у Жаботинского послужил «царь-богатырь» Пётр Великий, причём не только как историческая фигура, но и как герой (или, скорее, антигерой) Мережковского. В самом деле, с первым русским императором романного Самсона сближает очень многое и в плане поведенческой стратегии, и тех задач, которым она подчинена. Подобно Петру, Самсон мечтает о пересоздании собственного народа (в *Петре и Алексее* царь говорит: «Я создам новую породу людей»). Оба отправляются инкогнито (соответственно, Пётр Михайлов и Тайш) и в чужом обличье в манящие их чужие края, чтоб обучаться тамошней мудрости и мастерству. Мережковский напоминает, что даже «на сургучной печати, которой скреплялись письма царя в Россию, красовался девиз: “Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую”».

У обоих конечная цель этого обучения, со временем перетекающего в военное противоборство, состоит в том, чтобы превзойти и одолеть наставников. После поражения, которое потерпели его соплеменники на состязаниях в Филистии, Самсон на свадебном пиру благодарит своих учителей-филистимлян за уроки, данные ему и его товарищам, и возглашает тост: «Когда-нибудь вы и ваши дети будете гордиться своими учениками». Тут, впрочем, различим и отголосок того пира, которым привечает побеждённых шведов, некогда разгромивших его под Нарвой, Пётр в пушкинской «Полтаве»: «И за учителей своих Заздравный кубок подымает».

Возвращаясь к Мережковскому, следует указать также на ту карнально-маскарадную аранжировку и общую атмосферу клоунады – довольно, впрочем, зловещей, – которая связывает обоих героев. Самсон поначалу подвизается у филистимлян в роли шута; вторая глава романа так и называется – «Шут». В ней герой изображает сходку зверей, избирающих себе царя, мастерски подражая голосам всех её участников: вола, пантеры, осла, верблюда, овец и т.д.; сцена заканчивается тем, что царём становится старый козёл. Самсон виртуозно имитирует также любой человеческий голос и пение любых птиц. Но его дар окажется позднее губительным для филистимлян. Подобно Петру, Самсон предаётся необузданному пьянству, но сам никогда не пьянеет, а лишь спивает сотрапезников, которые ушиваются «до обморока»; «Когда Тайш угощает, дело всегда кончается или сном вповалку, или дракой». Всё это шутовство и попойки героя – в сущности, способ его маскировки, разведывательный приём, призванный усыпить бдительность окружающих.

Но, согласно Мережковскому, той же разведывательной цели служат отечественные «всешутейшие соборь» и «ассамблеи» императора. Фрейлейн Арнгейм так изображает царскую пирушку: Пётр «слушал внимательно <...> Царь, который сам, сколько бы ни пил, никогда не пьянел, нарочно ссорит и дразнит своих приближённых; из пьяных перебранок часто узнает то, чего никогда иначе не узнал бы <...> Пир становится розыском»; «Смотришь и глазам не веришь: не различишь, где царь, где шут. Он окружил себя масками. И “царь-плотник” не есть ли тоже маска – “машкерад на голландский манир”?»; «Человеческие лица казались какими-то звериными мордами, и страшнее всех было лицо царя». Даром имитации Мережковский снабдил и его трагических двойников – царских шутов: составленный из них «особый хор <...> изображал пение птиц в лесу, от соловья до малиновки, разными свистами».

Обоих варварских вождей, и Петра, и Самсона, их иноземные любовницы обучают изящным манерам и благопристойности. Для Петра такими учительницами были немки, а для Самсона – филистимлянки Смадар, а впоследствии и её сестра Элиноар (Далила).

Всего любопытнее, пожалуй, что и ключевая символическая фраза Самсона, представляющая собой чуть видоизменённую цитату из его библейского жизнеописания, – «От свирепого осталось сладкое» – также предварялась *Петром и Алексеем*. О своей жестокой реформаторской политике царь говорит с оглядкой на ту же библейскую загадку (взятую в её традиционном, неточном переводе): «Не приняв горького, не видать и сладкого». Мережковскому эту ветхозаветную реминисценцию подсказала, несомненно, употребительнейшая аллегория петровского времени: императора-богатыря называли Самсоном и изображали таковым на памятных медалях.

Возможно, именно эта официальная аналогия стимулировала в народном сознании и мысль о Петре-Антихристе, центральную для романа Мережковского. Дело в том, что Самсон принадлежал к колену Дана, из которого, согласно общехристианской традиции, должен произойти Антихрист.

У Жаботинского, однако, Самсон предстаёт «козлом отпущения» или же отвергнутым и преданным казни вождём, – роль, роднящая его скорее с распятым Христом. (На христологические аллюзии в облике героя пронизательно указал Петр Криксунов). Применительно к автобиографической подоплёке романа стоит добавить, что следуя общеромантическому канону, подхваченному в XX веке, Жаботинский соотносил и себя самого с тем же образом одинокого, преданного учениками и распинаемого евангельского божества:

*И в ночь, когда, как брат мой древний,
взойду на крест под свист и гик,
семь раз, семь раз до клича певней
мой отречётся ученик...*

Тут мы соприкасаемся уже с религиозно-мифологической символикой, требующей отдельного рассмотрения и обращения снова к Ницше. Глубинной культурологической дихотомией *Самсона* является ницшеовское противопоставление аполлонически-солярного начала, представленного филистимлянами, и начала дионисийского, олицетворяемого Самсоном. Не случайно первый его боевой триумф связан с победой над пантерой, которая входила в свиту Диониса. Тут можно вспомнить, что и у Мережковского Пётр Первый, в согласии с историей, на своих алкогольно-шутовских радениях выставлен жрецом Бахуса, то есть того же Диониса, – мотив, который автор «Петра и Алексея», находившийся под сильным воздействием Ницше, увязывал с языческо-дионисийской природой царя-преобразователя.

У Жаботинского само обозначение Самсона, принятое у филистимлян, – «тайш», то есть козёл, – могло быть обусловлено аналогичной символикой: ведь козёл был животным Диониса. Но семантическое поле здесь намного шире. Этой символикой проникнут весь образ героя, называющего свою возлюбленную козой, подманивающего пантеру на козлёнка, а затем дарящего живого козлёнка своей бывшей жене.

Помимо того, имя Тайш сопряжено и с неким персональным тотемом Самсона. Правда, поклонение козлу приписывается в романе не ему, а племени йевусеев: своего бога они называют «Азazelь, или просто козёл, Ха-Тайш»; другое его обозначение – «козаногий, рогатый, косматый Сион – бог пустыни». При этом поклоняются они и столь же «косматому» богатырю Тайшу, которого тоже почитают богом, хотя он принадлежит к иному народу; да и сам он покровительствует этому племени. Расположение, которое выказывает йевусеям Самсон, внешне ничем не мотивировано – оно носит провиденциальный характер.

Напомню, что их обиталищем и была крепость Сион, т.е. Иерусалим. Позднее, при Давиде, а затем при Соломоне, построившем Первый Храм, город делается столицей еврейского царства: не принадлежа ни одному из колен Израилевых, он получил роль нейтрального объединяющего центра. После раскола государства на Израиль и Иудею Иерусалим до последних дней останется столицей и культовым средоточием Иудеи.

У Жаботинского храм Соломона, вопреки истории, приурочен к эпохе Судей. Согласно автору, святилище это было выстроено «великанами задолго до того, как пришли сюда ханаанские племена». Самсон – и сам великан, и сын великана (пусть и обрезанного). Иначе говоря, он прикреплен к той же прастихии языческого титанизма, с которой в романе соотнесён культ плодородия. Такие обертоны показательны для тогдашней сионистской культуры, ставившей первобытную языческую мощь выше талмудического спиритуализма. Когда Самсон изображает козла, ставшего царём, и когда завещает своему народу избрать себе царя, он символически предрекает будущую иудейскую государственность, которая зждется на мощи стихийных инстинктов (соединённых с филистимлянским идеалом порядка и строя). Разумеется, это не исключает и других, обшценно-комических трактовок образа козла, которые маскируют или травилируют его главное значение.

В итоге ницшевская дихотомия аполлонического и дионисийского принципов как бы преодолевается – хотя преодолевается сбивчиво и не вполне уверенно – в политических грёзах Самсона, вобравших в себя культ силы, цивилизации и плодородия.

Такому синкретическому идеалу противостоит и ещё одно религиозное начало – некий полуэкстатический культ Иеговы, трактовка которого тоже восходит к Ницше. Адепты этой альтернативной религии – «человек двенадцать всклокоченных оборванцев, почти голые и невероятно тощие <...> это была банда дервишей, так называемых “пророков” из пещерного скита». Они с гневом обличают соплеменников: «Тесно вам потому, что вы строите дома. Вы делите поля, виноградники и стада на моё и твоё. Где есть “моё” и “твое”, там всегда тесно. Мы делимся каждой пригоршней дикого меду: оттого у нас всегда вдоволь. Вам нужны купцы – они привозят вам тонкую ткань и побрякушки: мы одеты в козью шкуру – от издохшей, не от зарезанной козы. Оттого вам не хватает земли! Нам, детям Божьим, её достаточно. Иегова отдал нам все пещеры, а сам живёт везде и нигде <...> Оттого нам просторно: учитесь жить по-нашему, будет просторно и вам». И далее: «Я буду плясать от радости, если сгорят ваши дома; но Израиль, дом Божий, он должен стоять во веки веков, пока не войдут в него все народы. Внутри дома Иеговы да не будет ни копья, ни стрелы, ни пращи, ни крови».

Перед нами прозрачная, хотя и многослойная аллюзия. Изображение «дервишей» подразумевает здесь иудейских пророков, прежде всего Исайю («Тесно вам потому, что вы строите дома»; есть и другие цитаты), с его пафосом неистового миролюбия и слияния всех народов в Сионе. Другой адресат Жаботинского – эссеи, практиковавшие равенство и нестяжательство. Идее еврейской солидарности, проповедуемой пророками, повествователь безусловно симпатизирует, но всё остальное, кажется, решительно чуждо этому поклоннику индивидуализма, частной собственности и национальной обособленности.

Важнее всего, вероятно, то, что в обеих своих разновидностях – пророческой и эссеиской – пещерные «дервиши» подводят нас к теме христианства, на которую прозрачно намекает, среди прочего, само количество этих ревнителей: двенадцать (по числу апостолов). У Ницше в книге *Так говорил Заратустра* в пещерах обитают именно почитатели Инсуса, и если Жаботинский прибавляет, что учение его пророков было «далеко от жизни», то Заратустра громогласно называет христиан её врагами: «О, этот поддельный свет, этот спёртый воздух! <...> Кто же создал все эти пещеры и лестницы покаяния? <...> Как трупы, думали они жить; в чёрные одежды облекли они свой труп; и даже из их речей слышу я ещё зловоние склепа» (глава «О священниках», российской цензурой запрещённая, – но для полиглота Жаботинского этот запрет, конечно, препятствием быть не мог). В других книгах Ницше – например, в *Генеалогии морали* – ненавистный ему христианский пацифизм, дух равенства и смирения трактованы как исчадь пророческого иудаизма: в таком резко отрицательном ключе переосмысляет он христианскую экзегетику, рисующую подготовленный пророками переход от Ветхого к Новому завету. С христианством как историческим реваншем иудаизма, разгромленного римлянами, отождествляет Ницше и социализм, понятый им как расслабляющее, гибельное порождение «еврейского духа».

Между тем в отношении к этим христианско-социалистическим ценностям Жаботинский далёк от полной солидарности с Ницше. Колебания заметны у него в том месте романа, где с дервишами-пророками он соотносит их единомышленников, рехавитов, тоже не признающих собственности. Самсон их убеждений не разделяет, при том, что сами рехавиты, в отличие от пророков, ему симпатичны. Возможно, эти колебания – реликт социалистического прошлого Жаботинского, упорно изживаемого им в сюжетно-идеологической структуре книги.

Отголоски «Самсона» различимы в романе *Пятеро*. Неким перевоплощением Самсона – Тайша-козла – следует считать Самойло Козодоя, который сумел победить всех своих соперников. Какое начало он представляет? Его главная способность – неодолимая сила хотения, «мёртвая хватка», умение «ждать, не показывая, добиваться, не рассказывая, срываться, не моргая, ставить ставку молча, брать удачу молча, и молча – потерю, и так годами». Его лицо – это лицо «дикарём отёсанного фетиша, на которое глядя, начинают биться в пене виноватые женщины».

Но это те именно свойства, которые притягивают Самсона в иудеях и сулят им победу над филистимлянами. Человек колена Иуды, по словам Самсона в споре с филистимлянским начальником, обладает неукротимой волей и упорством. Он «муравьём прополз через рабство, через пустыню; муравьём прорыл ходы в сухой земле этого проклятого края; и всё, что встречал, обглодал и проглотил».

Откуда и к чему такое упорство? Что оно, собственно, означает? Об этом Самсону говорит человек из колена Иуды – богатырь Иорам: «Иуда хочет жить, потому что в душе его затаён замысел. Какой замысел – я не знаю; не дано человеку самому толковать свои сновидения, и не всегда помнит он поутру, что приснилось ему ночью. Но такой это замысел, какого нет в душе других колен».

В этом, возможно, полемический отклик на третью из серии статей о евреях, включённых Достоевским в *Дневник писателя*, – название её «Status in statu. Сорок веков бытия». Размышляя о поразительной, необъяснимой живучести еврейства, автор говорит о некоей идее, цементирующей этот народ и дающей ему волю к бытию:



Видите ли, чтобы существовать сорок веков на земле, то есть во весь почти исторический период человечества, да ещё в таком плотном и нерушимом единении; чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, — терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться, в прежней идее, хоть и в другом виде, опять создавать себе законы и почти веру, — нет, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергический народ не мог существовать без status in statu, который он сохранял всегда и везде, во время самых страшных, тысячелетних расcеяний и гонений своих <...> В чём вековечно-неизменная идея его и в чём суть этой идеи? <...> Не настали ещё все времена и эпохи, несмотря на протёкшие сорок веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени ещё впереди. Но не вникая в суть и в глубину предмета, можно изобразить хоть некоторые признаки этого status in statu.

Признаки эти, по Достоевскому, — национальная отчуждённость евреев, убеждённых в своей избранности, возносящей их над всеми другими народами. Кредо же еврейства таково:

Верь в победу над всем миром, верь, что всё покорится тебе <...> Верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что всё сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй — и ожидай, ожидай... Вот суть идеи этого status in statu.

В политическом же плане «идея» состоит в вере евреев в то, что Мессия соберёт их опять в Иерусалиме и подчинит им все народы, а до этого часа надо неустанно собирать и копить золото, чтобы унести его «в старый дом, в Палестину». Словом, несмотря на всю риторику величавости и таинственности, «идея» оказывается у Достоевского, в сущности, шокирующе примитивной и исчерпывается утверждением о коммерческой конспирации еврейства. В то же время ей приписано и религиозное значение: она внушена народу самим Иеговой. Последний, вопреки православной экзегетике, выступает тут не как первое лицо Троицы, т.е. Бог-Отец, а как архаичное племенное божество, опекающее свою косную и жестокую паству. Евреи верят, «что свой промыслитель, под именем прежнего, первоначального Иеговы, с своим идеалом и с своим обетом продолжает вести свой народ к цели твёрдой — это-то уже ясно».

Достоевский фактически актуализирует здесь маркионскую или, скорее, богомильскую ересь, которая решительно отвергала Ветхий Завет и демонизировала еврейского Бога. В период создания *Дневника* такие воззрения получили новое подкрепление со стороны немецкого антисемитизма и соответствующих протестантских тенденций. В то же время писатель обнаруживал некоторую уклончивость в трактовке данной темы, прибегнув к туманной и неуклюжей фразе насчёт какого-то «прежнего, первоначального Иеговы», который, видимо, отличается от Иеговы последующего, т.е. христианского Бога-Отца.

Жаботинский подхватывает проблематику Достоевского, освещая её, однако, совершенно иначе. Он возвращается к теме Иеговы как иудейского племенного бога, неуклонно ведущего свой народ к некоей цели. Но там, где Достоевский размышляет об «идее», автор *Самсона* говорит о «замысле» — замысле куда более величественном и таинственном, чем биржевая мифология *Дневника писателя*, ибо он не имеет никакого отношения к пресловутому еврейскому золоту. При этом и у Жаботинского (как у Достоевского) непостижимая цель, поставленная Иеговой, окрашена имморализмом, ибо требует преодоления любых нравственных запретов:

Пойдёт Иуда ради невятного замысла на раздор и с отцом, и с братом, и с Богом; и схитрит, и солжёт, и изменит <...> Ибо Иегова заключил с ним союз и дал ему замысел; и сегодня, через цепь поколений, Иуда хранит древнюю заповедь <...> Её мы не выдадим, но ради неё предадим всё остальное. Иуда должен жить, Самсон: жить — какой бы ни было ценою.

Ясно, во всяком случае, что в *Самсоне* эта заповедь, не совпадая с социалистической утопией других почитателей Иеговы — голых пещерных пророков, сходится с их проповедью о грядущем слиянии Израиля. «Замысел Иуды», подобно еврейской «идее» Достоевского, увязан у Жаботинского с национальным объединением вокруг Сиона. Применительно к актуальной политической ситуации, которая стимулировала создание романа, речь, конечно, шла о сионизме и о дискуссиях и раздорах, охвативших движение. Роман *Самсон Назорей* отразил эти искания.

АННА СТРЕМИНСКАЯ

ЖАБОТИНСКИЙ В ИТАЛИИ (Малоизвестный сонет Жаботинского)

Трудно переоценить решающую роль, которую сыграла Италия в духовном формировании Жаботинского. В то время, как Берн почти не оставил отпечатка на его личности, Рим оказал огромное и разностороннее влияние.

«Если есть у меня духовное отечество, – говорил Жаботинский – то это Италия, а не Россия»¹.

Он начал изучать итальянский за шесть месяцев до своего отъезда в Рим, и через полгода в Риме говорил по-итальянски очень хорошо.

В Риме он не нашёл никакой русской колонии. Италия в то время ещё не привлекала политических эмигрантов и еврейских студентов в значительных количествах; они предпочитали хорошо изученные страны – Швейцарию, Германию и Францию, отчасти потому, что русские колонии уже были там основаны.

В «Повести моих дней» Жаботинский писал: «Со дня прибытия в Италию я ассимилировался среди итальянской молодежи и жил её жизнью до самого отъезда.

Все свои позиции по вопросам нации, государства и общества я выработал под итальянским влиянием. В Италии научился я любить архитектуру, скульптуру и живопись, а также литургическое пение, над которым в те времена потешались приверженцы Вагнера, и теперь потешаются приверженцы Стравинского и Дебюсси»².

Писал Владимир также и о том, что учителями его в университете были Антонио Лабриола и Энрико Ферри, и именно от них он «заразился» верой в справедливость социалистического строя и сохранял эту веру до тех пор, пока она не разрушилась при взгляде на красный эксперимент в России. Также упоминал он и историю Гарибальди, сочинения Мадзини, поэзию Леопарди и Джустини, которые «обогатили и углубили мой практический снонизм и из инстинктивного чувства превратили его в мировоззрение»³.

В большинстве театров или музеев молодой человек чувствовал себя как дома, и не осталось ни одного заброшенного уголка в предместьях Богго или по ту сторону Тибра, который не был бы знаком ему, поскольку в каждом из этих предместий ему довелось снимать квартиру, так как через очень короткий промежуток времени хозяйки неизменно восставали против «непрерывной сутолоки в моей комнате, визитов, песен, звона бокалов, криков спора и перебранок и, наконец, всегда предлагали мне подыскать себе другое место, чтобы разбить там свой шатёр»⁴.

В вечном городе Жаботинский почти не имел русскоговорящих друзей.

«В то время не было московских студентов в Риме, целые месяцы, наконец, мне было тяжело вспомнить даже вкус русского слова на моём языке» («Диана») ⁵. Он был абсолютно обособлен. Рим и Италия были его предметом изучения, увлечением и любовью. И 18-летний юноша воспользовался сполна предоставленным случаем.

Итальянский период в жизни Жаботинского был наиболее важным также и для формирования его интеллектуального мира. В его автобиографических коротких рассказах («Диана», «Улица Монтебелло 48», «Бичетта», «Кафе студентов») он говорил очень тепло о своём обучении в Римском университете и как бы стараясь создать впечатление, что он был только бездельником, что он избегал какого-либо умственного усилия и редко читал серьёзные книги. Но всё это было намеренным самоуничтожением.

Он не добился получения диплома из Римского университета, и ему было тяжело придерживаться регулярного университетского курса обучения. Но Владимир глубоко наслаждался свободой после бюрократическо-чиновничьей России, и даже его небрежность оправдывалась очень либеральными университетскими правилами.

Нужно сказать, что сперва он утолил свою интеллектуальную жажду большим разнообразием предметов, которые были особенно интересны для него: социология, история, право, филология. Жаботинский самостоятельно разработал свой собственный курс обучения, выбирал профессоров, установил своё расписание. Также он в совершенстве изучил древний Рим, его институты и систему законов.⁶

Будет справедливым сказать, что в течение трёх лет жизни в Италии Жаботинский не только учился – он жил весело, и эта жизнь была счастливой и полнокровной. У него было множество друзей среди студентов университета, в литературных и артистических кругах, но также и среди простых людей – молодых и старых, лавочников, рабочих и даже нищих. В этом счастливом возрасте он имел большие способности завязывать знакомства и заводить друзей.

О фрагментах своей жизни в Риме Жаботинский повествовал на страницах «Одесских новостей»: «Не изобразил ли я ... коммуны, которую мы основали с компанией таких же сумасбродов, как я сам?»

Не рассказал ли я о деле Пренады, невесты моего друга Уго, которую мы выкупили из публичного дома и вывезли оттуда в торжественной процессии с мандолинами и факелами? А спор, который вспыхнул между мною и Уго..., и как я послал двух “секундантов”, чтобы вызвать его на дуэль от моего имени, и как уже было назначено утро для нашей встречи на вилле Борджиа... Или появление моё в официальном качестве свата, в чёрном фраке и жёлтых перчатках, когда я уселся перед синьорой Эмилией, прачкой и женой извозчика, и от имени своего товарища Гофридо просил “руки” её старшей дочери Дианы?»⁷.

Молодой, беззаботный, легко добывающий средства к существованию своей журналистской работой, не обременённый никаким политическим кредо или обязательствами, он наслаждался жизнью во всех её проявлениях. Владимир почти полностью забыл, что он был евреем, в равной степени, как и то, что он родился в России. Он выучил итальянский настолько, что говорил на нём безо всякого акцента, тем не менее позже он признался, что южные итальянцы принимали его за северянина и наоборот, и что он никогда не встретил ни одного человека, который принял бы его за итальянца из своей собственной провинции. Он достиг совершенства не только в общепринятом литературном языке, но и изучил разницу «между двенадцатью акцентами итальянского», как он описал это в своем очаровательном коротком рассказе «Диана»:

«Венецианцы пели в наивной и ласкающей манере и называли свой город “Венессия”.

Неаполитанцы проставывали свои гласные, как будто выражали стремительное и страстное желание. Сицилианцы надували губы и говорили тоном капризного ребенка»⁸.

Жаботинский был свободен от обычного предубеждения против сленгов: «Жаргоны всегда более интимные, более живые, чем официальные книжные идиомы; они вбирают в себя атмосферу жизни...»⁹.

В статье об украинском национальном поэте Шевченко он вспоминал о великом римском поэте Белли, который жил в сороковые годы девятнадцатого столетия: «Его сонеты на *romanesco* изумительны, его итальянские элегии водянисты, риторичны и позабыты. Тоже, очевидно крепко заупрямился человек: так заупрямился, что и сам Бог его покидал, как только он в своём творческом порыве переступал через какую-то едва заметную межу, – и Белли, по сю сторону межи большой поэт милостью Божией, по ту сторону внезапно превращался в жалкого писаку...»¹⁰.

Владимир помнил несколько итальянских диалектов до конца своей жизни.

Один из его друзей-писателей живо вспоминал обед с Жаботинским в большом итальянском ресторане на площади Сохо в Лондоне в 1932 году, где тот обращался к каждому из пяти официантов на соответствующем провинциальном диалекте, вызывая у них счастливое удивление. Они оставили всех остальных посетителей и собрались вокруг стола, восхищённо разинув рты при виде этого великолепного полиглота – иностранца, который делал что-то такое, что никакой из урожденных итальянцев не смог бы симитировать. И сам Жаботинский был счастлив как ребёнок, которому предоставили случай снова поиграть с любимой игрушкой.¹¹

По его собственному признанию, он также пробовал писать стихи на итальянском.

В 1900 году, после горького разочарования в любовной связи с одной очаровательной, но не очень содержательной итальянской девушкой, он провёл бессонную ночь – «ужаснейшую ночь в моей жизни!» и, в конце концов, сел за свой письменный стол и написал сонет:

*E` lungi omai quel giorno. Di zaffiro
pareva il mar che voi chiamate Nero.
La zingara dagli occhi di vampiro
chiese: «Dammi la man – ti svelo il vero.»*

*Disse: “Tua madre e` morta. – In un ritiro
di calma e pace svolgerai intero
il filo della vita. – Hai nome Piero. –
Darai a donna indegna il tuo sospiro.”*

*Disse e fuggi. Molti anni poi fuggiro:
mamma e` sorretta ancor dal sangue fiero
della Tribu; il mio nome e` Vladimiro;*

*fra tempeste serpeggia il mio sentiero...
Pur ella non menti: folle, deliro,
per una indegna donna io mi dispero.*¹²



*Давно ми́нул тот день. Чистым сапфиром
сияло море, которое вы называете Чёрным.
Цыганка юная с глазами вампира
«всю правду» мне рассказала проворно.*

*Сказала: «Мать твоя умерла. И в месте затишья,
покоя и мира ты ляжешь на одр,
размотав всю нить твоей жизни. Тебя зовут Пётр.
Женщине подлой подаришь ты вздох излишний».*

*Сказала и убежала. Минули года незримо:
мама ещё жива гордой кровью, как жив и бодр
народ наш. Имя моё – Владимир.*

*Тропинка моя идет сквозь грозные бури...
Но цыганка не солгала: любовью томимый,
из-за женщины подлой я гибну в бредовом сумбуре.*

(Пер. А.С.)

Жаботинский выдал секрет, что впоследствии он послал сонет нескольким редакторам, которые никогда не напечатали его; это, однако, не уничтожило его «собственного восхищения маленьким шедевром». Беспристрастный читатель мог бы, вероятно, быть склонным к тому, чтобы согласиться с редакторами скорее, чем с юным автором относительно поэтической ценности сонета, который скорее незрел как по форме, так и по содержанию (Джозеф Шехтман)¹³. Тем не менее, он является свидетельством мастерского владения языком.

Владимир вернулся в Россию парохом по маршруту Венеция-Константинополь-Одесса в июле 1901 года. Этот отъезд ознаменовал конец итальянского периода, одного из наиболее важных в личном становлении Жаботинского.

Его роман с Римом был подобен любовному роману: если бы он был продолжен, внутренние конфликты, недоразумения и разочарования могли бы свести его на нет и уничтожить всё очарование. Тем не менее, он вовремя уехал от объекта своего обожания, и на расстоянии Рим остался в его памяти таким прекрасным, блестящим и великолепным, каким он увидел его в своём юношеском восторге. В Риме не было случая испытать разочарование. Для Жаботинского Италия навсегда осталась жизненным символом всего великого и замечательного в его собственной жизни – «духовным отечеством, если я когда-либо его имел». Италия сохраняла глубокое и продолжительное влияние на интеллектуальное и духовное развитие Владимира Жаботинского.

Примечания:

¹ Жаботинский В.Е. Повесть моих дней. – Израиль: Библиотека-Алия, 1989 – С. 24.

² Там же. – С. 24-25.

³ Там же. – С. 25.

⁴ Там же. – С. 25.

⁵ Цит. по: Joseph B. Schechtman. Rebel and Statesman. – New York: Thomas Yoseloff – С. 49.

⁶ Там же. – С. 50.

⁷ Жаботинский В.Е. Повесть моих дней. – Израиль: Библиотека-Алия, 1989 – С. 31.

⁸ Цит. по: Joseph B. Schechtman. Rebel and Statesman. – New York: Thomas Yoseloff, 1989 – С. 59.

⁹ Там же. – С. 59.

¹⁰ Жаботинский В.Е. «Урок юбилея Шевченко». Чуковский и Жаботинский. Сост. Евг. Иванова. – Москва-Иерусалим, 2005. – С. 222.

¹¹ Joseph B. Schechtman. Rebel and Statesman. – New York: Thomas Yoseloff, 1989 – С. 60.

¹² Там же. – С. 60.

¹³ Там же. – С. 62.

*Анна Стрелинская – ведущий научный сотрудник
Одесского литературного музея*

ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ**АКАЦИЯ**
рассказ

Ещё один май кончился, и опять отцвела акация. Кажется, ничто так не характерно для Одессы, ничто так её не напоминает вдали, как запах акации. Даже море. Во-первых, море на море не похоже: под Петербургом море бледное, подлинное, «малосоленное», как где-то кто-то выразился, и напомнить наше море оно может только по контрасту; а где-нибудь в Мессине или у берегов Крита море опять-таки другое, гораздо лучше нашего, и, глядя на ту роскошную синеву, трудно перенестись мыслью на Ланжерон. Акация же, где бы ни пахла, пахнет одинаково. Во-вторых – убеждены ли мы, что всякий одессит обязательно знает море? Мой знакомый учитель в одной школе на Молдаванке опросил как-то свой класс, и оказалось, что четыре малыша, лет по семи-деяти, никогда не видали море. В этом нет ничего невероятного. Я знал в Риме людей, там родившихся и выросших, которые никогда за всю жизнь не были в соборе св. Петра.

Вообще человек далеко не так любопытнее, не так жаден до впечатлений, как это считается. Но нет такого жителя в Одессе, который не знал бы запаха акаций, если только есть у него нос и в носу запах обоняния.

Мне лично запах акации напоминает страшно много. Первое воспоминание восходит ещё к дням глупого детства. Чудесное майское утро, акация пахнет, а я бегу в прогимназию узнать – как мы тогда выражались на милом тамошнем наречии – «или я принят в подготовительный». Я очень волнуюсь. Во-первых, мне с вечера выстирали парусиновый костюм, а он за ночь недостаточно просох, поэтому мама велела мне идти в гимназию по солнечной стороне; я иду, и от моих подмышек и штанишек подымается пар, ерго, я сохну, но всё-таки страшно: вдруг там учителя заметят, что я вожкий, и Бог знает что подумают? Это во-первых. А во-вторых, я уже раз пять экзаменовался и в первые классы, и в подготовительные, и в гимназию, и в реальное, и в погребальщички (это значит: в коммерческое, ибо тогда коммерсанты носили чёрную форму) – и всё проваливался, и мне уже надоело проваливаться. И вот я пришёл. В классы ещё не пускают, публика толпится на дворе. Я помещаюсь на солнечной стороне, подымаю руки на голову, чтобы под мышками лучше просыхало, и веду пока деловой разговор с соседом. Он уже матерый гимназист: второкурсник из того самого подготовительного класса. Оба мы – видные, хорошо известные в своем кругу коллекционеры: собираем «кардонки», т.е. верхние крышечки от папиросных коробочек. Оба люди опытные, с большим знанием биржи, но столкнуться трудно. За одну Одалиску Месаксуди он требует четыре бр. Поповых. По-моему, это живодёрство; кроме того, я ему указываю, что одалиска неумытая, на декольте у неё размазанная сажа: ясное дело, подобрал на улице. Он утверждает, что украл у брата студента: новёхонькая; папиросы он высыпал, а коробочку украл; и совсем это не сажа, а тени, сделанные художником именно там, где полагается по анатомии. Он, конечно, не говорит, «анатомия» – он выражается гораздо определённое, как прилично матёрому гимназисту, и для убедительности божится: «Накарай меня Бог!». Я ему отвечаю на том же языке:

– Откогда (что значит: «с тех пор как») я собираю кардонки, не видал такого кадета.

– Сам кадет! – отвечает он. («Кадет» означало тогда плута).

– А ты – гобелка, – отвечаю я. (А что значит это ругательство, и по сей день не знаю).

В это время нас зовут наверх. Там оказывается, что и я, наконец, принят. Я в восторге. Бросаюсь со всех ног – обрадовать домашних. Но прежде разыскиваю своего давнишнего соседа. Разыскиваю довольно долго. Он тут свой человек, знает все углы и закоулки, и я слышал только что его фамилию в списке получивших две передержки. Оказывается, он «сховался» и курит, выпросив бычка у коллеги-второкурсника, только из третьего класса.

– Чёрт с тобою, говорю я, – на тебе всё, что хотишь, и давай сюда твоё сметьё.

Он берёт у меня четырёх братьев, даёт мне одалиску, пускает мне дым в глаза и назидательно говорит:

– Скажи мерси, блохой закуси и больше не проси.

Тут я улыбаюсь до ушей и объявляю:

– А меня приняли!

Он смотрит на меня презрительно:

– Нашёл чему радоваться. Дурак.

Но я едва бормочу сквозь зубы установленную формулу ответа: «Дурак? Твоё имя так; моё прозвище, а твоё родное». Мне не до него. Я мчусь домой в дикой радости, уже не разбирая солнечной и теневой стороны, а акация пахнет, пахнет во всю глотку.

Это воспоминание – из глупого детства. По мере того как я умел и начинал понимать, сколь был горько прав мой скептический контрагент насчет того, что нечему радоваться, – по мере того и мои вос-

поминания о запахе акации начинают приобретать противоположный характер. Как только запахнет акацией, меня уже тянет не в храм науки, а из храма. Нас ещё не распустили, и даже я знаю наверное, что учитель тако-то такойтович хочет меня сегодня врасплох вызвать на четвертную отметку. Нашёл дурня! Я ещё с вечера подговорил товарища. Мы встретимся на Старопортофранковской. Я аккуратно складываю книжки и даже – чтобы уж быть совершенно en règle – заранее изготавляю записку: «Сын мой не явился такого-то мая по болезни» и виртуозно подписываюсь маминим росчерком. Ранец я оставляю у знакомого табачного лавочника и разыскиваю приятеля. Он уже, оказывается, подобрал на улице две «пересядки». Мы садимся на конку и едем к Ланжерону, словно князья какие-нибудь. Акация пахнет. Вы когда-нибудь ловили руками ящериц? Сбивали пряжкой пояса жестокую красную головку с колючего «турка»? Сомневаюсь даже, знаете ли вы, что это за цветок – «турка». И по массивам вы, должно быть, не лазили, и крабов не ловили. А мы ловили. (А мы «да» ловили, сказал бы я в то время). Ловить крабов на массивах – дело тонкое. Для этого надо знать психологию краба. В психологии краба есть два элемента: во-первых, он вспыльчив, во-вторых, глуп. Надо навязать плоский камешек на верёвочку и, завидя в глубине под массивом отдыхающего краба, спустить верёвочку и стукнуть его камешком плашмя по спине. Тут и начинает работать психология. Так как он вспыльчив, то сейчас же обернётся и изо всей силы защемит клешнями ваш камешек. А так как он глуп, то будет цепляться за камешек, покуда вы его тащите вон из воды.

Дома вы сказали, что из гимназии пойдёте к товарищу списать письменный ответ по алгебре, так что вернуться можно под вечер. Но нельзя вернуться домой с дюжиной крабов в носовом платке: и на алгебру непохоже, и в хозяйстве неудобно. Следовательно, крабов надо пристроить. Это, опять, не для простецов дело: нужна фантазия и техника. Вот, у дверей бакалейной лавочки, стоят два открытых бочонка: один с солёными огурцами, другой с чёрной маслиной. От времени до времени выходит лавочник с покупателем, запускает руку в бочку, и вытаскивает, что требуется; если покупатель брезгливый, лавочник не обижается: пожалуйста, выгребайте сами. Товарищ мой задерживает хозяина внутри, торгуясь на три копейки башмалы (как это сказать по-русски, но так же кратко?), а я тем временем колонизирую крабов: парочку в огуречный рассол, парочку под верхний слой маслин. Авось не задохнутся до ближайшего покупателя. Подальше стоит степенного вида господин, видно, ждёт кого-то, поглядывая на окно второго этажа, а сам опирается на зонтик. Степанный господин, а неряха: не скрутил зонтика, чёрная ленточка с пуговичкой повисла зря, и фалды между проволочными ребрами пригласительно зияют. Туда мы и пристраиваем ещё одного краба. Ещё одного кладём вверх животиком на сиденье дрожек: дрожки стоят у парадного входа, сейчас выйдет седок – даст Бог, это будет дама в лёгком майском платье, подходящем для сезона акации.

Всё сильнее пахнет акация по мере того, как сиреневет сумерки, в домах позажигали лампы, с улицы видно, что кто делает в нижнем этаже. Вот сидит, через дорогу, девица у пианино; окно раскрыто, и исполняет она полонез Опинского. Мой товарищ останавливается, и я вижу ясно ореол внезапного вдохновения под его козырьком. Осенило! Улица пуста. Он тщательно выбирает краба, тщательно захватывает его тремя пальцами так, чтобы и держать его горизонтально, и под клешню не попасть. Он изгибается – так как надо, если хочешь пустить плоский камень по морской ряби, чтобы он семь раз подпрыгнул рикошетом. Размахнулся – я замираю – и краб, перелетев через тротуар, улицу, ещё тротуар, окно и полкомнаты, плашмя шлепается на третью октаву слева и даёт смелый аккорд, сверхвагнеровский аккорд из четырёх последовательных нот, не считая двух дизезов. А акация пахнет, как скаженная.

Потом... потом наступает такое время, когда одного запаха акации недостаточно, а должна ещё непременно светить луна. Как зовут барышню, это, конечно, секрет, таких вещей не рассказывают, но у неё длинная коса и славные глазки, сто милостивых ужимок и лёгкий, добрый, уступчивый характер: если с ней хорошенько подружиться и не делать грубостей, то и она не станет особенно воевать за свою неприкосновенность. Она вообще не интересуется мелочами. Как поэт сказал: «ты не спрашивай, не распытай, как люблю тебя, и за что люблю, и надолго ли». Она и сама не отрицает, что вы в её шестнадцатилетней биографии не первый, и от вас не спросит никакой присяги и не потребует никаких лишних церемоний. Угостить её можно мороженым или просто семечками, а вместо поднесения пышных букетов надо просто хорошенько подпрыгнуть на ходу и сорвать большую кисть акации. Тогда она вам позволит собственными руками приколоть эту пахучую кисть к её тоненькой блузке. А дальше вы уже сами должны понять и найтись.

Каждый год отцветает акация, и что-то умирает. Вероятно, умирает только наша молодость. Но почему-то нам кажется, что на белом свете постепенно убывает молодость вообще, нет уже той серебристой беззаботности у поколений, занявших теперь наше недавнее место на пороге жизни, город стал скучный и мрачный, и надежда померкла над землёю. Только пахнет акация, как пахла всегда, и напоминает невозвратимое.

«ФОНОГРАФ»

От редакции. 8 февраля в возрасте 47 лет ушёл из земной жизни один из лучших поэтов современности, культуртрежер, основатель множества культурных проектов, с 2013 года член Южноурасского Союза Писателей и региональный представитель руководства ЮРСП в России, член общественного совета «Южного Сияния», наш друг и верный соратник. Для нас и для всей русской литературы это невосполнимая потеря. Он был безразличен к истинному искусству и по зову сердца чем мог помогал талантам. Время его поэзии ещё не пришло, но оно обязательно настанет.

В интервью, опубликованном в № 2 «ЮС» за 2015 год, он сказал: «Все мы – инструментарий Б-га для совершенствования мира; иногда мне кажется, что мы это Его попытка всмотреться / осознать / в себя, то есть, я так понимаю, что мир такой, каким мы его привыкли видеть – это снег на экране, бесперывное мерцание, что не даёт нам увидеть мир таким, какой он есть, мир за пределами космоса. И вот важнейшее для меня в поэзии (чужой и своей) – это возможность замедлить мерцание, и увидеть подлинную реальность – насчёт которой я почему-то оптимистичен. Если даже тень подлинной реальности прекрасна и конструктивна, то что можно сказать об оригинале. Вот в этом взгляде вероятно и есть предназначение нашего ремесла – только я бы не стал ограничиваться землёй, а говорил бы о бытии как таковом».

В этом номере мы публикуем подборку стихотворений Александра Петрушкина, написанных в 2019 году, и рецензию на его книгу «Стихотворения» (2019).

*Спасибо тебе, человек-колос, за всё, что ты сделал для русской литературы.
Спасибо, Саша, за твою гениальную поэзию, опередившую время.*

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН

ВОЗДУХА БЕЛАЯ ГЛЫБА

ЭХО

в начале – оно
затем – мы

каждый хлебная крошка
чтобы другие могли вернуться

Александр Александрович Петрушкин (6.09.1972 – 8.02.2020) – русский поэт, прозаик, драматург, литературный критик. Родился в г. Озёрск Челябинской обл. С 2006 г. жил в г. Кыштым Челябинской обл. Публиковался в журналах «Аврора», «Волга», «День и ночь», «Дети Ра», «Знамя», «Крепатик», «Нева», «Урал», «Южное Сияние» и др. Автор сборников стихов «(В)водный ангел» (2005), «Анатомия» (2006), «Я полагаю, что молчанья нет» (2007), «Пойми, никто не виноват» (2010), «Маргиналии» (2011), «Летающий пёс» (2012), «Геометрия побега» (2014), «Подробности» (2015) и др. Главный редактор литературного журнала «Новая реальность» и литературного альманаха «Вещество». Создатель и куратор Евразийского журнального портала «Мегалит» (promegalit.ru).



СПИСОК

[...] бог [с малой] Бог [большой], меж ваших трещин
стоящий человек [как рёбра эха]
смывает оспы соты [удвоясь в Иова]
на берегах неназванного моря, как шум, стоит
меж чайками камней,
чтоб избежать рифмовки [прочитай: Шеола]
и голосов разборчивых теперь,

бог [с малой] им [как тени] был расчерчен
на [вынутой из Господа] волне.
И человек [увиденного список]
[как жест из смерти] вычтен и исчислен,
и удлинён до мокрой фотовспышки,
где улыбается [как подпись к ...] темноте.

Объект скользит, как дерево деревьев,
внутри дыхания будущих детей –
то в чешуе воды, как зверь, померкнет
то лёд утянет сквозь своё окно
на доньшко и скрипнут его двери
сквозь вёсла, где вода и свет одно.
Так говорит душа наполовину
раскручивая круг земли в зерно,
припоминает речь свою так рыба
и к берегу, как тишину, несёт.

Реки Вавилона двигаются вовнутрь,
ссадины струй своих держат в подобье рук –
в сучьях синееющих пальцев [считай: фаланг
дерева между речью]. Вокруг – леса
песочные выгорают – сияют пророком в львах,
стволы соляные горят у воды в семи головах:

В чреве воды крутится, как мельницы жернова,
того, кто вернётся первым, огненная булава –
младенцев на солнце вынет, чтобы их иссушить
или язык свой вырвет, чтобы из тьмы говорить:
медленны эти реки, ссадины, львы, столбы –
опустошённый речью в красной глине стоит.

Точка света на свете. Ормузд несёт в левой руке головы Ахримана.
У одной из них язык вцепляется в вещь сквозь имя,
рядом с другой воздух искривляется, как закон, дуга или рама,
третья – неважно что – но говорит красиво.
Ормузд вытирает руки от света. Сделав это,
он похож на выстрел, что вынут был из колчана, но не стал полётом.
Ахриман с тыловой его левой, торопясь с ответом,
падает в вещьность отвернутой, порезанной головней.



В голове его, как отмычки, звенит пустыня –
чайки садятся на лоб, расплетают место в огонь или в дыру и звёзды,
выдирая язык и голос до половины времени или корня.
Ормузд становится точкой на точке, а остальное – поздно.

Дева смотрит [и видит],
как в дом её катится шар –
на замедленной плёнке своей
он небесный несёт пожар,
он рукою неспешной
разомкнул, словно свет, засов,
слышит дева треск из поленьев львиных шагов.

Дева помнит [и видит],
что он обещал войти
в дом, как большой дом,
говорить открывает рот,
извлекает язык свой синичий
и вновь молчит
от того, что опять немота разорвала рот.

Дева слышит [и видит]
шар, что за ней из проёмов следит
тело ей собирает из праха
который ей дал, как гнездо
для округлой как циркуль души,
и потом раскрутил
в беглый свой снегопад винтом.

Дева видит [и видит]
как в углах света столп горит,
изымая из пепла, молчания и слепоты,
рассекает шар, или это звезда растёт,
и святая святых распускает в свои следы.

Ива это почти река.
Сужается и течёт,
в письмах запутавшись, как в корнях
латиницы неживой

На обороте её – вода
речи чудной, чужой.
И не запомнишь её сюда,
вычерпаешь дугой

из электричества мельниц и
спрятанных рыб в живот,
в корни – шпиком с неё – реки,
в поток воздуха за ребром.

Дышит река меж ресниц, и свет
перешивает всё,
речь потеряв, про неё молчит
и под водой течёт.



а помнишь [?], как в фильмах Кокто
рука становилась веткой,
треуголкой для человека,
обращённого в стенку
говорящего:
– заberi, обожги и выбрось,
потому что из меня снова не получилось
ничего, лишь ничего и вышло,
и я опять [наконец-то] Никто,
а значит – ячея в сетке,
и свет проходит насквозь меня,
деревеня в рыбу,
в кустарник огня, в прострелянный глаз
и воздуха белую глыбу.

[съедобный стыд проглотит нас, пчела]
лежим [как отмель] обжигая плечи

неграмотно в свет левою стуча
сквозь окончания человеческой речи

пчелиный телеграф был взят как плод
[трещоткою в юлы клубок свернувшись]

пчела в плече краснела и язык
глотала свой опухший утонувший

Тень воды обрастает рыбой, лишившись жабр
изнутри, чёрно-красный язык, как удушье зажав –
идёт воин по ней, а присмотришься – водолей
с головней из нор укрывшихся пескарей.

Человек-муравейник, головою взрываясь вниз,
разрезает тени свои – среди множеств лиц
нарисует себе другое [затем пройдёт]
как царпина рыбы в воде, что водой плавёт.

Воздух, сминаемый в вещи, становится хрустом.
Взрывом, направленным в дубли горячей вороны,
август бежит сквозь финальной недели хлопущку,
паузой [после себя] обёрнутый в норы

жёлтых стеблей, смотрит в трубку развёрстанной пашни,
тошею шей прохожего крутит и режет в колеса
дороги намокший рулон и не страшно –
всё перепишешь, а прочее здесь невозможно.

И, пробудившись, словарь, из разобранной грядки
крутит главою восьмой и скрипит инородным суставом
сквозь дирижабли жуков и идёт из огня на мороз равномерно и верно
на одиночества нитку, как тени их, вещи дыханьем сметая.



Глаза летят, как души в свой просвет,
и тщатся зрение, как волка псы, догнать

и горизонта мышцу разогнуть,
а после космос для себя солгать.

Там – никого, и комнаты пусты,
попробуешь уйти, но расплетёт

тебя на шелест листопада нить –
и кажется, что слепота зовёт

скорей, скорей заполнить ей кувшин.
Кругами наклонившись над тобой,

она стоит и глины ототрёт
слезу, раскрытую, как дым в воды комок.

Раскоса тишина и всё живёт,
всё, отчего Бог плачет, как привык –

от счастья, что есть здесь лабиринт
который зрением его насквозь промок.

Мёртвые нас победят, увеличив свои ряды
ступай осторожно – потому что мы их следы,

ходоки под снегом, Престолы, что падая через свет
возглавят полки врагов своих – остального нет

даже в остатке. Это плоть под стопой скрипит,
это всё, чем ты был, за тобою следит, горит –

цитадель сороки, стрекочущей из земли –
вырывай язык из ямы внутри воды,

что стоит, как смерть вокруг, головой трясёт
лошадной в тебе и воскресших своих ведёт

сквозь тебя и взведа просветы ангелов, как курки,
выпивает всё, чтобы мёртвый здесь мог взойти.

требует свободы себе
молчанье

в космосе нет
волн [звуковых]

голос спрятан
в свой мячик

спираль кряквы
в сингулярности

ЕЛЕНА СЕВРЮГИНА

АЛХИМИК В КРЕСТЬЯНСКОЙ РУБАХЕ

рецензия на сборник стихов Александра Петрушкина

(Стихотворения / Александр Петрушкин. – [б.м.] : Издательские решения, 2019. – 152 с.)

Приходилось ли вам когда-нибудь подглядывать за чужим космосом в замочную скважину? В маленькую щель, за которой чуждый и непонятный вам мир, притягивающий и одновременно отталкивающий своей инаковостью – шокирующе резкой и разрушительной в своём неприятии любой устоявшейся традиции?

Подобные чувства испытываешь, когда впервые соприкасаешься с миром Александра Петрушкина – поэта, о котором в привычных литературоведческих терминах и фразах говорить невозможно. Здесь нужен особый, птичий метаязык, улавливающий ультразвуковые волны автора. А помимо этого нужно ещё колоссальное напряжение – духа и мысли, потому что каждый раз приходится с усилием ворочать пласти каждого стиха, и каждый пласт – космос, дробить и объяснять который не хочется – хочется понимать.

Именно поэтому речь пойдёт не о стихах как таковых, а о той пока ещё малоизученной вселенной, в которую мы всецело погружаемся вместе с её создателем.

Космос Петрушкина обладает двумя противоречивыми свойствами. С одной стороны, он предельно замкнут, герметичен, невероятно плотен. У него вполне чёткая, осязаемая фактура, как будто автор нарочито старается обуздать живущую в нём вулканическую энергию и закупорить её в некоем геометрическом пространстве. С другой стороны, подобная замкнутость появляется на фоне никак не соотносимых с ней универсализма и всеохватности мышления. Подобный парадокс объясняется целым рядом причин, из которых, в сущности, и складывается индивидуальная авторская картина мира.

Прежде всего, необходимо понимать, что главная цель поэта – обрести философский камень, эликсир бессмертия, преодолеть ограниченность человеческого земного существования, доказать, что наша физическая оболочка – это «игла, из которой надо вынуть птицу». Поэтому здесь всегда идёт борьба формы и содержания, возникает тютчевский мотив извечного стремления к обретению более совершенной природы:

*где перевернутые воды
растут сквозь гязь мою, родную и густую,
что стала кожей, речью и лицом*

Движение на преодоление, всегда сквозь какую-то плотную нечистую среду в очищенную от ненужных примесей сферу – вот главный вектор направленности художественного мышления Петрушкина. Его стихи – это кричащий в человеке космос вулканического происхождения, непреодолимая стихия огня, в которой куётся новая реальность.

Поэтому вселенная автора антропоморфна и сюрреалистична. В каждом стихотворении как будто видишь его лицо, очень отчётливые образы... немного угловатые, с заострёнными носами, похожие на рога морской мины или на лица покойников. Действительно, поэзия Петрушкина – это очень тонкая грань между миром мёртвых и живых, хождение по лезвию, практически срывание в инобытие. Миры эти постоянно сообщаются между собой, доказывая тем самым свою безграничную проходимость, погружая человека в разные стихии: подводную, подземную – в конечном итоге, надмирную:

*Слоится воздух, камня
в подземный радиоэфир,
где вырезают батискафы
синиц из чёрно-белых дыр*

*[причину шурить в просветы]
тебе родные мертвецы
и говорят, что смерти нету,
и отчего-то веришь им.*

Смерть как преодоление смерти, как приоткрытие завесы тайного для тех посвящённых, которые уловили ультразвуковые воздушные волны сквозь подземный радиоэфир – таким видится автору неотвратимость бытия. Не распад в конечной инстанции, а реализация толстовского принципа: «я умер – я проснулся».



Однако преодолеть антропоморфность мировосприятия Петрушкину помогает глубоко коренящийся в нём мифологизм, аккумулирующий в себе древнейшие формы сознания: синкретизм, тождество вещи и её идеи, единство части и целого, людей и животных и т.д. Осмысливая стихи Александра, читатель неминуемо сталкивается с проблемой кардинальной смены восприятия мира, когда он вынужден отказаться от традиционного представления о дискретности бытия и характерных свойствах вещей и явлений. Привычная пластика объектов в их взаимосвязи, традиционная упорядоченность мироздания не вписываются в инобытийность и планетарную всеохватность авторского художественного мышления.

Если следовать концепции Леви-Брюля, такое соотношение явлений может быть названо законом сопричастности («партиципации»), то есть отождествления различных предметов, лиц, явлений на основе того, что они обладают одинаковыми мистическими свойствами. В таком мире любой предмет, имея самостоятельную волю, способен превратиться в любую другую вещь, и «всё решительно и целиком присутствует или, по крайней мере, может присутствовать во всём» [Леви-Брюль. Первобытное мышление // Психология мышления. Под ред. Ю. Гиппенрейтер и В.В. Петухова, М: Изд-во МГУ, 1980. С. 130-140].

Подобная концепция мира становится для Петрушкина, наследователя традиций Манделштама, а впоследствии и для читателя, поводом бесконечно продуцировать всё новые и новые миры, ко всему подходить с меркой демиурга, которому недостаточно пребывания в заданной реальности и насущно необходима её реконструкция.

Благодаря мистицизму, шаманизму своих стихов, основанных на первичных эманациях, автор создаёт атмосферу абсолютной вовлечённости читателя в процесс творчества. Когда начинаешь разгадывать смысловые коды и шифры серьёзного художественного текста, то в какой-то момент осознаёшь, что не можешь остановиться, и невольно становишься соавтором новых и новых смыслов. Поэтому в поэзию Петрушкина читатель «входит» как в кузницу Гефеста, чтобы наблюдать, как под влиянием чудодейственной силы огня достигается всеобщая ковкость и плавкость предметов. И вот мы уже зодчие, демиурги, но, по сути, мастеровые – рабочие в высоком понимании этого слова.

Александр Петрушкин – крестьянин, у которого всё идёт в дело, ничего не пропадает. Дровосек, кузнец, гончар, пекарь, алхимик – то есть автор, занимающий крайне активную позицию по отношению к миру. Он создаёт, а не созерцает, подобно Базарову, утверждает, что «природа не храм, а мастерская». Остаётся только удивляться, как с помощью простого молота или топора можно создать столь изящную форму, столь тонкую материю мира, в которой, например, соблюдается неделимость вещей, предметов, явлений, постоянно обменивающихся признаками и свойствами друг с другом, вплоть до присвоения обратных, противоположных свойств:

*И проникающий под кожи
ноябрьский свет нас преломляет –
как будто по колени вхожий
в нас он, как будто прогадает...*

Свет преломляет, а не преломляется, нити не обрываются, а обрывают – подобные «аномалии» абсолютно нормальны для Петрушкина – его «фасеточное зрение стрекозы», как выразилась Марина Саввиных [Марина Саввиных. Рассекающий ткань – собирающий камни...//Зинзивер, № 3, 2010], склонно к художественной регрессии – восприятию мира в обратном порядке, подобно перемотке киноленты от заключительных к начальным кадрам.

*и стоишь, а не видишь, как нити твои
переврут грунт и неба прозрачную глотку*

Но дело, конечно, не только в этом. Примечательно, что Александр Петрушкин родился на Урале. Его мировидение – пытливый взгляд золотоискателя-рудокопа, исследующего породы на уровне диахронного среза. Ему важен взгляд изнутри – гораздо интереснее наблюдать движение соков по венам и артериям, чем видеть статические очертания предметов. Поэтому его мир столь динамичен и находится в процессе непрерывного самостановления. Уникальные авторские метафоры показывают явление в генезисе, центробежное стремление вещей друг к другу. Это мир, распадающийся на атомы и вновь собирающийся в их новом причудливом соединении.

Пользуясь инструментарием материального мира, автор создаёт предельно абстрактную, нематериализованную реальность; и наоборот абстрактные предметы обретают свою фактуру, становятся плотными, осязаемыми.



*Всё полость или свет
от мрака отражённый,
который прячет вещь
внутри своих потёмок*

Свет, прячущий вещь, или извлекаемый из вещи; конкретное, продолжающее абстрактное, длящееся в нём – и наоборот: такова логика художественного мышления Петрушкина. Поэтому нет ничего удивительного в том, что щель крутится на ладони, «перевёрнутые воды растут сквозь грязь», поношенная осень разматывается лапами пса, а львиный рык вынимается «из белой и длинной зимы».

*Всё дышит – даже если этот
звук внутри, и оттого нам не заметен,
не заметён как шахматы в свой стук,
в улитку лёгких, что теперь стозевны,
растут, как дерево сквозь зимы, как игру,
где катятся в повозке земли звери.*

Свой подвижный, концептуалистско-сюрреалистический взгляд на мир Петрушкин передаёт с помощью характерных языковых приёмов: оказациональная метафора, нарочитое пожертвование рифмой ради звука и смысла и, безусловно, многочисленные сравнительные обороты речи, составляющие, по сути, словесную ткань стиха, выполняющие в нём роль логико-грамматических скреп. Эти бесконечные «как» – фактически отражение непрерывной метаморфозы, происходящей с миром. В художественном тексте они создают эффект калейдоскопа:

*Испросил холодный свист,
снег, который в нём лежит,
как медяк внутри поломки
или санки – свеж и чист –*

*там, где день похож на звон
тени, что попал в окно,
говорит с тобой, как Данте,
своим детским языком.*

*воздух зашивая в свет
так, как будто лёд и ветвь,
это все её предметы –
остальных здесь больше нет*

Если вдуматься, вся эта бесконечная череда аналогий наряду с повторяющимися сквозными образами воды, огня, земли, рыб и синиц, особенно речи и языка, выражает авторское стремление вернуть миру его первозданную целостность, соединить причину и следствие, вернуться к истокам. Здесь включается в работу Петрушкин-портной, берущий в руки нить и иглу и пришивающий свет к тени, вещь к пробразу вещи.

А универсальной нитью и иглой, латающей прорехи мира, возвращающей человека к его бессмертным истокам, становится речь. По сути, всё, к чему сводятся размышления автора, касается именно языка, речи, точнее, их первооснов, вырастающих из самой жизни. Многие могут упрекнуть Петрушкина в том, что он не «звучащий» поэт, но это не так. Просто поле его звучания доступно не многим, поскольку это ультразвуковые волны – дельфиний язык. Борис Кутенков в статье «Возвращение из немоты», посвящённой творчеству Петрушкина, отмечает: «*Стихи Александра Петрушкина стремятся к такой форме говорения, когда речь утрачивает своё вербализующее значение, держась и “выживая” средствами неясного гула, камлания, звука, интонационного единства*» [Борис Кутенков. Возвращение из немоты. // «Урал», № 7, 2011].

Действительно, процесс речеговорения, речетворчества, с которым мы сталкиваемся в поэзии Петрушкина, не имеет ничего общего с такими понятиями, как языковой строй, грамматика, синтаксис, даже собственное слово. Речь – это всегда неупорядоченное блуждание имьярека в дебрях непрерывно звучащего, «родного» хаоса с целью отыскать первозвук, протозвук – ту эфирную составляющую языка, которая в конечном итоге растёт из немоты или беззвучного крика, предельного напряжения горловых связок. Речь – это освобождение дремлющей энергии, и поэтому она всегда подобна горганным вскрикам шамана, гулу, шуму, чему-то нечленораздельному.



Слово «голос» (безусловно, самое частотное в творчестве поэта) испытывает огромное количество трансформаций, так или иначе связанных с невещественным, абстрактным, миром: это голубиное воркование, львиный рык, дыхание кустов, колокольчик «растущий из стужи», белый шум, хруст воды в очах и т.д. Речь – это процесс непрерывного извлечения света из тьмы, небесного, вечного из бренного, земного, подлинного из фальшивого:

*Слух – эхо от дождя,
его сетей шуршание,
гончарный кrug, уловка
[о слишком многом речи молчания].
Горит рыбак, собою управляясь ловко.*

По сути, язык, речь, звук (а также голос – инструмент звукоизвлечения – и слух – приспособление для улавливания звука) – единственное значимое в жизни человека явление, способное сделать его по-настоящему бессмертным, восстановить целостность и первичность его природы. Всё, с чем мы сталкиваемся в сфере нашей духовной и интеллектуальной деятельности – это непрерывное проговаривание себя – пропускание сквозь себя опыта мироздания посредством языка.

Но важно понимать, что человеческий язык изначально вырастает из нечеловечьего. Представим себе гигантский, веками отлаженный механизм: наше ухо, или ухо творца, улавливает вселенский гул, пропускает его через себя, подобно универсальному фильтру, в котором он преломляется под иным углом и обретает человеческую природу. И после этой необходимой очистки язык сам становится фильтром, сквозь который проходит человеческий голос, чтобы слиться с голосом мироздания и дать его владельцу бессмертие. В этом, по мысли Петрушкина, заключается главный смысл творчества – в частности, речетворчества.

*На столе бутылка птицы
щиплет тень свою и цы
остается на древесной
азбуке, а ти в следы
переходит по помосту
света, обретая тень,
хвост мглы и занебесный
голос. Остальное – день.*

Не об этом ли магическом процессе, не лишённом, тем не менее, вполне предметной составляющей, пишет Петрушкин?

Речь, творчество, процесс словесного созидания – это всегда вполне материальное, осязаемое конституирование новой реальности – более совершенной, чем существующая. Речь – полость, вместилище, объект духовной жизни творца, поэтому её возможности безграничны, и продуцирование новых миров, новых универсумов нескончаемо. А граница между явлениями абстрактного и материального мира настолько тонка, что просто стирается, обеспечивая абсолютную недискретность и текучесть мироздания.

Речь – «шрам, голосовой порез, что вырезана в выдох» – то, что было выговорено Петрушкиным, «как осколок», и то, что стало его последним пристанищем. Бессмертной домовиной, личным Асгардом, в котором он, вечно юный бог, доблестный воин света, мирно спит, каждый раз, подобно Фениксу, пробуждаясь и возрождаясь из своей родной стихии огня.

*...и, выговаривая, как осколок, речь,
в неё, как в смерть, я устевую лечь.*

«СЕТЧАТКА»

АЛЕКСАНДР В. БУБНОВ

ИНТЕГРАЛЬНАЯ «ИГРА В БИСЕР» В СТИХОТВОРЕНИИ НАДИ ДЕЛАЛАНД «ТУМАН СПАДАЕТ...»

Напоминаю, что Интегральный стих (И-стих) (моя авторская гипотеза, – А.Б.) представляет собой особый вид формы, стиля, философии стиха, который «пунктиром» прослеживается в русской поэзии... Если очень кратко, то в основе Интегрального стиха лежит более-менее гармоничное сочетание (интеграция, синтез) форм, размеров, техник, стратегий, а проще говоря, некое «балансирование» между ними (разумеется, без явного преобладания одного из компонентов). В частности, это важный для И-стиха баланс между рифмой и не-рифмой (а категория рифмы – одна из знаковых в русской поэзии).

В теории рифмы исследователями выделяются анаграмматические и (более узко) палиндромические рифмы, основанные на буквологике (мой термин, – А.Б.), то есть на использовании буквы в качестве основного конструктивного элемента. И хотя обций «вес» анаграмматики в общей массе художественных текстов невелик, однако, если учитывать эти рифмы не в чистом виде, но лишь как элементы в виде анаграмматизма или палиндромии, то в таком расширенном понимании такие рифмы встречаются уже гораздо более широко. И если – хотя бы условно – довести эту мысль до (почти абсурдного) предела формального подхода, то любую омографическую или тавтологическую рифму можно назвать анаграмматической или буквологической, то есть основанной на полном повторении ряда букв. При таком «взгляде» становится более понятной обобщённая картина множественных и разнообразных «игр» в диапазоне между полюсами «не-рифма / тавторифма», со всеми этими банальными «розами-морозами», располагающимися, разумеется, формально в «экваториальной» части, в отдалении от полюсов, когда солнце излишне «жарит» голову... Да и всю Поэзию можно представить метафорически как Землю (землю), которая то погружается в сон, то просыпается, которой, как человеку, то жарко, то холодно, и она, аналогично началу стихотворения Нади Делаланд, может попытаться «надеть» на себя «туман»: ведь известно, что в облачную (читай – туманную) погоду земля («мать сыра земля») сохраняет вокруг себя тепло, а вот «при прояснении» случаются заморозки (ср. «затуманенность сознания», «пелена спадает с глаз», (оксюморонно) «жара спадает», также ср. «одеяло спадает» (со спящего человека). Таким образом, стихотворение сразу же актуализирует и развивает образно (и интегрально) игру на двойных смыслах...

Надя ДЕЛАЛАНД

*Туман спадает... я его надеваю, а он спадает...
Не мешайте мне спать...
Что же дальше?*

*В детстве я протягивала лицо
маме и говорила: «Поцелуй
старую птицу».
Мама смеялась: «Какая ж ты старая?»
И целовала.*



Теперь я иду, бормоча себе:
«Старая птица»
И отвечая: «Какая ж ты птица?»

Никто меня не поцелует.

В целом, по позиции, по локации, понятие рифмы наиболее однозначно и неоспоримо, когда рифма располагается в конце строки, тем более, если учитывать несиллаботонический характер стихотворения Нади Делаланд, в котором нет рифменного ожидания. Этот главный локационный посыл, применённый к 1-й строфе стихотворения, позволяет в итоге заметить интереснейший комплекс из 3-х рифмующихся между собой слов (спадает / спать / дальше), основанный на почти полностью буквологической (шире – «комбинаторной») технике, на своеобразном анаграмматическом «складывании», «СЛОЖЕНИИ» букв (ср. сам термин «стихоСЛОЖЕНИЕ»), вплоть до чистой визуальности – до незвучного мягкого знака.

Туман спадает... я его надеваю, а он спадает...
Не мешайте мне спать...
Что же дальше?

В инициальной составляющей всех 3-х слов этого рифменного комплекса происходит комбинаторно-буквологическое сложение: СПА/ДА/ет = СПА(ть) + ДА(льше). Такая комбинаторика сложения инициалей напоминает известную строку Осипа Мандельштама «...полон музыки, музы и муки» (1911 год), где просматривается формула: му/зы/ки = му/зы(0) + му(0)ки, с неким нулевым «плавающим» комбинаторным звеном, подразумевающим разные «толкования»: му/зы/ки = му/зы(ки) + му(зы)ки.

В финальной составляющей того же 3-компонентного рифменного комплекса (спадаЕТ / спаТЬ / дальШЕ) наблюдаем комбинаторный звукобуквенный под-комплекс «Е/Т//Т/Ь», от него в финальной части слова «дальШЕ» остаются лишь некие графические «следы» – Е, Ь... В целом же происходит полный (без учёта позиции) цикл попарных комбинаций этого под-комплекса, распределённого по всем 3-м словам равномерно – аналогично формуле АВС (АВ, ВС, СА).

После общего впечатления в целом от 3-х компонентов стоит уделить внимание анализу попарных комбинаций 3-компонентного комплекса рифм 1-й строфы стихотворения «Туман спадает...»: спадает / спать, спать / дальше, спадает / дальше.

Спадает / спать. Для И-стиха в целом характерна именно такая разноударная рифма с буквенно-визуальным и отчасти звуковым совпадением предупредной части первого слова с ударной частью второго. За счёт односложности второго слова («спать») возникает оттенок некоторого «оправдания»: 'вот такое слово, которое дальше одного слога не продолжается, поэтому, в ожидании 2-го слога, ударению ничего не остаётся, как занять место в слоге первом (и единственном); а что касается 2-го слога, то его нет, он «ушёл в сон»; слово «заснуло» словно бы на полуслове, оно само себе уже «приказало» – спать...?.

Кроме того, наблюдаем следующий нюанс «гендерной» интегральности (равноправности): в мужской клаузуле слова «спать» (2-я строка) есть уже отмеченный оттенок императива («спать!»), подкреплённого контрастом с женской клаузулой слова «спадает» (1-я строка), а затем подтверждённого такой же «мягкой» женской клаузулой слова «дальше» (3-я строка), с общим ударным «да».

Взаимное рифменное притяжение слов «спадает / спать» усиливает звукобуквенная пара Д/Т: СПАД(ает) / СПАТ(ь), спадаЕТ / спаТЬ.

Спать / дальше. Ассонанс на ударной гласной А подкреплён той же звукобуквенной парой Д/Т, составные части которой расположены на этот раз по разные стороны от ударной гласной: «АТ(ь)/ДА». Оппозиции не только по звонкости / глухости, но и по мягкости / твёрдости ещё больше отдалают эту рифму от разряда явно слышимых и (почти?) вносят её в ряд (гипотетических) интегральных рифм (И-рифм). Это ощущение усиливает менее слышимая пара С/Ш; она актуализируется и выявляется наличием элемента палиндромической рифмы: С(п)АТ(ь) / ДА(ль)Ш(е); в более удобном виде: САТ/ШАД, или ТАС/ДАШ (если одну из двух составляющих попеременно представить в ретроскрипции). Обобщая, я бы назвал эту тенденцию в целом в И-стихе как отдельную важную стиховедческую тему – «реанимация слабого ассонанса», и естественна такая реанимация именно в просодии современного И-стиха.

Ещё более яркая в плане палиндромии пара «не мешайте / дальше»: (м)ЕША(й)Т(е) / ДА(ль)ШЕ; с подобным же методом применения ретроскрипции: ЕШАТ / ЕШАД, или ТАШЕ / ДАШЕ. Если эта пара была бы на концах строк, она считалась бы ассонансной рифмой: мешАйтЕ / дАльшЕ, с «подмешиванием» Ш.



Спадает / дальше. Наиболее «академическая» рифма, основанная на совпадении ударного гласного с предударным согласным: [да / да], ассонанс усиливается совпадением заударной звукобуквы Е. Композиционно рифма логично завершает 1-ю строфу. В целом для И-стиха характерны рифмы, не стоящие на соседних строках: чем точнее рифма, тем, как правило, она должна стоять дальше в И-стихе, чтобы смягчить свою «заметность» и приблизиться к интегральности.

Когда завершается (на слух или «на вид») 1-я строфа, читатель подсознательно возвращается к 1-му стиху, к вновь «сложенному» с помощью рифм слову «спадает», которое не случайно звучит у автора в 1-й строке дважды, т.е. акцентированно, вплоть до того, что 1-я строка в данной редакции ощущается несколько искусственной по длине – она могла бы быть из двух строк, каждая из которых заканчивается словом «спадает» – тавтологическая рифма. При этом новая редакция проявила бы диссонансную рифму «тумАН / а ОН».

*Туман спадает...
я его надеваю, а он спадает...
Не мешайте мне спать...
Что же дальше?*

А дальше, заинтриговав читателя, но – с межстрофической «оттяжкой» – обманывая его ожидания, вместо описания дальнейшей «борьбы» с туманом, происходит ретроспектива (ср. ретроскрипция) – героиня вспоминает детство, когда она «ПРОТЯгивала ЛИЦО», с явной отсылкой к знаменитой строке Велимира Хлебникова «...вне ПРОТЯжения жило ЛИЦО», а также менее явной – к другой знаменитой строке Велимира «Русь, ты вся поцелуй на морозе!», причём именно после слов «лицо» и «поцелуй» происходят интонационные паузы – единственный в стихотворении «островок» анжамбеманов:

*В детстве я протягивала лицо
маме и говорила: «Поцелуй
старую птицу».*

Перенос прямой (и не прямой) речи на следующие строки связан с тремя основными причинами, которые следует рассматривать в совокупности, в интегральности. Во-первых, акцентируется полупалиндромическая рифма (ЛИЦО / ПОЦЕЛУЙ), где внутри палиндромической части рифмопары сближаются по звуку не совпадающие по графике безударные звукобуквы И/Е: лицо / ...оц[и]л... Во-вторых, в плане семантики и композиции, понадобилась цезура перед неожиданным словом «старая», что в целом образует двойной оксюморон. Само слово «старая» закрепляется уже в конце следующей строки в качестве полурифмы (И-рифмы?) (спадает / ДАЛЬШЕ / СТАРАЯ, с парными Д/Т и Л/Р), в числе прочих элементов «оправдывая» объединение последующих 2-х строк с предыдущими в единую строфу (2-ю). И в-третьих, на интонационно-сюжетном уровне неровное внутрисинтагматическое «дыхание» передаёт и волнение, и трепет, и неопытность ребёнка в своей нежной просьбе поцелуй; ни до, ни после этих двух строк ни в одной строке стихотворения автор не дробит синтагмы переносами со строки на строку:

*В детстве я протягивала лицо
маме и говорила: «Поцелуй
старую птицу».
Мама смеялась: «Какая ж ты старая?»
И целовала.*

Корень «цел» очень важен в стихотворении, он символизирует прежде всего метафизическую цельность (целостность) матери и дочери, с отчасти печальным поэтическим «послевкусием» – намёком на физическое расставание в финальной строке...

Вспоминая известный афоризм о неисчерпаемости электрона по аналогии с атомом, будем считать, что атом в данном стихотворении – это корень «цел». Тогда электроном – причём, значимым в композиции всего стихотворения, в его фоносемантике – становится звукобуква Ц вместе со своими «квантовыми переходами», когда электрон находится одновременно и там, и здесь, соединяя разные орбиты. При «расшифровке» звукобуквы (Ц / ТС / СТ) становится ещё более очевидной И-рифменная и фоносемантическая связь слов в словосочетании «СТАРАЯ ПТИЦА» (ста- / -тса) – ключевой метафоре всего стихотворения. К этому словосочетанию почти оксюморонно примыкает слово «детство» (деТСТВО / детСТВО).

В плане макрокомбинаторики (на уровне слов и словосочетаний) происходит по сути «развенчивание» ключевой метафоры («старая птица»), которая к финалу постепенно – логически, лингвистически, метафизически – превращается в печальное ничто, в пустоту!.. Превращение это происходит в изложе-



нии прямой речи – диалога между дочерью и матерью, и кавычки графически точно акцентируют эту композиционную линию. Четыре реплики выстраиваются в логическую цепочку: (дочь) «поцелуй старую птицу», (мать) «какая ж ты старая?», (дочь, сама себе) «старая птица», «какая же ты птица?» (как бы задумчиво повторяя за матерью, варьируя слово, даумываясь в него). Сначала мать, несомненно с любовью, но и с улыбкой, сомневается в первом компоненте словосочетания «старая птица», а затем уже и дочь в абсолютно таком же риторическом вопросе (если и с улыбкой, то другой, «другорькой») сомневается и в оставшемся компоненте – в слове «птица», за которую можно было бы ещё «цепляться»... однако... «старая птица?... «(какая же ты) старая?»... «(какая же ты) птица?»... ‘никто’...

В дополнение отмечаем в этом же текстовом «ареале» скрытый звукобуквенный палиндромический комплекс по формуле «А(Ь)А», напоминающий полногласные структуры, «мерцающий» и усиливающий своё влияние – в том числе в И-рифмах – к концу стихотворения: ада (спадает), ала (старая), ала (целовала), с добавлением слов из середины строк «протягивААА» и «сме[йА]ААсь», а также «йотированных» (АйА) на конце слов – так близко стоящих, что почти возникает эффект отзвучия, эффект «внутренней рифмы»:

...ОТВЕЧАЯ: «КАКАЯ ж ты птица?»

И всё это макро-рифмуется (структурно рифмуется) с самим именем автора «Надя Делаланд»: нАД’А делАААнд. В самом имени (псевдониме), кроме явно музыкального сегмента –АААА– наблюдаем неявную полупалиндромическую (опять же) «внутреннюю» рифму, основанную на ударном [А] и примыкающем к нему слева и справа [Н]: НАДЯ делАААНД (НА / АН). Просматривается ещё одна микропалиндромическая структура: –ААА–, а также – пунктиром – трёхкратная звукобуква Д.

«Факты» эти в фонике псевдонима очевидны, однако в сочетании на одной странице со стихотворением («Гуман спадает...») подобные наблюдения рифмуются (И-рифмуются) с фоникой и графикой общей композиции! Сам текст как таковой «Надя Делаланд» – и формально, и структурно, и фонически, и метафизически – влетается дополнительной строкой (квази-прологом? верхним постскриптумом?) в ткань стихотворения, дополняя и расширяя его лингвопоэтические и фоносемантические «границы»... НАДЯ / НАДеваю, ДелАААНД / тумАН, нАДЯ / спАдает... И это только в сочетании с ближайшей к имени первой строкой!..

Окружают звукобукву Д только А и Е, как и в псевдониме (нАД’АДЕлаланд): спААдет, нАДЕваю, спААдет, чтожЕДАльше, ДЕтстве.

Лишь звукобуква Л (та, что в псевдониме) несколько задерживается по ходу стихотворения и проявляется в тексте лишь в конце 1-й строфы... Графически, в плане визуальности, литера Л является частью Д, и на клавиатуре они рядом, а именно клавиатурой теперь гораздо больше пользуются литераторы, сочиняя свои тексты сразу у компьютера... То есть так или иначе, некая литерософическая составляющая в этой паре присутствует, тем более, в эпоху тотальной визуальности коммуникации. И как раз литера Д в стихотворении Нади Делаланд, практически «отыграв» свою «партию» в первой строке (3 раза), граничащей со строкой-псевдонимом (тоже 3 раза), далее как бы «вытесняется» в тексте литерой Л... Во всём последующем тексте стихотворения звукобуква Д встречается столько же раз, сколько в одной 1-й строке, в словах «дальше», «в детстве», «я иду».

Звукобуква Л, уже как бы «навёрстывая» отставание от Д, после слова «дальше» появляется во всей 2-й строфе – в «паре» с Ц в ключевых словах «ЛиЦо» и «Целовать»... Глагол «целовать» предстаёт в разных формах и – что важно – на концах строк и строф: сначала в императиве («поцелуй // старую птицу»), а затем в прошедшем времени и, наконец, в будущем времени, включая отрицательную частицу («целовала», «не поцелует»). В таком дозировании форм, в интонационном «колебании» происходит синтез, интегрирование, взаимопроникновение как семантических планов, так и «времен»: просьба дочери поцеловать выполняется матерью, но с паузой, оговоркой, «поправкой», что констатируется самим словом «целовала»; однако последней строке – этой «будущей констатации» – читатель вряд ли доверяет, находя в ней милую смесь печали, кокетства, иронии... в диапазоне от детской наивности до ощущения метафизического одиночества...

Теперь я иду, бормоча себе:

«Старая птица»

И отвечая: «Какая ж ты птица?»

Никто меня не поцелует.

Единственное не-И-зарифмованное слово «себе» (в строке «теперь я иду, бормоча себе») является знаком, за которым обрывается цепь полновесных И-рифм, снижается их статус, они переводятся далее в тавтологические И-рифмы, с повторами: птица, птица, не поцелует. Эти повторы лишь усиливают семантику пустоты, одиночества, подводя читателя к последней одиноко «поставленной» строке-строфе...

В итоге практически все слова на концах строк представляют собой И-рифмы – они интегрально «балансируют» между полноценной рифмой и тем, что принято называть (полу)созвучием, между рифмой и не-рифмой. Такому положению дел способствует и отсутствие регулярного рифменного ожидания, и относительная сложность в быстром определении рифм как таковых, в их неочевидности на слух и взгляд, и графическое разнообразие по длине строк, и – прежде всего – как бы «плавающее» ударение в И-рифменных парах («тройках» etc.; ср. термин «разноударные рифмы»): спадАет / спАТЬ, лицО / птИЦу, спадАет / стАрая / птИ[тс]а.

В завершающей строке наблюдаем палиндромический сегмент -ЕНЯНЕ- («никто мЕНЯ НЕ поцелует»), структурно сочетающийся с палиндромией в ретроскрипции последнего слова стихотворения «пОЦЕЛует» (ОЦЕЛ / ЛЕЦО), возвращающего палиндромически к воспоминанию «лица»...

Итак, интегральность (и высокая «ИГРальность») в стихотворении Нади Делаланд «Туман спадает...» проявляется главным образом в «балансировании» между более (от одной рифмопары) или менее (все строки, кроме одной) строгим пониманием рифмы, в чередовании длинных и коротких строк и синтагм с более или менее объёмным их объединением в строки, в метаритмической гармонии между разговорной и поэтической интонациями: «...старую птицу» / «КАКАЯ Ж ТЫ старая?» / «старая птица» / «КАКАЯ Ж ТЫ птица?»... В стихотворении происходит счастливая интеграция «бисерных» буквологических «игр» с естественными «диалогами» образных и метафизических смыслоуровней поэтики, с разной степенью «коннотационности» и «контаминационности» (контаминационный стих?): мать / дочь (в общей женской ипостаси), человек / природа (человек / птица), мгновение / время / цикличность в поколениях (с возвращением к концепту «мать / дочь»), наконец, земное / небесное...

«Multum in parvo», большое – в малом, макрокосм – в микрокосме, стих – в звукобукве, поэтика и её «стратегии» – в отдельном стихотворении... И вот такие небольшие отдельные исследования этого ли, другого ли стихотворения мыслятся в ряду статей, где прослеживаются терминологические и философские «пунктиры»: от модернизма «интегральной поэзии» сербского поэта Симы Пандуровича и его же «отражений от эстетики» (1910-е гг.) – через античные «отражения» «интегральной эстетики» А.Ф. Лосева (1960-е гг.) – к современному Интегральному стиху XXI века...

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО»

«ПОЭТ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, ОБРЕЧЁННЫЙ СЛОВОМ»

(Михаил Казиник, *Тайны гениев. Классика лекций.* – М., Издательство АСТ, 2019)

Михаил Семёнович Казиник – человек-оркестр, человек-театр. Он сочетает в себе теоретика и исполнителя. Неумолимый популяризатор музыки и литературы. «В этой книге два героя – музыка и слово», – говорит Казиник. В «Тайнах гениев» он выдаёт авторские прочтения широко известных произведений. Казиник пишет о великих писателях и композиторах, о которых много уже сказано, что-то своё, свежее, незатасканное. Невысказанное. Он талантливый читатель. Основные книги мыслящего человечества писатель прочёл, когда ему едва исполнилось пятнадцать лет. В лице Михаила Казиника мы имеем дело с универсально одарённой личностью, которая способна реализовать себя в разных областях искусства и науки. У книги «Тайны гениев» два главных героя – литература и музыка. Казиник выступает здесь не только как искусствовед, но и как философ, как социолог. Он говорит об искусстве земном и космическом, массовом и элитарном, попсовом и вечном. Вечное – всегда актуально. Увертюрой к «Тайнам гениев» выступают знаменитые строки Державина: «Я царь – я раб – я червь – я Бог!».

*Ключи искусства безграничны:
Не знает творчество конца.
Но что в веках несёт величье?
Огонь в груди его творца.*

У Казиника очень интересная судьба. Он из племени вундеркиндов. Рано познал большую славу. Мальчиком Михаил не только играл на скрипке и фортепиано, но и пел – высоким неподражаемым голосом. В это трудно поверить, но его выделил среди сверстников и напроорочил большое будущее... Никита Хрущёв. В пионерском лагере «Артек» Хрущёв во всеуслышание заявил, что Михаил Казиник «будет нашим советским Робертино Лоретти». Вскоре Хрущёва сняли, а у Миши началась ломка голоса. Но этот «фальстарт» только закалил его характер и воспитал волю. Жизнь после славы похожа на жизнь после жизни – ты уже спокойно наблюдаешь за своей дальнейшей судьбой, ты уже состоялся в мире и можешь на равных разговаривать с великими.

У Казиника есть ярко выраженные пристрастия. Ему не нравятся «предсказуемые» поэты, с одномерностью мира, у которых за строчками нет второго дна. Зато о своих любимых поэтах – Пушкине, Пастернаке, Мандельштаме – он готов говорить часами. Он прочёл их от корки до корки; он предпочитает стихи, приближающие нас к музыке, где есть синтез музыки и слова под эгидой невербальности. «Поэт – это человек, обречённый словом», – говорит автор «Тайн гениев». Казиник – эрудит и мотиватор. «Моя задача – обострить потребность в искусстве», – говорит Михаил. Он сообщает нам что-то такое, после чего мы бросаем всё на свете – и начинаем взахлёб читать поэта, о котором он нам только что рассказал. Или слушать композитора. Когда-то очень давно я не любил читать ни Толстого, ни Достоевского. Они меня раздражали ещё со школьной парты. И это продолжалось до тех пор, пока я не открыл книгу Виктора Шкловского. Шкловскому удалось настолько меня заинтересовать и мотивировать творчеством этих великих писателей, что я начал читать у них роман за романом. На мой взгляд, Михаил Казиник – это Шкловский сегодня. С той лишь разницей, что он работает «на два фронта» – музыки и литературы. Заражает интересом к действительно выдающимся произведениям – таким, как повести Гоголя «Нос» и «Шинель», стихотворения Бориса Пастернака «Гамлет» и «Поэзия». Читая Михаила Казиника, я вдруг обнаружил связь между стихотворением Пастернака «Поэзия» (1922) и «Поэмой Горь» Марины Цветаевой (1924). И там, и там фигурируют как знаковые фигуры «предместье» и «пригород». Понятно, что Марине было известно стихотворение Бориса. Этого нет в книге Казиника, он здесь только «наводчик».

Но как же здорово читать книгу, которая побуждает тебя мыслить, сопоставлять, делать собственные открытия! В «Тайнах гениев» – сквозное повествование. Одна тема перетекает в другую; вдохновившись одним творцом, тут же обращаешь внимание на другого. Это – «крепендо» пристального интереса. Благодаря Казинику, я открыл для себя поздние фортепианные сонаты Бетховена и трактат Николая Кузанского «Об учёном незнании». Так что моя рецензия – это ещё и благодарность автору за эти маленькие, но большие открытия.

Казиник в «Тайнах гениев» не ограничивает себя сугубо литературными и музыкальными моментами. Он пишет о том, как надо воспитывать мальчика и как девочку, чтобы они встретились и им было что сказать друг другу. Так вот, я с удивлением обнаружил, что мои родители воспитывали меня «по Казинику». Хотя, конечно, ничего подобного они не читали, книг Михаила тогда не было даже в замысле. Мама видела меня офицером, играющим на рояле и владеющим несколькими языками. И она сделала всё от неё зависящее, чтобы этот замысел осуществился. А вот задачу научиться писать стихи и песни она никогда передо мной не ставила, это было уже «перевыполнением плана».

Глубокое исследование посвящено у Казиника пушкинскому «Моцарту и Сальери». В этой трагедии Пушкин, в сущности, «наговаривает» на Антонио Сальери, хотя имеет на это полное моральное право – газеты того времени наперебой рассказывали о признаниях Сальери. Итальянский композитор однажды в старости признался в том, что отравил Моцарта. Михаил Казиник подробно разбирает, почему настоящий Сальери не мог отравить Моцарта и почему его пушкинский двойник в пьесе это делает. И что дело вовсе не в зависти. Честно говоря, Михаилу удалось меня удивить. Я был глубоко убеждён, что Сальери отравил Моцарта из зависти к лёгкости моцартовского сочинительства. Казиник же доказывает, что некоторая зависть, конечно, была, но это не могло служить веским основанием для убийства. Писатель утверждает, что идея убить Моцарта была у пушкинского Сальери спонтанной, а не обдуманной заранее. И если бы Моцарт переставил местами две свои реплики, ни о каком отравлении не могло быть и речи!

Одним из возможных мотивов убийства Моцарта является, по мнению нашего искусствоведа, то, что он величием своей музыки мог заслонить собой целое поколение композиторов, если бы ему позволено было «посочинять» ещё лет десять-двадцать. И не случайно в «Тайнах гениев» после главы о Моцарте и Сальери идет глава о Бахе. Оказывается, Бах тоже опередил своё время на много столетий. И его сыновья сделали с ним то же самое, что пушкинский Сальери сделал с Моцартом – они его «убили», объявив скучным и несовременным. Собственные сыновья! «Чтобы начать новую волну музыкального развития, – пишет Казиник, – необходимо было сделать вид, что папы как будто не существовало. Только в этом случае и появилась возможность пойти по другой дорожке, исследовать иные возможные музыкальные пути». Удивительно, но и об этом задумывался всесторонний гений Пушкина. Совсем недавно мы наблюдали, как творческая власть Иосифа Бродского парализовала на десятилетия все творческие искания в русской поэзии. Так что это вполне себе мотив у пушкинского Сальери. Он убивает Моцарта «во имя общественного блага», от имени касты современных композиторов.

А, собственно говоря, с чего все вдруг решили, что Сальери покончил с Моцартом из зависти? В пьесе Пушкина об этом не сказано ни слова! Но – вот же незадача! – один из черновых набросков писателя к трагедии был озаглавлен «Зависть». И наши доблестные пушкинисты тут же растиражировали этот факт, а английский драматург Питер Шеффер и кинорежиссёр Милош Форман ещё и усугубили эту линию. У них посредственность, Сальери, мстит из зависти гению – Моцарту. Что, как вы понимаете, не совсем соответствует действительности. Потому что Сальери прижизненную конкуренцию с Моцартом в Вене конца XVIII-го века неизменно выигрывал. Завидовать мог разве что Моцарт, если такое можно себе представить. Скажу больше: оперное творчество Сальери оказало серьёзное влияние на молодого Моцарта.

«Тайны гениев» Михаила Казиника – книга высокого духовного напряжения. Она будет полезной и для мастеров, и для тех, кто только делает первые шаги в искусстве. И для школьников, и для академиков. Как такое возможно? Казинику удалось популярно рассказать о глубочайшем. Я думаю, что это очень важная книга. Она расширявает нам музыкальные, литературные и философские коды. Михаил – человек системного мышления. Он видит обратную перспективу. Он умеет сочетать анализ и синтез, метафизику и диалектику. Когда он построчно разбирает стихи Пастернака или Мандельштама, я чувствую себя робким учеником – при том, что и сам неплохо умею это делать. Таких людей, как Михаил Казиник, на земле немного. Их нужно беречь.

**«СЕРДЦЕ – САМАЯ ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»**

(Лада Миллер, *Мурашки для флейты. Повести и рассказы*. – Халландейл Бич, Флорида, Blue Ocean Theater Studio, 2019)

Вот и случилось то, о чём, наверное, мечтали многие поклонники таланта Лады Миллер: увидела свет книга её прозы. И люди, которые зачитывались «Мурашками» на фейсбуке, наконец-то могут подержать в руках волшебный белый том в твёрдом переплёте. Лада Миллер – писательница уникальная. Словно бы в ней уживаются сразу несколько разных авторов. В «Пигалице Агате» мы видим и детскую писательницу, и автора философской прозы, и автора женского романа об утраченной и вновь обрётённой любви. Помните, Макс Волошин говорил юной Марине Цветаевой, что в ней спит с десяток «Петуховых». Волошин советовал молодой Цветаевой «отделить» всех этих Петуховых друг от друга и каждому из них дать слово и новое имя, чтобы в результате получилось 10-15 новых поэтов. В прозе Лады Миллер все творческие компоненты представлены в совокупности, «в одном флаконе». Нерасщепляемость на компоненты и многогранность, на мой взгляд, и сообщают значительность творениям любого писателя.

В «Агате» видимый мир сталкивается с невидимым. «Пигалица», пришедшая на помощь из тонкого мира, умеет читать мысли. Агата продолжает вслух любую недосказанную фразу героини. Это удивительный диалог! И что это, если не извечный Театр? Мы уже назвали, как минимум, три жанра этой замечательной повести. Но ведь это ещё и автобиографическая повесть. Мы узнаем массу подробностей из детства героини: что волновало маленькую девочку, как вели себя её родители. Поэтому повесть охватывает огромный временной промежуток в несколько десятилетий. Вот только детские воспоминания в повести быстро заканчиваются. Нельзя же, в конце концов, расстраивать маленькую Агату ретроспективной грустных событий из далёкого прошлого. Думать о плохом, без настоящей необходимости, вообще не желательно. «Пигалица Агата» – это постоянный диалог взрослой женщины с ребёнком в себе. Агата материализуется и предстаёт очаровательной девочкой, из плоти и крови, похожей на героиню повести в детстве. Это вызволенный из глубин подсознания пласт воспоминаний и ностальгии – о чём-то трепетном и дорогом. Ребёнок возвращает взрослой женщине свободу восприятия мира.

В «Агате» есть послание маленького ангела, и это, на мой взгляд, важно для всех нас, рождённых на земле: «Никогда и ничего не бойся. И не забудь про запас добра». Путь к счастью порой идёт через потери. Не заплатишь утратой и болью – не обретёшь душевного исцеления. Каждому человеку нужен баланс памяти и забвения, словно бы говорит нам писательница. Время, отпущенное на жизнь, дано нам для духовной учёбы. «Пигалица Агата» – это своеобразный урок обратной перспективы, о которой писал в своё время Павел Флоренский. Это умение переселяться мысленно в другого человека и видеть окружающий мир с другой точки зрения. Увидеть самого себя глазами постороннего человека. Эгоистическая приверженность своему взгляду множит непонимание между людьми. *Там твоя аси*. Я есть ты – этот принцип положен и в основу других произведений Лады Миллер, которые вошли в книгу «Мурашки для флейты».

Писательница переселяется в своих персонажей, даже когда в конкретном сюжете они противостоят друг другу. Это и есть самое сложное. Лада Миллер выступает здесь как философ-мистик. Послушайте, что говорит Агата: «Весь мир похож на одно большое яйцо. Наша вселенная это желток, а всё, что над и вокруг, это белок... каждый из нас после смерти в этот белок попадает, и вот тут-то и начинается самое невероятное. Человек начинает чувствовать за другого». Лада Миллер рисует ангелов существами беззащитными, но зато отчаянными и бесстрашными. Урок по переселению душ, который героиня берёт у Агаты, приводит к тому, что она сама на время превращается в ангела. Лада Миллер – писатель правдивый. Она говорит: «Не я пишу этот сценарий, а жизнь». Жизнь как великодушие, как самопожертвование, как любовь – вот её credo. И, глядя на то, как она бесстрашно спасает своих канадских пациентов от смертельного коронавируса, мы понимаем: слова не расходятся у неё с делом. Писатель и человек – одно целое.

Книга «Мурашки для флейты» убеждает меня в том, что Лада – мощный, фактурный прозаик. «Боль поднимается из горла, забивает рот, уши, глаза». «Пустота внутри была похожа на колокол без языка». «Я заблудилась. Заблудилась не от слова блуд, от слова любовь». «Преданная женщина – всё равно что проданный букет». «Для мужчины полюбить женщину – это всё равно, что получить в подарок книгу Фрейда на китайском», «Без веры – как без неба – воздуха нет». «Если есть на свете Бог, то у него обязательно детское лицо». Даже эти беглые цитаты позволяют сделать вывод: конечно, это не «проза поэта», а самобытная проза уверенного в себе мастера слова, который одинаково хорошо в самых разных жанрах.

Повести и рассказы Лады Миллер написаны в духе мистического реализма. Многие произведения базируются на её врачебной практике. Романтика в мироощущении и снововка в повседневной жизни – вот что объединяет её героев. Любовь в «Мурашках для флейты» – парадоксальна и нелинейна. Наверное, никто так много не пишет о счастье, как Лада. Какое оно, человеческое счастье – инфракрасное или ультрафиолетовое? Есть ходячее и не совсем верное мнение о том, что женщин лучше всего знают мужчины. В повести «Эрогенная зона» самые задушевные мысли автора об особенностях женского восприятия мира вложены в уста мужчины, женского доктора. «Женщина вся – эрогенная зона». «Самая

эrogenная зона у женщины – это её сердце». Об этом знал Александр Сергеевич Пушкин, он умел доставить удовольствие женщинам, для начала, просто изысканной беседой. И они переставали видеть в нём маленького некрасивого мужчину.

Проза Лады увлекательна и остросюжетна, с преобладающим в ней хэппи-эндом. Её проза синтетична. Благодаря отменному чувству юмора в её произведениях соседствуют трагическое и смешное. Например: «Варуг понимаю, что не помню, когда последний раз смотрелась в зеркало. Нет, ну с утра, конечно, смотрелась. В боковое. Когда ресницы красила». Перу Лады Миллер принадлежит и такая удивительная метафора: беременная женщина, это – человек-матрёшка. Русская матрёшка демонстрирует нам сразу несколько поколений людей. Мама рождает дочку, та, в свою очередь, тоже рождает дочку и т.д. Так что у русского сувенира, который продаётся на Арбате, есть своя эзотерическая составляющая. Эти мысли тоже можно почерпнуть в «Мурашках для флейты».

Произведения Лады Миллер, при всей их жизненности, часто носят приключенческий характер, дух захватывает. Порой в коротком рассказе автор рассказывает только что сочинённый миф («Хава Нагила», «Чувство родинки»). Повести и рассказы Лады поражают неиссякаемым жизнелюбием. Писательница-врач лечит своих читателей стойкостью и оптимизмом. Её большое сердце «само прыгает к ним в руки». Жизненный опыт врача соединяется с творческой фантазией поэта. Несмотря на то, что «мурашками» названа только одна из повестей, эта тема проходит через всю книгу Лады. «Мурашки» – это момент сцепления чуда и действительности, мужского и женского начала. Мурашки – это псевдоним счастья, ник настоящей жизни. И у читателей то и дело ползут по спине мурашки.

Рассказы Лады Миллер непредсказуемы по жанру. Это может быть и трагикомедия («Восьмой день недели»), и рассказ-воспоминание («Гормон Гормоныч»), и один день из жизни семьи («Хава Нагила»). Лада Миллер тонко строит диалоги, у неё есть несомненный дар драматурга.

– Ты не толстая, ты прекрасная, – засмеялся он.

Мне стало грустно, и я заплакала.

– О чём ты плачешь, птенец? – удивился он.

– О нас, – ответила я всхлипывая.

– Не стоит, – вздохнул он.

– Почему?

– Потому что мы с тобой – две башни. Мы охраняем друг друга.

– От чего? От кого?

– От счастья.

– Зачем?

– Наше счастье невозможно пережить.

Рассказы Лады порой нельзя пересказать словами. Это – настоящая лирика в прозе. Даже когда Лада берёт традиционные сюжеты, например, любовный треугольник, она решает их нестандартно. Жёны побеждают любовниц в прямом противостоянии. Побеждают либо хитростью («Бессердечная»), либо упорством и умением прощать («Восьмой день недели»). Но «хитрят» не только женщины. Мальчик Савушкин «заманивает» свою учительницу к себе домой, чтобы она познакомилась с его папой («И слепящее солнце в окне»). Писательницу привлекает всё нестандартное, нешаблонное в жизни. Она – мастер неожиданной концовки, и это важно для её прозы не меньше, чем богатый лексический словарь. У рассказов есть интрига! И она разрешается не так, как мы того ожидаем. Произведения Лады Миллер помогают нам переосмыслить многое в нашей жизни. Возможно, это прозвучит парадоксально, но я рекомендую «Мурашки» для чтения, в первую очередь, мужчинам. Чтобы лучше понимать женщин.

БАБОЧКА МЕЖДУ РАМ

(Елена Фролова, *Непоправимое лето. Сборник стихотворений.*

Серия «Turris». Книжная серия товарищества поэтов «Сибирский тракт». – М., Издательство СТУХИ, 2019)

Есть стихи с такой душевной наполненностью, с таким нерастраченным жаром души, что, читая их, слушаешь, в первую очередь, не поэта, а человека. Можно до такой степени прочувствовать человека по его творчеству, что возникает впечатление, будто ты знаком с ним уже добрый десяток лет. Стихи Елены Фроловой – из разряда таких произведений. Фролова – это человек, который стремится не брать, а отдавать. Человек, который всегда готов прийти на помощь страдающим и обездоленным, униженным и оскорблённым. Елена готова помогать даже тем несчастным, которые страдают от самих себя. Она сочувствует горю, несправедливости, беспросветности. Этот замечательный человек с девяти лет пишет стихи, ведёт свой лирический дневник. Елена, родившаяся в Крыму, много затем путешествовала



по стране со своими родителями. Героиня стихов Фроловой из книги «Непоправимое лето» – личность романтическая. «Весна, весна, как хочется успеть влюбиться навсегда, не понарошку». Повсюду звучит в её стихах благодарность за дар любви, ниспосланный свыше.

*Любовь не одерживает побед.
Любовь ничего не просит.
Идёт человек, в суету одет,
Несёт за плечами осень.*

*Идёт, не оглядываясь, вперёд,
Упорством своим протужен.
А то, что случилось наоборот –
Осталось как льдинка в луже.*

*Как паутинка неясным днём
На веточке клёна голой...
Как имя моё под твоим языком
Таблеткою валидола.*

В стихах Елены звучит апофеоз семейной жизни. Ей важна семья, ей хочется преемственности поколений. Она помнит даже своего прадедушку. Человек для Фроловой – результат скрупулёзной душевной работы сразу нескольких поколений. В этом мыслится здоровая патриархальность, которой не всегда хватает жителям современных городов. Семейная хроника Елены Фроловой несёт в себе заряд оптимизма и целостности вековых народных устоев, признательности предыдущим поколениям. Волшебный аромат пряника, подаренного маленькой девочке её прадедом, могут прочувствовать и читатели «Непоправимого лета». В книге ощущается невероятная любовь автора к своим предкам. Всё у Елены наполнено жизнью: бабушка у неё – «юная», все предыдущие и будущие поколения словно бы присутствуют на одной картине с главной героиней.

*В этой комнатке, маленькой низкой,
Спал мой прадед, и дед мой, и я.
А теперь, под иконами, близко,
Спит и дышит дочурка моя.*

Есть такая счастливая особенность у автора – памятью восстанавливать давно ушедшие времена. Прошлое – как сегодняшний день. Будущее – как прошлое. Вот оно здесь, рядышком, его можно потрогать. За этими образами встаёт есенинско-рубцовская Русь.

*У счастья такие простые приметы:
Вот утро, крыльцо, деревенское лето.*

*Вот мама смеётся в цветном сарафане.
Вот пенка парная в гранёном стакане.
Вон там умывальник прибит у забора.
Вот бабушка вышла во двор с разговором,*

*Что делать на завтрак – блины или гречку?
Вот дедушка наш возвращается с речки.*

*И синие рыбы лежат у порога,
И грустно немножко, но счастливо – много.*

Замечательное стихотворение, которое останавливает мгновение. Одно из лучших в книге по «неслыханной простоте». Но тут я вынужден немного покритиковать нашего автора. Когда одним залпом написаны стихи, и есть ощущение попавшей в лирические сети крупной рыбы, многие из нас не обращают внимания на странность звучания отдельных речевых оборотов. Вот у Елены Фроловой идут два наречия подряд – «счастливо» и «много». Доработка этого фрагмента займёт у поэта максимум одну минуту. «Но счастья так много». И никто не будет спотыкаться о неряшливые строки. Просто сядь и доработай. Не для меня. Не для себя. Для самого стихотворения. Издание новой книги – очень удачное время и место для того, чтобы этим заняться. Одного неудачного оборота бывает достаточно, чтобы испортить очень

хорошее стихотворение. Это как ложка дёгтя в бочке мёда. К счастью, такого рода неряшество в книге я больше не заметил. На мой взгляд, поэту, помимо лирического дара, необходима ещё и требовательность к себе. А вот этой важной составляющей, к сожалению, многим из нас не хватает. В том числе – и мне, автору этой рецензии.

Поэзия и любовь для Елены Фроловой – синонимы. Всё: дыхание, жизнь, небесная благодать. «Любовью рождается свет, с любовью плывут по земле облака, и люди встречают рассвет».

*Звук рождается просто, на исходе зари.
Может, это ребёнок во сне вздохнул?
Может, гаснут уставшие фонари,
Может, кто-то в окно моё заглянул.*

*Или это бабочка между рам,
Или вишни падают на порог.
Или тихо ангел смеётся там,
Где осталась жизнь, между трёх дорог.*

Рождение стихотворения – всегда волшебство. Для Елены Фроловой стихотворное действие – часто ретроспективно. Поэтому жизнь в таких стихотворениях не «течёт», а «осталась». Впрочем, и из того, что «течёт», в конечном итоге тоже что-то «остаётся». Такая оптика у поэта – ретроспективная. Ведь «лицом к лицу лица не увидать». Стихи рождаются в тишине, «на исходе зари», в отдалении от шумного дня; события тоже представляются нам значительными не сразу, а в некотором отдалении, по истечении времени. Елена Фролова использует невероятный по эмоциональной окраске образ бабочки между рам: красота, которая забила в узкое пространство и потому не может выйти к людям без посторонней помощи. Автор лёгким штрихом вносит в стихи трагическую ноту, которая нами почти не осознаётся. Впрочем, «непоправимое лето», название книги – разве оно не несёт в себе ту же диссонансную ноту? И здесь мы приближаемся к разгадке характера дарования Елены Фроловой. Подавляющее большинство её строк – это моцартовский гимн жизни, прерываемый изредка, когда мы того совсем не ждём, сознанием скоротечности этого званого пира. Порой это просто непонятно откуда взявшаяся тревога. «И снова котят голодные всю ночь на площадке кричат». Однако основной корпус стихов в книге далёк от интонации «непоправимости». Всё ещё можно тысячу раз поправить. Человек не побеждён, куда он жив. Стихам Елены Фроловой свойственна особая человечность, сочувствие людям:

*Поговори о маме и отце,
Которые становятся, как дети.
Я знаю, что случается в конце
На этой грустной маленькой планете.
Поговори... Но, если одинок
Ты, как и прежде, в эру Водолея,
Иди ко мне, уставший тихий Бог.
Я слушаю тебя.
Люблю.
Жалею.*

«Ведь где-то есть простая жизнь и свет», – писала Анна Ахматова. За этой линией поведения следуют, на мой взгляд, и многие стихи Елены Фроловой.

*В этот лес ничей иди не торопясь,
марьюшкиной тропой, алёнушкиной бедой,
неси свой осиновый крест, неси его, не торопясь,
переходя ручьи с мёртво-живой водой.*

*Дух позовёт плоть, плоть позовёт дух,
полозом вдаль тропы ляжет креста след...
выбери одного из невозможных двух,
выбери одного –
и обрати в свет.*



Есть в этих строчках закодированная судьба человека. И не важно, это «до» или «после» какого-то поворотного события, некоей точки невозврата: это существует всегда, это константа поведения человека в социуме. Это выворачивание сказочности в бытийность. Но – обязательно с хорошим концом. Итак: русские сказки, женский крест, взаимовоспламенение духа и плоти – и, наконец, осознание, что на свете есть те, кому надо подать руку участия. Органика Елены Фроловой – это, на мой взгляд, «неорубцовские» стихи. Но поэт обладает особой душевной пластичностью и может неожиданно для читателя поменять привычную окраску своих стихотворений, выйти из зоны комфортного для себя стиля.

*Я преодолеваю жизнь! Влетаю в сны ромашки,
И встречи наугад, и прошлые слова!
И прорастает там, где всё давно не важно,
Зелёная трава, зелёная трава...*

Рефрены, анафоры, повторы отдельных слов – излюбленный приём у Елены. Жизнь поэта циклична: за весенним обновлением часто следует осеннее преодоление летней грусти. В целом же эстетика Фроловой восходит к Серебряному веку русской поэзии, это эстетика «прекрасной ясности» и волшебного звука. Но Елена всё время развивается как поэт. Думаю, она будет писать и по-другому. В новых журнальных публикациях Фроловой, например, слышится нота Иосифа Бродского. То есть она следует в творчестве, прежде всего, самой себе. Ориентируется в большой степени на себя. Вторая часть «Непоправимого лета» – «на любителя», поскольку адресована, по гамбургскому счёту, женской аудитории. Хотя женская аудитория – на секундочку, половина земного шара! Автор вряд ли думает о том, кому адресована его лирика. Исповедь адресована, прежде всего, себе. Поэта в большей степени интересует, влюблённость его сегодняшнее состояние души или вечная любовь. Но здесь «пораженья от победь» не различить.

*...В непрозрачном вагоне,
зажатая
чужими душами,
я сжимаю кусочек краски в ладони
и слушаю, слушаю, слушаю,
как сердце моё играет на скрипке...*

На мой взгляд, лучшие стихи в книге Елены Фроловой, как парадоксально это ни прозвучит – не любовного содержания.

*Тополя, тополя, тополя...
Закружилось над городом лето.
И в пуху, как в снегу, вся земля,
Как невеста, к венчанью одета.
И июнь, за собою маня,
Тополями листьями дышит.
А венчальные звёзды звенят,
Разбиваясь о белые крыши.*

Очень качественная живопись и звукопись. Порой Елена пишет с тайным подвохом. Например:

*В уездном городе привычные дела:
Старушки, приторговывая щавелем,
Рассказывают новость про вчера,
Про Каина, зарезанного Авелем.*

Мало того, что все в провинциальном городе живут вчерашним днём, и это у них называется «новостью» (!), так они ещё и перевирают всё безбожно. Вы поняли, кто кого зарезал? Убитый в пересказе старушек становится убийцей! Да какая разница – скажут вам старушки-болтушки. Каин и Авель – это же не наши люди! Как говорил Высоцкий, «в этом чешском Будапеште уж такие времена...». Нам же здесь важно, что Елена Фролова успевает в четырёх строчках и посмеяться над местными нравами, и погрустить, и нарисовать картинку уездной жизни. То есть и «плотная» речь ей вполне по плечу.

Елена Фролова – талантливый современный человек, который пишет в модернизаторской традиции русской поэзии.

*Испив земную печаль, от мук
укрыться былью.
В тоске, ломающей жесты рук,
оплакать крылья.*

*Оплакать сонмы тончайших слов
и тайны знаков.
Все, что казалось сладчайшим сном,
скорей оплакать.*

*Сев у камина, лицом к огню,
ссутулив плечи,
молясь горящему алтарю –
оплакать Вечность.*

«РЯДОВОЙ ГАМЛЕТ! ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ!»

(Роман Михеенков, Орден Франкенштейна. Сюита для телевизора с оркестром. – М., ЛитРес, 2020)

Бытует мнение, что есть неудобные темы в искусстве. Рассказывать о тюрьме, или о действиях секретных подразделений. Но кто не боится быть прихлопнутым опасной темой, нередко пожинает плоды успеха. Например, Булгаков не побоялся при Сталине и Берии выставить сотрудников НКВД смешными и неловкими. «Орден Франкенштейна» Романа Михеенкова – превосходно написанная, сочная, увлекательная проза. Язык писателя чудо как хорош! Именно язык – тоже, в сущности, герой повести. Хороши смысловые аллюзии – фамилия генерала Панфилова воскрешает в памяти «героев-панфиловцев», а имя и фамилия главного героя Геннадия Счастливецца – «собраны» из двух персонажей пьесы Островского «Лес». «Франкенштейн» – это попытка взглянуть на мир нестандартно, нешаблонно, в чём-то авантюрно. Есть на свете вещи, которые не меняются при всей внешней изменчивости мира. Это театр. А ещё лучше, когда всё происходит, как в пьесах Шекспира – с использованием приёма «театра в театре».

«Орден Франкенштейна» – это экзистенциальный театр абсурда, восходящий ещё к пьесам Ионеско и Беккета. Хочу похвалить автора. Не каждый возьмёт на себя смелость взяться за подобный сюжет. Повесть Михеенкова политически дерзновенна: пародируются пиар-акции первого лица российского государства. Так что повесть эта, безо всякого преувеличения, «диссидентская». Что скрашивает фабулу повести? Безусловно, юмор. В условиях карантина и пандемии юмор – наше всё. В повести есть очень смешные эпизоды. Например, когда начальник подразделения командует своему подчинённому: «Отставить эрекцию!». Смешны и забавны сцены «эротического жертвоприношения». Герой повести – девственник. Оставшись наедине с женщиной, он, чтобы не нервничать... актёрски, по системе Станиславского, внутренне перевоплощается в своего более опытного товарища. Первые дни Счастливецца в новом коллективе – лучшее, что есть в повести Михеенкова. Даже нецензурная лексика там к месту, не раздражает. Автор использует свою эрудицию, а также музыкальное и театральное образование «на полную катушку». Гендель и Рубенс, Саломея и Иоанн Креститель, Челентано и Альфред де Мюссе... Не говоря уже о клочках актёров, отсылающих нас к разным героям прошлого и настоящего. Так что первые дни, проведённые главным героем в новом коллективе – несомненная авторская удача. Повествование сжато, фабула увлекательна, язык на высоте сюжета. Вот, например, полюбуйтесь на эту изысканную словесную игру: семейство врановых – вронских – варановых – барановых.

Секретный «театр в театре» – ещё одна находка, ещё один козырь в колоде у автора. Как-то незаметно для читателя комедия перетекает в драму. Трудно всё время жить в ненастоящем времени и навсегда отказаться от чего-то подлинного. Поэтому Геннадий, главный герой повести, стремится осуществить тайную постановку «Гамлета». С собой в заглавной роли. Ведь роль Гамлета для актёра-мужчины всё равно что роль Гедды Габлер для женщины: круче ничего нет. Это – актёрская Джомолунгма. И Геннадий – гениальный Гамлет. Но... он не может проявить свои способности в предложенных страной и коллегами условиях. И это – тоже трагедия и мощная авторская метафора. Главный вывод таков: надо что-то менять в стране, чтобы не пропадали гениальные дарования. Невостребованностью настоящего искусства опечален даже генерал Панфилов. Ничто человеческое не чуждо и ему. «Рядовой Гамлет! Выйти из строя!» – командует генерал. Образ Панфилова тоже можно занести в разряд авторских удач. Антитеатр Михеенкова – это выворачивание смыслов. И не всегда понятно, где заканчивается обычный театр и начинается антимир.



Теперь немного критики. На мой взгляд, превращение потешного театра в театр кровавый, начиная со сцены с коровой, не совсем оправданно. Диссидентство должно быть умным! Нельзя говорить о крупном политике, что он мудака или пустое место. Это, как минимум, не соответствует действительности. В концовке особенно заметно, что автор очень озабочен сменой власти в стране. Чтобы это, наконец-таки, произошло хотя бы в его прозе. За авторской буффонадой Романа Михеенкова потерялись некоторые линии сюжета. А ведь по первым главам можно было предположить, что в русскую литературу пришёл новый Булгаков. Наверное, и сам автор подсознательно ориентировался на планку Михаила Булгакова. В отличие от прославленного классика, в дьявольском театре Михеенкова роли исполняют не черти, а люди-актёры. Подобное потешное войско, оказывается, было ещё при Иване Грозном, и подразделение генерала Панфилова только наследует традицию.

Россия – такая страна, где веками ничего не меняется в политическом раскладе. Перемены в России бывают раз в 200 лет и приходят кроваво, с революциями и жертвами. Хотим ли мы такой судьбы? Нет. Но автору повести, видимо, так этого хочется, что он теряет постепенно власть над своим сюжетом. Из блестящей комедии-буфф повесть сползает в область памфлета и деградирует как художественное произведение. После эпизода с грачами читать уже невозможно. Эпизод с ЧВК Вагнера, который захватывает власть в стране – уже за гранью смысла. Жанр авантюрной повести оказался обоюдоострым – как для писателя, так и для его читателей. Но как сохранить идею и остаться в поле художественности? Важно вот что ещё: несменяемость власти в России устанавливается демократическим, а не диктаторским путём. Люди сами в большинстве своём не хотят смены руководителя. Меня трудно заподозрить в больших симпатиях к нашему президенту, однако повесть написана так, что в процессе чтения возникает желание защитить его от автора. Диссидентство должно быть более тонким, не лобовым. В этом и заключается, на мой взгляд, задача искусства. Режим в России авторитарен, но ведь это – отнюдь не власть Нерона. Путин не склонен к дешёвым театральным эффектам. Всё, что он делает, он делает сам. Мне трудно представить, чтобы он попросил на рыбалке насадить ему на крючок замороженную или вяленую рыбу. Это ещё могло быть с Брежневым, даже с Ельциным. То есть интересные ходы в сюжете Романа Михеенкова разбиваются порой о рифы неправдоподобия. Правда, автор может заявить, что «он просто пошутил». Художественность в повести, в конечном итоге, не смогла победить политику.

Марина Цветаева в статье «Поэт о критике», обрушившись на обрутавшего её Георгия Адамовича, замечает, что хорошему рецензенту, прежде чем сесть писать, неплохо было бы ознакомиться со всем творчеством исследуемого писателя. А не писать выборочно, наугад, будучи не знакомым с этапами его творческой эволюции. Это отнюдь не значит, что нельзя делать пометки на полях под влиянием первого же попавшегося на глаза произведения данного автора. Но с окончательной версией, для печати, хорошо бывает повременить. Я размышлял об этом, читая другие опубликованные произведения Романа Михеенкова. Писатель очень разнообразен в своём творчестве. И акценты везде – разные. Чтение других произведений позволяет нам представить автора в виде «солнечной системы», вокруг которой, с разной степенью периодичности, вращаются планеты – его повести и рассказы. И вдруг выясняется, что мотивы «Франкенштейна», казавшиеся мне незбылемыми (правозащитная доминанта), в свете других произведений, не так уж и очевидны. Скажем, в рассказе «Клён ты мой опавший...» («Южное Сияние», №1, 2011) правозащитники выставлены в не очень приглядном виде. И автор им вовсе не симпатизирует. Справедливости ради, должен заметить, что там изображены не наши, а канадские правозащитники. В своём объёмном видении Роман Михеенков показывает нам разные грани одного и того же явления. А ещё Роман новаторски вводит подзаголовком «Театра Франкенштейна»... музыкальный жанр. Это – его «ноу-хау» (не путать с «хау ноу»). Знакомство с другими его произведениями помогло мне сделать вывод: такой поджанр, или подзаголовок, вроде эпитафии – важный элемент в его творчестве. Он ведь музыкант и театральный режиссёр! И для него действие прозы протекает в определённом темпоритме, сопоставимом с музыкальным темпом сонат и симфоний. Бывает и так: одна часть рассказа или повести протекает в одном темпе, а другая – в несколько ином. Всё это позволяет Роману Михеенкову создавать в своих произведениях ещё одно качественное эмоциональное измерение. Читаешь подзаголовок: «аллегро» – и понимаешь, что всё происходит очень быстро. Даже читать невольно начинаешь побыстрее. Повести и рассказы Михеенкова, даже самые невероятные по событийности, во многом автобиографичны. Иногда это – «скрытый автобиографизм», не такой явный, как, скажем, эпифант у Достоевского. Безусловно, присутствует биографическая нота и в «Ордене Франкенштейна». Это ощущается по градусу повествования. Придуманное не переживается на раскалённом градусе.

Обложку «Ордена Франкенштейна» оформил известный художник Алексей Меринов, известный московским читателям по работе в газете «МК» («Московский комсомолец»). Заполучить такого художника на обложку книги – несомненная удача писателя. И что же мы видим на обложке? В вертикальный красный прямоугольник книги вмонтирован телевизор. Идёт спектакль из жизни драконов. Хищники, разевая па-

сти, наблюдают за сценой казни провинившегося согражданина. На одном из драконов – императорская корона. Персонажи Меринова чем-то напоминают мне героев известной скульптуры Михаила Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых», установленной на Болотной площади. Это, по замыслу художника, тот самый «телевизор с оркестром», о котором говорится в подзаголовке повести. Конгениальное художественное прочтение. Подытожим. В лице Романа Михеенкова мы имеем полифоничного автора, уже реализовавшего себя в разных областях искусства. Писатель и режиссёр Михеенков поставил даже балет на музыку Скрябина. В Лондоне! Это человек Возрождения, универсально одарённый в разных областях жизнедеятельности. Не оставит никого равнодушным и его новая книга.

«ЭТА ХРУПКАЯ, ГЛУПАЯ, ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ»

(Олеся Рудягина, *Про зрение. Стихи.* – Кишинёв, 2019)

Книга Олеси Рудягиной «Про зрение» пронизана личностно-романтическим мировосприятием: «Никого ни в чём не упрекаем. / Верим. Не боимся. Не умрём». Мне кажется, Олеся Рудягиной хорошо везде – в любом городе, где говорят на русском языке. Она общительна, она – заводная, она может запросто пригласить малознакомого человека на жаркий танец. Танец – и общение. Общение как танец духа. «Неведомого вальса счастье, лучей стосалнцевых подвески». У Олеси – богатый поэтический инструментарий, но её сложно бывает поймать за каким-то широко используемым приёмом. Тем не менее, она умеет удивить читателя неожиданной подачей материала:

*Где-то смертушка моя с постели встаёт
чай заваривает смотрит слепо в окно
всё прикидывает что же меня убьёт
сердца ль камень разлук ледяное дно
беспокоится «где же её подстеречь
где подножку подставить с пути столкнуть?»
обжигается чертыхнувшись в сердцах вострит меч
яд в бутылочку капает
чаёт уснуть
досмотреть дивный сон про сестру свою жизнь
что-то в нём так пригрело так нежно свербит*

*не легко ей поди гнёт сносить укоризн
да артритный сустав на погоду болит*

Удивительные стихи! Прямо «сестра моя смерть», в пику Борису Леонидовичу. Парадоксальная вещь – ласковость, свойственная Олеся, переносится и на смерть. Если, конечно, это своя смерть, а не смерть кого-то из близких. Поэту свойственно пронизировать в таких случаях только по поводу самого себя. Олеся Рудягина – из числа тех авторов, которые пишут неровно. Ну как Блок, например. Почему так происходит, для меня большая загадка. Человек может написать и шедевр, и совсем слабые стихи. В книге «Про зрение» всё это видно как на ладони. Думаю, Олеся ставит во главу угла не качество стихов, а дух. И, шире: «каждый пишет, как он дышит» для неё важнее, чем «как написал». Поэтому и не удаляются из книги те стихи, которых там, по идее, не должно было быть. Например. «Осень». Потому что за каждым из них стоит такая серьёзная жизненная подоплёка, что они не могут быть отринуты и отвергнуты. Важность стихов для Олеси Рудягиной не всегда определяется их качеством. Конечно, есть смысл говорить, применительно к её стихам, об удавшемся. И удач в книге более чем достаточно. «Про зрение» – книга, о которой интересно размышлять. Интереснее, чем о многих других. «Про зрение» – книга о переосмыслении бытия. «Изжитое» больше не болит и отпущено на все четыре стороны. «Про зрение» – это ещё и обретение веры, в христианском смысле этого слова.

*Так многому ещё учиться –
запомнить крепче Символ веры,
прощать, смиряться, с телом биться,
во всём искать той самой меры,
которая одна угодна
не городу, не миру – Богу,
отталкиваясь от сего дна,
крылом нащупывать дорогу.*



Стихи поэта равны его жизни. И, если жизнь требует в данный момент всего человека, или даже больше, чем всего – тогда и стихи пишутся на уровне самых лучших образцов. Когда я слушал Олеся на её творческом вечере в гостиной журнала «Юность», мне показалось, что лучшие стихи – те, которые посвящены расставанию с мамой. «Прощай, моя шашечка!» – невозможно читать без слёз. Порой острая тема не лучшим образом сказывается на качестве стихов. Но здесь – всё наоборот. И верлибры, и рифмованные стихи об уходе мамы написаны на очень высоком уровне. Мама Олеси Ариадна Рудягина, заслуженный деятель искусств Республики Молдова, работала режиссёром литературно-драматической редакции молдавского телевидения, осуществила около 100 спектаклей и постановок на молдавском и русском языках по произведениям Пушкина, Толстого, Лермонтова, Маяковского, Чехова, Цветаевой, Евтушенко, Сент-Экзюпери и других писателей. Представляете, в каком высоко поэтичном творческом окружении росла маленькая Олеся?

СМЯТЕНИЕ

*Мамамамамама не засытай
тонкими пальцами горькими не холодей
вешней снегурочкой облаком робким не тай
где твой характер железная воля где
это мчит слышишь свиридовская метель
это Пер Гюнт запряг вороного коня
это отчаянья грех страха смертного лютый зль
колокол бьёт зеркала тролль хоронят меня меня*

*Вот тебе тёплые со снежками носки
их вязали тамбовские бабушки продавали в Москве
от разлуки на веки печали убойной тоски
видишь алые ягоды по белой белой канве
ах пойдём погуляем пойдём на руках понесу
только б дальше уйти от пространства где выхода нет
помнишь снилась тебе я всё в шубке чёрной в лесу
да на саночках с горки к болезни одна из примет*

*это мчит слышишь свиридовская метель
это Пер Гюнт запряг вороного коня
это отчаянья грех страха смертного лютый зль
колокол бьёт Рождество вечность нового дня*

Всё проходит, как говорил Экклезиаст. Проходит, к сожалению, хорошее. Но проходит, заодно, и плохое, даруя человеку облегчение. Цикл стихов о маме – на мой взгляд, самый сильный в новой, седьмой по счёту книге Олеси Рудягиной. И вывод удивительный, своего рода выход в небесный портал: «Если смерть, наконец, настигла – её больше нет». Происходит аннигиляция. Но нить Ариадны – бессмертна.

*Спасибо, бессонная птица канюк,
за то, что канючишь со мною,
а то бы мне был однозначно канюк
под жгучей бесслёзной луною.
А то бы меня заламала тоска
ужасным дубровским медведем, –
о том, что на море уже никогда
мы с мамой моей не поведем.*

В новую книгу, конечно, нельзя было не включить главу об угасании любимой мамы. Но Олеся постаралась уравновесить эту скорбную главу множеством жизнерадостных стихотворений. Она – как Моцарт или Шопен – умеет писать о разном. По-разному. Негоже поэту злоупотреблять печалью, – считает Рудягина. Книга «Про зрение» хорошо выстроена; каждая глава – развитие, модуляция, что-то новое. «Бормотание» достигает у Рудягиной уровня поэтической гениальности. Многие хорошие, удавшиеся стихи в «прозрении» у Олеси – это как раз «бормоталки». И в любовной лирике обращают на себя внимание бормоталки. «Не верю ни одному зеву-дождю». Есть стихи, на мой взгляд, избыточно искренние, но всё равно – хорошие («Пропадаю. Пропадаю без тебя...»). Впрочем, кто измерит авторскую искренность? «Мера вещей – сам

человека», – говорил софист Протагор. Любовь у Олеси многолика – это и разделённые чувства, и неразделённые, и любовь к маме, и к дочери, и – просто «подставить спину дождю»:

*...выскакиваешь во дворик, сдирая с себя халат,
и подставляешь лицо и спину, руки, бедра, живот,
и ловишь губами-ладонями небо зреющей воды...
хочошь, как в детстве: «ДОЖДЬ! ЭТО ЖЕ ДООООЖДЬ!»*

Олеся часто использует «хлебниковские» подражания звукам («птцыца»). Использует раскатистые гласные: «облака-а-а». Чем меньше правил, тем свободнее чувствует себя автор, тем больше она в своей стихии. Ритмически очень помогают ей в этом дольник и акцентный стих. Олеся – настоящий поэт. Её жизнь и её стихи – едины.

*Ах, по невытаившему снегу
далёко укатиться можно,
впечалясь со всего разбегу
в чужую жизнь неосторожно.*

*Душой несмелой обмирая,
просить у небушка прощенья
за этот яблочный из рая
побег – и чаять воскресенья.*

«За нелюбовь любовью отплачу» – максима жизни, высокая щедрость души поэта. Отдавать – так не по крошке, а всю себя! Героине стихов Олеси чужда мелочность.

ЗАБЫТЫЙ ЧЕРНОВИК

*Пёрышком, вложенным между страниц
книги, зачитанной ветренным летом,
длящемся в тени глубокой ресницы, –
чаячьим пёрышком, краденым светом...*

*Стыгну, немею, не помню, не жду,
скайтом скулящим не окликаю
в углу пространства,
талом году.
Междустраничная,
не улетаю...*

Здесь у Олеси интересная развёрнутая метафора. Человек одновременно и читает книгу, и представляет себя закладкой-пёрышком. А если мы возьмём ещё и название стихотворения, то пёрышко – это ещё и «забытый черновик». Чувствуете, как глубоко? Черновик – это и прошлая жизнь человека, автора. И набело переписать жизнь всё время не получается. Потому что продолжается «черновик». Если брать шире, и книга «Про зрение – своего рода черновик. Стихи – может быть, местами не доделаны. Но времени исправлять и поправлять нет. Надо жить! Перфекционизм вступает в конфликт с живой жизнью. «Жизнь – только повод упасть в стихи, / как в заросли пастушьей сумки цветущей», – говорит Олеся в книге «Дуэт в подземном переходе». Она – ищущий идеалист. Так она и ходит – с сумкой цветущей пастушьей. В её стихах мы найдём очень-очень много личных подробностей. Вот, например, «кораблям не спится в порту». Это строчка Инны Кашежевой из шпаягера 60-х. Но Рудягина всегда чувствует, когда чужая цитата отражает её внутренний мир. Неуёмная, она сама – корабль, которому скучно в порту прописки. В другом стихотворении она цитирует песенную строчку Риммы Казаковой «и совсем твоею стану, только без тебя». То, что уже написано, иногда очень точно отражает наш внутренний мир. На этом и построена популярность разных произведений. Я вот тоже, когда читаю стихи Рудягиной, напеваю порой песню белорусской группы «Сябрь» «Кудесница леса Олесья».

Олеся очень любит свою малую родину, Молдову. А теперь, после распада СССР, она уже и не малая, а большая. Любит Кишинёв. Что ещё удивило и обрадовало в этой неординарной книге? Неожиданные оды снегу, который выступает в роли «любимого мужчины». Стихи Олеси – это поток, это волна, это стихия. Вереница однородных членов предложения хорошо передаёт этот шквал: «пленом прелестью тленом золотой



зыбью души). Олеся включила в свою книгу и цикл антивоенных стихов, навеянный событиями в Донбассе. Молдова ещё сама не забыла гражданскую войну в Приднестровье. Поэтому так остро звучат стихи Олеси. Читая её многогранную книгу, забываешь о том, что она – успешный культуртрегер, учредитель и главный редактор журнала «Русское поле» и вдохновитель международного фестиваля «Пушкинская горка».

Книга «Про зрение», несмотря на тяжесть описываемых потерь, жизнеутверждающая. «*А хороша ж эта хрупкая, глупая, вечная жизнь*», – признаётся поэт. Из книги Олеси Рудягиной можно многое узнать о её личной жизни. Вот, например, она советует дочке «не любить». Советует из своего опыта. Но понимает, что советы старших напрасны – природа всё равно возьмёт своё. Поэт многое понимает и про себя. Об этом – иронический автопортрет «*Отстранишься – и смотришь. Со стороны. / И смешна, и отважна, и даже – местами – красива*». А потом – неожиданно в этом стихотворении появляется страшная серьёзность. И эта постоянная смена эмоциональных регистров в поэзии Олеси Рудягиной – впечатляет.

*Что ж скулишь ты?! По силам твой крест –
вприпрыжку («Таак, весело взяли!..»)
полвека носимый! – Хочешь этот?! О, нет! –
Или этот? Избавь меня, Боже! Так чего тебе?!
Страшно, так страшно, так страшно,
так холодно-холодно жить.*

Обратите внимание: Олеся Рудягина, которая часто старается вообще обойтись без знаков препинания, здесь тщательнейшим образом выписывает все эти знаки, в каждом из которых – малейшее движение души, тончайшая эмоция! Свой крест – вообще очень глубокая тема. Какова бы ни была твоя судьба, понятно, что ты вынужден будешь, если с тобой ничего не случится до срока, похоронить своих родителей. И это тоже входит в понятие «свой крест». И выясняется, что у многих людей крест ещё тяжелее. Это вынуждает нас смириться и принять свою судьбу. Своя тяжесть милее человеку, нежели чужая. И здесь, в этих бесконечных вопросительно-восклицательных знаках, проступает у Олеси пушкинское «чего тебе надобно, старче?». И у Рудягиной это вопрос риторический, не требующий ответа.

КНИГА КАК МЕСТО ВНУТРЕННЕЙ ЭВАКУАЦИИ

(Ольга Аникина, Кулунда. – М., Стеклограф, 2019)

Поэтический мир растёт из души человека. И то, что происходит за пределами души, синими струнами соприкасается с внутренним миром. Одно и то же время у одного поэта – счастливое, у другого – несчастное, и нет им согласия. Всё коренится в судьбе и окружении. Я размышлял об этом, читая новую книгу питерского поэта Ольги Аникиной. Есть такой современный тренд – называть книгу «непоэтично». «Толковый словарь» Игоря Волгина, «Дача показаний» Даны Курской, «Спецхран» Андрея Грицмана. Либо – книга называется словом, далёким от широкого употребления. Пример – «Альменда» Ирины Евсы. В этом плане название книги Аникиной «Кулунда» – загаочно, необъяснимо, вызывает любопытство. Это точка на карте страны, куда эвакуировали людей во время Отечественной войны. И автор словно бы «эвакуирует» свои раненные смыслом стихотворения в это загадочное для нас место. «Кулунда» – книга для чтения трудная. Она «смертецентрична» – о чём бы ни говорил автор, всё возвращается к тонике, к теме смерти.

*Когда уходит человек,
и комната гудит, немая,
ты в ней стоишь, ослонив
и ничего не понимая.*

*Но сразу замечаешь ты,
как всюду возникают сами
полупрозрачные следы
его нечаянных касаний:*

*салфетка, ручка, метроном
и чашка со следами чая.
Ты слышишь где-то за окном
ветвей неясное качанье –*

*их тронул человек живой.
Коснулся и ушёл, уехал.
А в комнате такое эхо.
Такое эхо, боже мой.*

Я думаю, что это очень важная тема для русской поэзии. Впрочем, я помню и другие стихи Ольги Аникиной. Например, вот это: *«И было стыдно мне, как Еве, / за это счастьеце моё, / что, словно платье, носилось / и было правилом игры, / как незаслуженная милость, / не отнятая до поры»*. У автора есть и очень светлые стихи. Значит, таков замысел данной книги. На мой взгляд, «Кулунда» была задумана автором именно как книга жёсткая, нелицеприятная, даже немного «диссидентская». Тема смерти рифмуется у Ольги с темой одиночества. Ты одинок – значит, ты уже умер для мира. Впрочем, бывает и счастливое одиночество, когда ты не хочешь быть с кем-то в паре (стихотворение «Скворечники»). Но основная нота «Кулунды» – это «квартира К.», бесприютное пространство, где все вещи – чужие, вплоть до последней ложки и вилки. «Квартира К.» – это, пожалуй, метафора всей нашей бесприютной жизни на земле, всей нашей транзитности на пути из небытия предсуществования в сизую вечность послебытия. Кто-то уехал (навсегда?) – и сдѣт свою наполненную эманациями прошлого жилаплощадь. Это такое чужое пустое пространство, диаметрально противоположное любви. В чужом пространстве и любовь неуместна, ей не с чего там возникнуть, не с чего загореться. Поэту очень помогают детали в изображении: *«В каждой мелочи – яростный крик человеческого горя, человеческого горя»*.

Есть какая-то внутренняя фронда в мироощущении Ольги Аникиной. Если она в чём-то убеждена, она готова отстаивать эти взгляды, даже если против будет целый мир. *«Кровь в голову – и против всех одна»*. У неё хватает отваги противостоять и защищать своё мнение. И это, на мой взгляд, очень ценное качество для поэта. Ольга не прячется за личину «лирической героини». Она просит прощения и за свой нор, и за свой язык «нужно что-то сделать с языком», и в этом порой сквозит некая необязательность, избыточность. Но я понимаю, что за этим стоят совесть и авторский перфекционизм. Постоянный диалог автора с собой – ещё одно измерение «Кулунды».

Можно писать крупными мазками (так делают монументалисты). А можно и штрихами, пунктирами, что свойственно импрессионистам. Стилистика Ольги Аникиной, на мой взгляд, ближе к последним. *«На детской площадке перекладина подло скрипит»*. О чём бы ни писала Аникина, тяжесть мира нивелируется высоким качеством поэтической речи:

*Над старой канавой – тыря густые вихры,
мои маргаритки, мои золотые шары,
ивняк серебрится над заводью, сгорблен и сед,
горячая память, глухой облепиховый свет.*

*О дым погребальной сирени, сиреневый дым,
Скажи мне то имя, которое было моим,
О маковый ящер, ты держишь мой голос силком
на оловяном шёлке под алым своим языком.*

У Ольги Аникиной, как и у «Вильяма нашего с вами Шекспира», «порвалась цепь времён». Это трагическое мироощущение поэта, отсутствие в окружающем мире гармонии и мажора. Переходность настоящего времени. Но у автора есть эмоциональная альтернатива миру дисгармонии. В «Кулунде» много экскурсов в детство. Чувствуется, что Ольге там хорошо и комфортно. Детство – это не только счастье и бессмертие. Это – свобода и гениальность каждого индивидуума.

В новой книге много белых стихов, которые автор предпочитает верлибрам. Белые стихи – это та же силлабо-тоника, только «неударная». Если сравнивать с рифмованными строчками – это как чёрно-белое кино по отношению к цветному. Другая атмосфера. Другая палитра. Другая стилистика. Я думаю, такая приглушённость близка Ольге Аникиной, поскольку она «честнее» изображает действительность. Рифмы – они кричат, они «указуют», они торжествуют. Обращают на себя повышенное внимание. Лично мне рифмованные стихи Ольги нравятся чуть больше. У неё хороший звук. Впрочем, это дело вкуса. А в книге – торжествует полистилика. Собственно, автор и должен показывать в книге разные грани своего дарования. «Могу так, но могу и по-другому». Талант всегда многогранен. Талант Ольги Аникиной предполагает целостное восприятие отдельного стихотворения. Неумеренно ярких строк, которые бы «тянули на себя одеяло», практически нет.



Далеко не все питерские поэты несут знаменитую «питерскую» ноту в своих стихах. Вот, например, Татьяна Вольтская – несёт. А Ольга Аникина, на мой взгляд, нет. Может быть, потому, что она родилась в Новосибирске, а потом училась в Москве. То есть она – не коренная петербурженка. Зато у Ольги есть другая нота – голос человека, преодолевшего свой маленький эшафот, с честью вышедшего из какого-то очень трудного испытания. Её героиня словно бы живёт «жизнью после жизни»:

*Меня забыли раньше, чем могли бы,
сквозь это тело проплывали рыбы,
как световые пятна сквозь стекло.*

Несколько прожитых жизней за одну биологическую и формируют поэта. Его дух наполняется памятью преодолённых ступеней судьбы. «Кулунда» – книга на духовный вырост. Автор стремится бороться с собственными недостатками, «бить по своей Гоморре». Это книга духовного просветления. Если мир несовершенен, и мы не можем его изменить, начинать надо с себя. По поводу «брошенных на улице младенцев» мы можем разве что вопить и рыдать. Но всех младенцев не спасёшь и не приносишь. Повсюду у Аникиной – смерть, всюду – тревога, неприкаянность, неустроенность и бесприютность. Её душа открыта всем ранам мира. «*Какие песни? В мире столько боли*» – риторически говорит она. Пороки, невзгоды и грехи голоса миру, кричат о себе через стихи Ольги. Может быть, все они в прошлых жизнях были счастьем, добродетелью и светом – и помнят ещё о своём прошлом. И потому так страшно кричат.

Небольшая по объёму книга Ольги Аникиной очень разнообразна, несмотря на совершенно определённые тонику и доминанту. У Ольги есть то, что делает стихотворца поэтом – длина дыхания и умение, прозревая, сопоставлять прошлое, настоящее и будущее. Посмотрите: вот та же самая жёсткая тема смерти. Скелет, который исследуют студенты мединститута. Это – очень живой образ смерти. «*Петя, словно живой, ругается на латыни*». И вот Ольга, вспоминая свою врачебную практику, видит параллельно прощающихся с земной жизнью. Может быть, даже себя, свои последние мгновения на этой земле. Но... после близкого знакомства со скелетом уже не страшно. Помните, у Бродского: «Сверху вниз сей Страшный Суд почти совсем не страшен». «*Мы идём на свидание к Пете*», – говорят ангелам уходящие. Ведь здорово же и остроумно! Про смерть – с улыбкой! Стихи стремятся в многослойность, в этом – их возможное бессмертие. Тленны даже камни, но ропшет только глупый человек. А вот стихотворение об угасании компьютера:

*В извилинах твоей коробки тесной
погас фотон.
Нам нужно умереть, чтобы воскреснуть,
чтобы потом
над пластиковым и железным мясом
как дух, витать –
как Голем, Франкенштейн,
как старый Асус
Эспайр V5.*

Аникина показывает нам «лики смерти» – широко и методично. В книге её так много, что к последним страницам она перестаёт пугать читателя. Эмоциональную трудность вызывают разве что самые первые стихи на эту тему. Потом уже втягиваешься, ждёшь заранее и воспринимаешь как должное. И самой книге подобная «смертецентричность» не мешает. Наоборот, в «Кулунде» очень много настоящей жизни, которая бесконечно ветвится зелёными побегами в разных своих проявлениях. Как сказал Фет, покуда я жив, «мы – силы равные, и торжествую я». И я благодарен автору за честность, за бесстрашие, за бескомпромиссность выбора, за верность своему творческому пути.

«ВРЕМЯ СЛИШКОМ ЯРОСТНО И ЯСНО»

(Нина Ягодинцева, Человек человеку. Стихотворения. – М., Редакционно-издательский дом «Российский писатель», 2017)

Поэт – всегда патриот языка. Изначальной речи. «Печальница, молитвенница, схимница, спасительница речь», – так говорит о ней в своей новой книге поэт из Челябинска Нина Ягодинцева. Урал – это магическое место, переплетение разных энергий. С одной стороны, это Бажов, Малахитовая шкатулка и Хозяйка Медной горы. Наконец, Аркаим, уральская Шамбала. С другой – закрытые города, ядерные полигоны и плохая экология. Книга Нины Ягодинцевой повествует об ответственности человека – перед миром, перед нашими потомками. «*Небо дымится – и что мы потом / С прошлого возьмем, / Глядя, как волны*

вздымает потоп / Над пепелищем?». То есть будущее требует от нас, чтобы мы гармонизировали мир, насколько это нам под силу. «Испуганному сердцу невдомёк, что всё уже сбылось, и невозвратно», – говорит поэт. Здесь звучит эйнштейновская идея амбивалентного времени. Времени, способного двигаться и вперёд, и назад, в обратном направлении. Что же такое «человек человеку», вынесенное автором в заголовок книги? «Волю»? «Друг, товарищ и брат»?

Человек человеку – такая печаль
Неизбывная, Господи!
По лукавым речам, пересохшим ручьям,
По мерцанию в голосе

Приближаемся к небу, где всё на просвет –
Даже горы и крепости.
Человек человеку... Печальнее нет
Сей невидимый крест нести.

Занимается сердце: боли, но вмещай
Всё, чем жили – да бросили...
Человек человеку такая печаль
Неизбежная, Господи!

Невозможная, Господи! Всюду темно –
А иду как с лампадою.
Что мне в этой пресветлой печали дано,
Коль иду, а не падаю?

Уральские поэты – это «днкороссъ», по выражению Юрия Беликова. Нина Ягодинцева шипит «высоким штилем», что представляется мне явлением неординарным среди уральских поэтов. Фугой влетается в многоголосие книги и её фольклорный голос: «Валеночки белые, шубейка до пят... / По дорогам тёмно, а в избах спят. / Под мостом заходит слезами река, / Ходит переулочками девка-пурга». Или возьмём такое стихотворение: «За три дождя одежда трижды промокла. / На повороте была деревенька Ёква. / Дальше стеной стояла тайга, и в ней река / Уходила как птица под облака». Вся книга написана ярко и динамично: бери любое стихотворение – и цитируй. И – размышляй. И – сопереживай.

Выпускников Литинститута я чую за версту. И пусть говорят, что поэту такое учебное заведение заканчивать необязательно и приводят яркие примеры «неучей». У выпускников Литинститута нет расхристанности рифм и разболтанности ритма, потому как их учили, что всё это важно в поэзии. Нина Ягодинцева хорошо знает, что такое форма стихотворения. Мы с Ниной учились в Литинституте примерно в одно время. А в прошлом году встретились на поэтическом форуме в Тюмени. И давали совместный мастер-класс по творчеству Константина Кедрова. Кедров нас и подружил – заочно – своим творчеством. «С ним в стихи пришёл Космос», – говорит Нина Ягодинцева.

Две машины с глухой тонировкой.
Что внутри, что снаружи – черно.
Проходящие как-то неловко,
Ненароком глядятся в окно.

Выпрямляют усталую спину,
Поправляют прозрачную прядь...
Эти две непонятных машины
Остаются у дома стоять.

Почему-то никто не увидел,
И от этого чуют беду, –
Выходил пассажир ли, водитель,
Хлопнул дверцей, курнул на ходу...

Ничего, кроме чёрного блеска.
Одиноко звенит тишина.
Белым флагом летит занавеска
Из раскрытого настежь окна.



*На секунду отвлечься, и снова
Обернуться – а там никого...
Словно вестники мира иного,
Угольки от пожара его.*

Ягодинцева – поэт-мистик блоковского мироощущения. Казалось бы, что можно извлечь из картинки, словно бы вынутой из бандитских 90-х? «Пасут» кого-то, очевидно, эти чёрные машины. Как пасли своих жертв чёрные воронки конца 30-х. Но то, что делает с этим сюжетом поэт, невероятно. Это уже эзотерика. Такой перевод ситуации из бытовой зарисовки во взыскующую многозначность – дорогого стоит. Мистика обрастает символизмом. Додумываешь вслед за автором – одна машина – «жизнь», а другая... «*Ради тайны и сердца не жаль*», – говорит в другом стихотворении Нина Ягодинцева. Она очень хорошо чувствует и передаёт сердечную тревогу. Порой человек обречён «*ждать и жить, бросив жизнь свою в омут надежды*». Но – рождается вера. И – уже намного легче стоять на ветру.

*Так вот живёшь и ждёшь.
Сердце, как свечку, жжёшь.
И, подойдя к черте,
Шуришься в темноте:
– Господи, где Ты, где?*

*– Здесь. Никому из вас
Не закрывали глаз.
Даже в фрезином сне
Вы на пути ко Мне.*

*...Сквозь опалённый лёд,
Сквозь реактивный вой
Сердце к Тебе плывёт
Капелькой восковой:*

*Крошкой небесных сот,
Пискоркою тепла,
Выдохом слабым: «Вот,
Только и донесла...»*

Книга «Человек человеку» многогранна. Нина Ягодинцева пишет «о времени и о себе». Поэт ощущает бытие как «сгустившееся время». Душу берedit тревога за вековые ценности, разрушаемые временем. «*И, время пустыми колчанами, / Чёрный миг уже стоит за нами. / Только обернёшься – за спиной / Гул идёт небесный ледяной*». «У времени совести нет», – сказал Бахыт Кенжеев.

*Время сгущается над головой,
Ночь каменеет, как будто впервые:
Это на западе фронт грозовой
Передвигает полки боевые;
Это по южной степи ковыли
Молча, безропотно в пламя ложатся,
Это с востока везут корабли
Розовый пепел сгоревшего царства;*

*Это на севере белая мгла
Смотрит угрюмо и дышит свирепо,
Неосторожным движеньем кфыла
Звёзды сбивая с морозного неба...*

Предчувствия, как правило, никогда не обманывают: в России бед хватает на каждое поколение. Стихи у Нины Ягодинцевой цельные, она говорит не отдельной строчкой, а всем стихотворением. Сказать – книгой! Вот сверхзадача поэта. Ягодинцева – патриот родного Урала. «*Как же мы эту землю любили, как несли сквозь беду на руках!*». Повсюду у неё в стихах – местные топонимы. А последняя глава книги и вовсе названа именем знаменитого на Урале, но мало известного за её пределами парка Зюраткуль. Конечно,

каждый читатель новой книги будет пристрастен в выборе понравившегося. Есть из чего выбирать. Мне бы хотелось показать ещё вам стихотворение о красноярском самолёте. Это молитва, актуальная для тех, кто всё время летает воздушным транспортом. Поэт Ян Шанли так писал о самолёте в начале нулевых: «Он летит над пропастью, а пропасть – / Расстоянье с неба до земли. / Господи, держи его за лопасть, / Укрепи подкрылки и рули». Нина Ягодинцева создаёт не менее впечатляющее полотно.

*Над аэропортом Красноярска
кружит боинг с трещиной в стекле.
Яндекс-новости*

*Время слишком яростно и ясно,
Холодно и в ласковом тепле...
Над аэропортом Красноярска
Кружит боинг с трещиной в стекле.*

*Больше ничего о нём не знаю,
От путей небесных далека.
Зависает строчка новостная
На страничке поисковика:*

*Бытовой, уже привычный ужас
И какой-то гиблый интерес...
Открываю снова: так и кружит,
Видимо, заправлен под обрез.*

*Господи, Тебе и так несладко –
Каждый миг таранят высоту...
Боже, разреши ему посадку
В красноярском аэропорту!*

*В высоте Твоей штормит, а ниже
Мечется, взрывается, горит...
Господи, прошу Тебя, прими же
Самую простую из молитв:*

*Пусть он приземлится! И кому-то
Станет на мгновение ясней
Вся Твоя немыслимая мука,
Музыка и мука этих дней.*

«Организационно и идейно» в таком же ключе писали Гумилёв и Евтушенко. Это сюжетность, которая по ходу стихотворения переплавляется в чистую лирику. У Нины Ягодинцевой, на мой взгляд, стихи ничуть не хуже, чем у наших прославленных классиков, конечно, с поправкой на то, что это уже стихи XXI века. Строка интернет-новостей словно бы замирает; время останавливается, и подключённому к Яндексу юзеру начинает казаться, что несчастный самолёт кружит над городом бесконечно. «Бог – и падающий самолёт» – на эту тему писал ещё Антуан де Сент-Экзюпери. Но именно в XXI веке этот сюжет становится «фильмом-катастрофой». И чуткая к происходящему Нина Ягодинцева остро реагирует на тревожную реальность наших дней. Каждый поэт видит современное время по-своему. «Во мне, а не в писаниях Монтеня находится то, что я в них вычитываю», – говорил Паскаль. Время – это наша невидимая книга. И поэт вычитывает во времени что-то своё. Добавляет к многоликому времени свой голос. И нам остаётся только его услышать. На мой взгляд, поэзия Нины Ягодинцевой заслуживает гораздо большего внимания. Напоследок, хочется сказать вот о чём: «Человек человеку – иногда ещё и большая радость. Человек и его книга».



«ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА БОГА». ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ ЕЛЕНА ЛИТИНСКОЙ

(Елена Литинская, У Восточной реки. – Чикаго, *Vagary & Company*, 2020)

Новая книга стихов Елены Литинской рассказывает нам о скоротечности земного пути, о бессмертии живого прошлого, о богатстве сердца, обо всём, что находится в активной памяти человека. «*Наше детство давно снесено. / Но в кармане остались ключики*», – говорит Елена. Лирика – это наши ключи от детства. Чтобы составить хорошую книгу, необходимо жанровое разнообразие и варьирование тематики. И Елена Литинская отлично справляется с этим вызовом. Её книга превосходит многие поэтические сборники разнообразием жанров.

*Пробегают дни – пусты,
как сожжённые мосты
меж девицей и старухой,
меж расцветом и разлукой,
между летом и зимой,
между небом и землёй,
меж презреньем и почётом,
между ангелом и чёртом.
между сказкою и былью,
между негою и болью,
между страстью и рассудком,
меж обманом и посулом,
между миром и войной,
правотою и виной,
меж Пикассо и Матиссом,
меж рекой Иордан и Стиксом,
между Библией и Торой,
между клеткой и простором,
между телом и одеждой
пробежать скорее между...
Между тем и между этим
проскользнём и не заметим,
что сужается просвет,
а назад дороги нет.*

Нам казалось, что жизнь – забег на очень длинную дистанцию. Ан нет. Дистанция марафона немалым образом сокращается, и стайеры по ходу забега вынуждены приобретать навыки спринтеров. Когда-то поэзия считалась уделом молодых. В стихотворении «Что ты молчишь, поэзия моя?..» Елена Литинская высказывает парадоксальную мысль о том, жизненная необходимость поэзии возрастает прямо пропорционально возрасту поэта.

Любые стихи – это, прежде всего, автопортрет автора. Даже если он пишет в третьем лице или вообще пишет об отвлечённых предметах. В тех или иных предпочтениях видна творческая и человеческая индивидуальность. У Елены Литинской прекрасное образование. Она – человек высококультурный и эрудированный. Это видно буквально с первой строчки, хотя она и не стремится ежестрочно это демонстрировать. Елена пишет легко и вдохновенно: ей дарована поэзия как стихия. Стихи Литинской – лирический дневник, полный горечи и утрат, забот и обретений. Поэт говорит не только о частном, но и общечеловеческом.

*Сколько крови в нашей земле!
Натерпелась старуха Гея.
Зреет память добра во зле
И становится зримо злее.*

Что делает человека поэтом? Неравнодушие. Сопричастность. Через него проговариваются важные для людей вещи. На что обращать внимание в первую очередь, читая книгу Елены? Virtuозное владение рифмой. Чувствуется, что автор обращает на это внимание, когда пишет стихи. Рифма, на мой взгляд, один из важных элементов поэтики Литинской. Особенно мне понравились её ассонансные рифмы. «Вазы – визы», «сын – синь», «слёз – слез», «обман – обмен», «дымке – дамка – Димки». Я что-то и не припомню, чтобы кто-то так часто использовал ассонансные рифмы в эмигрантской поэзии. Елена

охотно пользуется и самоиронией (например, в стихотворениях «Муки творчества», «Звёзды больше не падают...», «Я хочу тебя понять...»). Её героиня знает себе цену. Но одновременно она признаётся собеседнику в том, что она – «земная». Это создаёт объёмное представление о человеке. Ещё она – добрая. Ей жалко осыпающуюся новогоднюю ёлочку. Грустно прощаться. Жалко хвойных слёз маленького деревца. Но потом приходит понимание, что в лесу осталось ещё много других деревьев. Жизнь продолжается! В некоторых стихах, вошедших в книгу «У Восточной реки», особенно заметно, что родник Елены Литинской соседствует с пушкинским.

*Убери свой щит и меч!
Скинь дешёвую кольчугу,
дай нам обрести друг друга!
Приходи, растопим печь,
отогреем души, пальцы,
и натянем жизнь на пальцы,
чтоб судьбу за пядью пядь
вольнодумно вышивать.*

Из того же родника возникают и шуточные стихи Елены Литинской:

*Ах, если бы вы только знали!
Ах, если бы вы знать могли,
Как было классно на Канале
Увидеться с Еленой Ли...
Александр Долинов*

*Ах, если бы вы только знали!
Я вся – волнение от и до.
Как мне приятно в этом зале
увидеть Александра До!*

*Его car service безотказен.
Вмиг запрягает он коня
и в добровольческом экстазе
куда-нибудь везёт меня.*

*Он лёгок в мыслях, словно Пушкин.
Красив, как Вася Лановой.
К нему и девы, и старушки
стремятся жадною толпой.*

*Я с ними целиком согласна,
И будь я хоть Брижит Бардо,
хоть Шер – движима страстью властной, –
сказала б «Да!» я Саше До.*

Эпиграммы Литинской настолько хороши, что мне захотелось, чтобы в книге их было побольше. Самая лучшая эпиграмма – конечно, та, которая одновременно ещё и пародия. Это редкий и необыкновенный талант у Елены. Вспоминаются театральные капустники, на которых актёры импровизируют весёлые стихи. А вот подзаголовок этого раздела – «О тяжкий труд и головы томление» – возвращает нас к авторской самоиронии. Что ещё запомнилось в книге Елены? Редкая для женской поэзии шахматная терминология – гамбиты, ферзи. Стихи Литинской очень эмоциональны. Разные жизненные ситуации выявляют у неё широчайший спектр эмоций. И она талантливо это проявляет в поэтической речи:

*Пишешь, у тебя ко мне привязанность.
Слово-то какое отыскал.
Недочувственность и недосказанность.
Ретро-ребус, робость и тоска...*



*Как понять мне это слово зыбкое?
Привязаться сам ты захотел?
Или повязали по ошибке
и вели ко мне, как на расстрел?*

Какой великолепный сарказм и бурлеск! Мы ощущаем, как сердится героиня. Знаки препинания передают всю степень её возмущения. Ни одна женщина в мире не хочет слушать о «привязанности». Надо говорить прямо, без обиняков, о любви! Но не каждый мужчина это понимает. Есть такая ужасная мужская черта – говорить женщине правду, которая не нужна. Впрочем, подобное случается и с женщинами. «У Восточной реки» – очень искренняя книга. Мы можем узнать, например, когда Елена отмечает свой день рождения. Когда множатся потери, отказывают силы, всегда можно опереться на поэзию. Она – единственная надежда и опора.

*Звёзды больше не падают
по закону инерции.
Не увижу я Падую,
не увижу Венецию.
Ни желанья загадывать,
ни разгадывать коды.
Ох, какие же гады вы,
мои поздние годы!*

Прекрасная миниатюра! Елене Литинской хорошо удаются и трагические ноты. Раздел книги, который озаглавлен «Память золь», не оставляет в этом никаких сомнений.

У Елены Литинской – высочайшая культура рифмы. Даже если предположить, что она «вывезла из СССР» мастерство в этой области поэтов-шестидесятников, это ровным счётом ничего не объясняет. Если честно, я давно уже не получал такого удовольствия от брачующихся окончаний строк.

*Чая, кофе? Всё не то пью.
Холодно вдвоём.
Дни засасывает топью
времени проём.*

Книга Елены Литинской «У Восточной реки» – промежуточное подведение итогов. У меня возникло ощущение «паритетности» для автора советского и эмигрантского периодов жизни. Поэт всячески защищает от возможных нападок советский период своей жизни. «Я уже – дальше здесь, чем там. / И что было, того больше нет. / Но ту девочку не продам / за серебряных тридцать монет». Хорошего, по её мнению, что там, что там, было примерно поровну. Тем не менее, возможно, из-за неумного максимализма, многое в жизни хотелось бы переименовать. «Жизнь не так, как надо, прожита», – говорит поэт. Книга Елены Литинской – по выражению Афанасия Фета, «вечерние огни». Большая часть жизни уже прошла, но осталось много желаний и творческих задумок.

*Зацепиться за Бога. Не важно, он есть или нет.
Когда катишься вниз с ускореньем безжалостных лет.
Зацепиться за друга, который подставит плечо,
остановит твой бег и не спросит тебя ни о чём.
Зацепиться за памяти детские дни и часы,
когда ноги твои не боялись простуд от росы.
Зацепиться за ломкой соломинки светлый обман,
что бессмертье сулит на благие деянья в обмен.
Зацепиться за древо, прилипнув руками к смоле,
чтоб хоть так, бафельефно, остаться навек на земле.*

«ДУША НИКОГДА НЕ УВЯНЕТ»

(Элла Крылова, *Письма в Рай*. – М., *Путь*, 2020)

Обычно человек стоит на земле твёрдо, двумя ногами. Ему не дают «улететь за пределы» и сила всемирного тяготения, и любовь к жизни, и страх с ней расстаться. Подобно дереву, укоренённому в почве, человек держится на земле осознанием важности своей земной миссии, его согревают дружба и любовь. Но порою случается в жизни так, что все устойчивые земные связи в одночасье рушатся. Родные один за другим переходят в лучший мир – и словно бы зовут тебя последовать вслед за ними. Все они, любимые и любившие – уже там, а ты мучаешься здесь, оставшись в одиночестве. «Тонкий мир между ними и нами / Станет тоньше, отпеты ветрами, / И взлетят голосащие очи / По наточенным лезвиям ночи», – писал я об этом в одном из своих недавних стихотворений. Помните у Шекспира: Ромео не только не боится уйти из жизни – он этого хочет сам, чтобы там, за порогом этой страшной действительности, встретиться со своей возлюбленной, Джульеттой. Такова сила любви, тоска по воссоединению с любимым человеком. Мотивы эскапизма есть и в новой книге Эллы Крыловой «Письма в Рай». «С Небом связь – крепче, чем с дальним миром», – пишет Крылова. Она обращается к своему ушедшему супругу, словно бы к живому:

*Серёженька, друзья все перемёрли,
осталась горстка, все они стары.
И словно кость застряла в певчем горле –
уже до смертной радостной поры.*

Слышать такие слова непривычно. Последняя строчка воспринимается как парадокс: жизнь – печаль, смерть – радость. Конечно, именно своя, а не чужая. В это трудно поверить, но бывают жизненные ситуации, когда смерть представляется человеку хэппи-эндом. Книга «Письма в рай» поднимает вопросы соотношения между жизнью и смертью в живом человеке.

*Они всё время бродят в нас,
друг другу возмещают ссуды,
перетекая всякой фаз,
как влага в стаянных сосудах.*

На земле очень много людей одиноких, а самонизоляция ещё больше сузила их пространство, обрубала им горизонты. Внутреннее и внешнее – смыкаются. Конечно, сложно большой семье ужиться безвылазно в тесной комнатке. Но пандемия одиночества – в тысячу раз сложнее. «Письма в рай» Эллы Крыловой – дневник такого одиночества. Быть или не быть? Это не Шекспир, это реальность из книги Эллы Крыловой. Как с нуля заново отстроить свою жизнь, когда и сил на это уже нет? «Письма в Рай» – самая что ни на есть экзистенциальная книга. Хорошо, когда в гости к тебе приходят хотя бы стихи. А вот что делать человеку, когда не идут даже стихи? Остаётся жить светлыми воспоминаниями в своём «тайном скинпу». Спасает от гибели «дар Мнемозины».

*Цветущая бегония связала
день твоего рождения с моим.
Как будто бы на свет из кинозала
мы вместе вышли в яблоневоый дым.*

Даже в имени комнатного цветка есть что-то ускользающее, убегающее: бегония. Только как от себя убежишь?.. Талант Эллы Крыловой был отмечен ещё Иосифом Бродским. Он тоже – один из персонажей «Писем в Рай». А ещё – Михаил Козаков, Семён Липкин, Инна Лиснянская, лица нашей словесности и культуры. А ещё – Папа Римский Иоанн Павел II, тот самый, который «из наших, из поляков, из славян». Папа Римский дал аудиенцию молодой Крыловой, благословил на радости и страдания. Дал автограф. Он, если Вы помните, тоже писал стихи. Теперь это – уже воспоминание.

*Так и сидеть мне на этом диване.
Так и смотреть мне вот в это окно.
Но в поднебесье, в лиловом тумане,
рай мне Господень забрезжил давно.*



В таком душевном состоянии хорошо было бы пообщаться с друзьями. Телефон, интернет – всё, казалось бы, к нашим услугам. Но человек настолько бывает придавлен солипсизмом нескончаемого горя, что порой не в силах даже набрать номер телефона кого-то из друзей. Получается заколдованный круг. Сам ты не звонишь друзьям, чтобы не сорить в пространстве минором, а тебе не звонят по причине несовпадения душевных состояний. Вот и вынужден человек перемогать своё горе изнутри.

*Телефон молчит, молчит всё время.
Надоела людям скорбь моя.
Кто со мной моё разделит бремя?
Господи, перед тобою я
в наготе души моей смиренной...*

Всё проходит со временем в этом мире. Смертна даже печаль. Из разрозненных фрагментов складывается мозаика настроения. Казалось бы, всё плохо у героини «Писем в Рай». Но вот появляется на пороге прилудный пушистый кот Борис – и остаётся навсегда в безвременно осиротевшем доме. Теперь героине уже есть о ком позаботиться, в комнате появилась живая душа. То, что и связывает нас с окружающим миром. Осознание того, что мы «ответственны за тех, кого приручили», удерживает на плаву. Ответственность – второе имя жизни. *Vita nuova*. И вот уже гитара настраивается «на райский лад». Приходит понимание того, что «душа никогда не увянет». «Письма в Рай» посвящены обретению человеком веры. «Алмазом крепким стала моя вера», – шипит в заключении Элла Крылова.

«ШШКАФ»

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

АНДРЕЙ БИТОВ В РАМЕ «ПОРТРЕТА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ»

«Портрет поздней империи: Андрей Битов. Авт. сост. Евгений Чигрин.

Предисловие Валерия Попова. – М., Издательство АСТ, 2020 – (Большая биография).

«Портрет поздней империи» – так называется новая книга. Называется, возможно, потому, что в словосочетании «поздняя империя» слышится что-то печальное, закатное и грандиозное. Перед мною сборник, посвящённый памяти, судьбе и наследию Андрея Битова, писателя, чьё имя в среде знающих русскую литературу множество лет неизменно было созвучно понятию «Мастер». Битов был видной, звучной личностью, и если теперь сказать – «То было в эпоху Битова», – это не звучит диссонансом. Большая часть жизни писателя прошла в годы советской власти. Он печатался, а советским писателем никогда не был. Совершенно самостоятельный, мыслящий интеллект, потрясающий собеседник, он был как и многие его друзья, во «внутренней эмиграции», то есть жил своей внутренней жизнью, увлекался книгами, женщинами, при этом оставаясь в конечном счёте исключительно верным себе. Молодость его пришлась на пору Оттепели. И это способствовало тому, чтобы Битов смог утвердиться, стать исключительно самостоятельным, обрести свой неповторимый взгляд на мир. А потом и принять авторское участие в неподцензурном, изданном за рубежом скандальном альманахе «Метрополь».

До многочисленных его европейских и американских путешествий, которые относятся большей частью к зрелым годам, были путешествия внутри страны, по республикам. Очерк за очерком у А. Битова рождалась «Книга путешествий по Империи», подготовленная в 1991 году, но долго не выходящая. Возможно, её название тоже повлияло на то, что книга, посвящённая его памяти, была названа её составителем, широко и заслуженно известным поэтом Евгением Чигриным «Портрет поздней империи»... А начиналась «Книга путешествий...» с некогда выпешдшего в журнале «Дружба народов»,

а потом и отдельным изданием большого очерка-повести «Уроки Армении», и этот очерк-углубление в исторические судьбы Армении стал по выходе настоящим событием. Не только потому, что в нём сразу проявился масштаб своеобразия, звучность прозаического камертона, которым владел автор, но поражала его беспредельная внутренняя свобода, *уверенное в себе умное своеволие выражать себя пером...*

Я помню Андрея Битова довольно молодым. Впервые встретил его в известном в Москве кинотеатре-музее «Иллюзион», где можно было смотреть старые и даже старинные зарубежные и советские, немые и звуковые фильмы. Но на сей раз это был не киносеанс. Это был многолюдный сбор московской творческой богемы, посвящённый... Пуговице. Известный у нас лишь Битову и его друзьям-интеллектуалам французский писатель-экспериментатор, сюрреалист Раймон Кено написал всевозможные тексты-вариации, посвящённые пуговице. И Битов с друзьями эту книгу малым тиражом издали и в «Иллюзионе» устроили грандиозную презентацию, на которой считанные экземпляры были разыграны особым способом – напекли пирожки и экземпляр тёмно-синей, длинной, «в рост», книжки доставался тому, у кого в пирожке окажется пуговица. Выигравшему выдавалось ещё изданное тем же форматом «приложение» со стихами современных русских поэтов, также посвящённых пуговице. Пуговица в тот вечер обрела благодаря царившему в тот час в зале-фойе Андрею Битову некую интеллектуальную самоценность... Поэт Виктор Куллэ в «Портрете поздней империи» провидчиво пишет: «Битова по умолчанию принимали за “мудреца”, но ему мудрость как таковая была скучна, что ли. Живое и непосредственное удовольствие Андрей



Георгиевич получал не от безукоризненно выверенной цепочки умозаключений – а от собственной способности глянуть на нечто до неприличия общепринятое с небывалой доселе точки зрения. Со стороны это выглядело как истинное чудо. И далее у Куллэ о том, что у Битова в его текстах было – «чутьточку лукавое приглашение к игре по новым увлекательным правилам». И, там же, ещё точнее – «Битов попросту распространяет требование сотворчества на взаимоотношения человека со всем Божьим миром, предстающим как некий текст (ну, или холст), порождённый Творцом». Ради такого понимания уже стоило издавать книгу памяти Писателя. А ведь подобных «прозрений» в жизнь, творчество и личность Битова в книге сборнике покоряющее много!..

Прав и Евгений Костин, который в той же книге пишет – «Битов соединил в своих текстах многообразную фактическую основу, почти документалистику, опираясь на собственный жизненный и психологический опыт, и это было характерной чертой всего его творчества, включая и классический «Пушкинский дом»... Да, фактичность, то есть глубокая, прочувственная жизненность, помноженная на свободу, были свойственны битовской прозе. И ещё мнение от Георгия Кубатьяна, представляющего в книге Армению, – «Что бы ни выходило из-под его пера, будто бы само собой оборачивалось прозой, и притом изысканной прозой, читая которую, смакуешь её точность, остроту рисунка, синкопические перепады ритма». Это уже и о музыке битовского письма...

Большое видится на расстоянии. Литературно большое тоже. Потому на личность Битова год спустя после его смерти в этой книге откликнулись многие, известные, знаменитые, именитые или просто к нему, поверх известности, близкие, дружественные, как художник Борис Мессерер или известный фотограф Юрий Рост, чьи фотографии совершенно уникально «аккомпанируют» в книге писательским и поэтическим текстам... И встаёт со страниц дружившая с Битовым надмирная и утончённая Белла Ахмадулина, посвящавшая ему стихи. Зоя Богуславская там же пишет об этом: «Он дружил с Беллой Ахмадулиной, с которой вообще трудно было подружиться. Она не очень жаловала собратьев по перу, но для А.Г. Битова и А.А. Вознесенского делала исключение». И далее – «У Битова был особый жанр: смесь прозы, эссеистики и аналитики. Но всё это разнотравье определяло одно: безупречный язык, умение сказать по-своему и заставить помнить это людей, хотя бы тех, кто будет о нём писать». Но не нужно полагать, что сборник «Портрет поздней империи» это своего рода ристалище превосходных оценок. У той же Зои Богуславской, бездну лет знавшей писателя, читаем – «Про него могу сказать, что это был человек очень одинокий, сильно изменившийся в определённом возрасте.

Смелый, озорной, а иногда и хулиганистый – мог эпатировать. Петербуржец, это вылезало из всех пор. И статья петербургская и снобизм. Да, он был о себе довольно высокого мнения, чего не скрывал.

А вот многие литературные герои Битова, ещё со времен его известного рассказа «Пенелопа», не были о себе высокого мнения. Они находились в непрестанном диалоге с собственными чувствами, ощущениями, со своей неуверенностью и опрометчивыми поступками. Вот и выглянул призраком из-за плеча А. Битова Ф.М. Достоевский. А как же, всё-таки Петербург. Хотя стилистически современники Битова хотели бы видеть в нём отдалённое литературное «родство» с В. Набоковым, но и тут «фоном» всё тот же Петербург... Битов жил на два города, у него были пристанища и в Питере, и в Москве. В Питере – по любви к родному городу, в Москве – по близости к «большой» литературе.

«Питерский Битов отличался не только от датского – и от московского, где мы пересекались достаточно часто. Он был дома. Недаром главная книга, известность которой и неразрывная ассоциативность которой с именем автора его раздражала, несёт в названии архетип и концепт Дома. Домашний Битов утрачивал загадочность и непостижимость, но приобретал полноту человеческого», – об этом пишет Марина Кудимова в своём очерке «Ветреная погода...», включённом в книгу и рассказывающем об их с Битовым и писателями путешествии в Данию, в заключение цитирует важнейшую мысль Битова, которую она почерпнула в его «Пушкинском доме»: «Мы привыкли думать, что судьба превратна и мы никогда не имеем того, чего хотим. На самом деле мы получаем *с в о ё* – и в этом самое страшное...».

Если бы десять художников стали писать портрет Андрея Битова и писатель им позировал, получилось бы десять совершенно стилистически разных холстов, так и в книге «Портрет поздней империи» каждый воплощённый в словесность портрет неповторимо своеобразен, каждый создан со своей точки зрения. Похожих среди них нет. И то, что в книге наряду с текстами-воспоминаниями присутствуют и стихотворные прижизненные и посмертные посвящения ему Б. Ахмадулиной, А. Кушнера, Г. Горбовского, О. Чухонцева, О. Хлебникова, В. Алейникова, Н. Королёвой, Г. Шульпякова, только дополняет книгу, и мы вспоминаем и о том, что Андрей Битов был не только прозаиком, но и поэтом в начале своего пути.

Конечно, Евгений Чигрин взвалил на себя огромный, трудно обозримый труд составления этой Книги Мысли и Памяти. Порой было непросто договориться с авторами, преодолеть разногласия, погасить претензии – при таком труде всё это неизбежно. Но сборник вышел, был сразу замечен и отмечен. В «Литературной России», например, Виталий Александров, откликаясь, писал: «Думаю, что и в этой книге, как и в своих писаниях, Андрей

Георгиевич Битов наступил себя. “Кончится ли эпоха Битова?” спрашивает сам себя Валерий Попов. И энергично отвечает: “Ни за что и никогда!” Дай-то Бог...». Откликов уже много, а будет ещё

больше, ибо эта книга ещё раз отправляет имя Андрея Битова в Вечность, ещё раз утверждая его особую, неповторимую роль в Истории русской литературы.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 25.05.2020 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 21,06
Зам. 1445. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17